

Божедомы. Николай Семенович Лесков leskovnikolai.ru
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
<http://leskovnikolai.ru/> Приятного чтения!

Божедомы. Николай Семенович Лесков

И дал им область чадами Божиими быти, верующими во имя Его.

Иоан. з. 1, г. 1, с. 12

Г

Все вы, умершие в надежде жизни и воскресения, герои моего рассказа: ты, многоумный отец протопоп Савелий Туберозов, и ты, почивающий в ногах его домовища, непомерный дьякон Ахилла, и ты, кроткий паче всех человек отец Захария, – ко всем вам взываю я за пределы оставленной вами жизни: предъявите себя оставленному вами свету земному в той перстной одежде и в тех стужаниях и скорбях, в которых подвизались вы, работая дневи и злобе его.

Люди, жите-бытие которых составит предмет этого рассказа, суть жители старгородской соборной поповки. Это: отец протоиерей Савелий Туберозов, его вторствующий священник Захария Бенефисов и дьякон Ахилла Десницын. Все эти три лица составляли духовную аристократию Старого Города, хронике которого некогда думал написать автор этого рассказа, прежде чем получил урок, что для такой хроники ныне еще не убо прииде время.

И многоумный протопоп Туберозов, и кроткий паче всех человек отец Захария, и непомерный дьякон Ахилла – все они давно известны Старому Городу; всех их Старый Город знал со стороны достохвальной, и над скромными могилами их долго еще будут совершаться каждую Дмитриеву субботу мирские панихиды.

Мы не берем своих длиннополых героев от дня рождения их и не будем рассказывать, много или мало их таскали за волосенки и много или мало секли их в семинарии. Это уже со всякою полнотою описано другими людьми, более нас искусными в подобных описаниях, – людьми, евшими хлебы, собираемые с приходов их отцами, и воздвигнувшими пята свою на своих крохоборных кормильцев. Мы просто хотим представить людей старгородской поповки, с сокровенными помыслами тех из них, у кого были такие помыслы, и с наиболее выступающими слабостями, которые имели все они, зане все они были люди и все человеческое им было не чуждо.

Пора ранней молодости и юношеской свежести этих людей, так же как и пора их детства, до нас не касаются. Читатель может представить себе, что все эти годы наших героев протекли, как протекают эти годы у большинства людей русской духовной семьи, и читатель нимало в этом не ошибется.

То, что достойно внимания из жизни старгородских отцов, мы увидим из дневника протоиерея Туберозова, который составляет значительнейшую часть этих разбитых и потом сшитых на живую нитку литературных лоскутьев; а закрыв дневник отца Савелия, мы увидим своих героев на последней стадии их земного странствования и вондем последнему вздоху их у двери гроба.

Чтобы видеть перед собою этих людей в той поре, в которой читателю приходится представлять их своему воображению, он должен рисовать себе главу всего старгородского духовенства, отца протоиерея Савелия Ефимовича Туберозова, мужчиною, совершающим уже пятый десяток жизни. Отец Туберозов высок ростом, плечист, с могучей широкою грудью, которая как будто говорит вам: “обопришь на меня, ия тебя не выдам”. Наперсный крест, украшающий эту грудь, прибавляет к этим словам: “веруй, и ты спасешься”. Отец протопоп тучен, но бодр, силен, подвижен и сохранил в замечательной степени пыл и энергию молодости. Голова его отлично красива: ее даже можно считать образцом мужественной красоты. Волосы Туберозова густы, как грива матерого африканского льва, и белы, как кудри Олимпийского Юпитера. Они художественно поднимаются чубом над его высоким артистическим лбом и тремя крупными волнами падают назад, не достигая плеч. В длинной, раздвоенной, как у того же Юпитера, бороде отца протопопа и в небольших усах, соединяющихся с бородою у углов рта, мелькает еще несколько черных волос, придающих этой бороде вид серебра, отделанного чернью. Брови же отца-протопопа совсем черны и круто заломанными латинскими эсами сдвигаются у основания его довольно большого и довольно толстого носа. Глаза у него коричневые, большие, немного гордые и смелые. Они всю жизнь свою не теряли способности освещаться присутствием разума; в них же близкие люди видели и блеск радостного восторга, и туманы скорбей, и слезы умиления; но в них же сверкал порою и огонь негодования,

Божедомы. Николай Семенович Лесков Teskovniko1ai.ru

и они бросали искры гнева – гнева не малого, не суетного, не сварливого, а гнева большого человека. В эти глаза гляделась душа протопоба Савелия, которую сам он в своем христианском уповании считал бессмертною.

Захария Бенефисов, второй иерей старогородского собора, совсем в другом роде. Вся его личность есть воплощенная кротость и смирение. Соответственно тому, сколь мало желает заявлять себя кроткий дух его, столь мало же занимает места и как бы старается не отяготить собою землю и его крошечное тело. Он мал, худ, тщедушен и лыс, как пророк Елисей. Две маленькие буколки серо-желтеньких волосинок у него развеваются только над ушами. Косы у него нет никакой. Последние остатки ее исчезли уже давно; да и то это была коса столь мизерная, что дьякон Ахилла иначе ее не называл, как мышинный хвостик. Вместо бородки у отца Захарии точно приклеен кусочек губочки, ручки у него детские, и он их постоянно прячет в кармашки своего подрясника. Ножи у него, по сравнению того же дьякона, соломенные, и сам он весь точно сплетен из соломки. Добрейшие серенькие глазки его смотрят быстро, но поднимаются вверх очень редко, и то взглянут и сейчас же ищут места, куда бы им спрятаться от нескромного взора. Отцу Захарии почти столько же лет, как и отцу протопопу, и он так же, как и отец протопоп, при всех своих немощах сохранил живую душу, и бодрость, и подвижность.

Третий и последний представитель старогородского соборного духовенства, дьякон Ахилла, имел несколько определений, которые можно здесь привести для того, дабы он при помощи их сколько-нибудь удобнее нарисовался читателю.

Инспектор духовного училища, исключивший Ахиллу Десницына за его “великовозрастие и малоуспешие” из синтаксического класса, говорил ему: “Эко ты дубина какая протяженно-сложенная”. Ректор, вновь по особым ходатайствам принявший Ахиллу в класс реторики, удивлялся, глядя на него, и, изумляясь его бестолковости, говорил: “Недостаточно, думаю, будет тебя и дубиною называть, поелику в моих глазах ты по малости целый воз дров”. Регент же архиерейского хора, в который Ахилла Десницын попал по извлечении его из реторики и зачислении на причетническую должность, звал его “непомерным”.

– Бас у тебя, – говорил регент, – хороший, я слова против этого не имею, что хороший; словно пушка стреляет; но непомерен ты до страсти, и через эту непомерность я не знаю, как с тобой и обходиться.

Четвертое из характерных определений дьякону Ахилле было сделано самим архиеерем, и притом в весьма памятный для Ахиллы день, именно в день изгнания его, Ахиллы, из архиерейского хора и посылки на дьяконство в Старый Город. По этому определению дьякон Ахилла назывался “уязвленным”, и так как это название дано Ахилле лицом, значительно возвышенным над всеми, кто доселе снабжал этого дьякона от времени до времени различными кличками, то здесь совершенно уместно рассказать о том, по какому случаю ему стало приличествовать название “уязвленного”.

Дьякон Ахилла – человек в высшей степени смешливый и увлекающийся. Он не знал никакой меры своим увлечениям в юности, и мы будем видеть, знал ли он им какую-нибудь меру и к годам старости своей. Несмотря на всю “непомерность” баса Ахиллы, им все-таки очень дорожили в архиерейском хоре, где он хватал и верха и забирал под самую низкую октаву. Одно, чем страшен был регенту непомерный Ахилла, это “увлекательностью”. Так, он во всеобщей никак не мог удержаться, чтобы пропеть “Свят Господь Бог наш” дважды, а непременно вырывался и в своем увлечении пел это один-одинешенек трижды, и никогда не мог вовремя окончить пения многолетий. Но во всех этих случаях, которые уже были известны и которые поэтому можно было предвидеть, против “увлекательности” Ахиллы благоразумно принимались свои благоразумные меры, избавлявшие от всяких напастей и его, и его вокальное начальство. Так, например, поручалось кому-нибудь из взрослых певчих дергать Ахиллу за полы или осаживать его в благопотребную минуту вниз за плечи; а наконец, не надеясь на это, Ахилла сам еще изобрел на себя “удерж” в виде сапожного шила, врученного им приятелю его тенору с поручением вонзать это оружие в него, Ахиллу, как только придет момент, в который он должен остановиться.

Но не даром сложена пословица, что на всякий час не наздравствуешься. Как ни тщательно и любовно берегли Ахиллу от его увлечений, все-таки его не могли уберечь, и он самым трагическим образом оправдал на себе то теоретическое мнение, что “тому нет спасения, кто в самом себе носит своего врага”.

В большой из двенадцатых праздников Ахилла, исполняя причастный концерт, должен был делать весьма интересное и, по его мнению, весьма хитрое басовое соло на словах “и скорбьми уязвлен”. Значение, которое этому соло придавал регент и весь хор, внушали Ахилле много забот не ударить себя лицом в грязь и отличиться и перед любившим пение преосвященным, и перед всею губернской аристократией, которая соберется в церковь. Дьякон Ахилла изучил это соло великолепно. Дни и ночи он расхаживал то по комнате, то по двору, то по городскому саду, то по улицам, распевая “уязвлен, уязвлен, уязвлен”, и наконец настал и самый день его славы, когда он должен был пропеть свое “уязвлен” перед всем собором. Отошла обедня, задернута завеса врат, и начался концерт. Велик и сияющ стоит с нотами в руках огромный Ахилла. Подходит и место басового соло. Ахилла отодвигает локтем соседа, выбивает себе в молчании такт своего соло “уязвлен”, и вот, дождавшись своего темпа, видит поднимающуюся с камертоном регентскую руку и – удивительнейшим образом, как труба архангельская, то быстро, то протяжно возглашает: “и скорбьми уязвлен, уязвлен, у-й-я-з-в-л-е-н, у-й-я-з-в-л-е-нн, уязвлен”. Силою останавливают Ахиллу от непредусмотренных излишних повторений, и концерт кончен. Но не кончен он был в увлекательной голове Ахиллы, и вот среди тихих приветствий, приносимых владыке подходящею к его благословию аристократией, словно трубный глас с неба раздается: “Уязвлен, уй-яз-влен, уй-я-з-в-л-е-н”. Это поет ничего не понимающий в своем увлечении Ахилла; его дергают – он поет; его осаждают вниз за спины товарищей, – он поет: “уязвлен”; его, наконец, выводят, он все-таки поет: “у-я-з-в-л-е-н”. “Что тебе такое?” – спрашивают его с участием сердобольные люди. “Уязвлен”, – отвечает, глядя всем им в глаза, Ахилла и так и остается у дверей притвора, пока струя свежего воздуха отрезвляет его напряженную экзальтацию.

Но кроме этой уязвленности и увлекательности, составлявших преобладающую черту характера дьякона Ахиллы, у него было и еще одно определение, еще одна кличка, даже вписанная ему в его официальный документ. В документе этом, в аттестате, выданном дьякону Ахилле из семинарии, он был аттестован “удобоносительным”; но основания для этой аттестации должны сделаться известными читателям несколько позже.

В сравнении с протоиереем Туберозовым и отцом Бенефисовым Ахилла Десницын может назваться человеком молодым, но и ему уже минуло спартанское совершеннолетие; ему сорок лет, и по волосам его побегала седина. Роста он огромного, силы страшной, в манерах угловат и резок; тип лица имеет несколько южный, на каковом основании и утверждает иногда, что дед его или прадед был из малороссийских казаков, а в другой раз, что он просто происходит из турок. Но родословная Ахиллы известна, и по ней известно, что он испокон веков ведет род от русских колокольных дворян, и род его южнее берегов реки Оки никогда не забирался.

II

Жили все эти герои старомодного покроя на старогородской поповке над тихую и только лишь в полу ю воду судоходною рекою Турицею. У каждого из них, как у Туберозова, так и у Захарии, так и у дьякона Ахиллы, были свои домики на Заречье, как раз наспротив высившегося за рекою старинного пятиглавого собора с высокими коническими куполами. Ближе около собора, по тот бок реки, старогородское соборное духовенство не могло устроиться потому, что старинный город, окруженный по сие время валами и остатками стен, был построен очень тесно, большинство домов этой части принадлежало или явным, или тайным раскольникам и не продавались. Туберозов с своими присными сел по линии, выселившейся за реку и прозванной Заречьем. Тут было и здорово со стороны свежести, и вольготно со стороны простора, и весело со стороны прекрасного вида на реку и на Старый Город, соединявшийся с Заречьем посредством пловучего моста.

У отца Савелия домик был очень красивый, выкрашенный светло-голубою масляною краскою, с разноцветными звездочками, квадратиками и репейками, прибитыми над каждым из трех его окон. Окна эти обрамлялись еще резными, ярко же раскрашенными, наличниками и зелеными ставнями, которые никогда не закрывались, потому что зимой домик не боялся холода, а отец протопоп любил свет, любил звезду, заглядывающую ночью с неба в его комнату, любил лунный луч, полосою газета ложающийся на его разделанный под паркет пол. В домике у отца протопоба всякая чистота и всякий порядок, потому что ни сорить, ни пачкать, ни нарушать порядка у него некому. Он одинок с своей протопопицей, и это одиночество составляет одну из непреходящих скорбей его.

Божедомы. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru

У отца Захарии Бенефисова домище гораздо больше, чем дом отца Туберозова; но в бенефисовском домище нет того щегольства и кокетства, каким блещет жилище протоиерея. Пятиоконный, немного покосившийся серый дом отца Захарии похож скорее на большой птичник, и к довершению сходства его с этим заведением во все маленькие переплеты его зеленых окон постоянно толкутся различные носы и хохлики, друг друга оттирающие и друг друга преследующие. Это все потомство отца Захарии, которого Бог благословил яко Иакова, а жену его, матушку Евфросинью, умножил яко Рахиль. У отца Захарии не было ни зеркальной чистоты протопопского дома, ни его строгого порядка; но зато здесь было двадцать детей, от которых все летело копром да в кучу. На всем здесь лежали следы детских запачканных лап; из всякого угла торчала детская головенка, и все это шевелилось детьми, все это пицало и пело о детях, начиная запечными сверчками и оканчивая матерью Евфросиньей, убаюкивавшей свое потомство песенкой:

Дети мои, дети!
Куда мне вас дети?
Где вас положить?

Дьякон Ахилла, в отношении домовитости, был совсем плох и, будучи давно вдов и бездетен, нимало не заботился ни о стяжаниях, ни о домостроительстве. У него была мазаная малороссийская хата на краю Заречья, но при этой хате не было никаких служб, ни заборов, кроме небольшой жердяной карды, на которой по колено в соломе бродили то пегий жеребец, то буланый мерин, то воронья кобылица. В доме Ахиллы тоже убранство было самое негустое: в чистой части этого помещения, где отдыхал сам хозяин, стоял деревянный диванчик с решетчатой спинкой. Этот диван заменял Ахилле и кровать, и потому он был застлан белою казанскою кошмою, а в изголовьи лежал чеканеный азиатский орчак, к которому была прислонена маленькая блино-образная подушка в просаленной китайчатой наволочке. Перед этим казачьим ложем стоял белый липовый стол, а на стене висели бесструнная гитара, пеньковый укрючный аркан, нагайка и две вязанные пучошками уздечки. В уголку на небольшой полочке стоял крошечный образок Успения Богородицы с водруженною за ним засохшею вербочкою и маленький киевский молитвословик. Более решительно ничего не было в жилище дьякона Ахиллы. Рядом же, в небольшой приспешной жиле у него отставная горничная помещицкого дома, Надежда Степановна, называемая Эсперансом или еще чаще Эсперанчиком. Это была особа маленькая, желтенькая, восторрылая, с характером самым неуживчивым и до того несносным, что, несмотря на свои золотые руки, она не находила нигде места и попала в слуги бездомовного Ахиллы, которому она могла сколько ей угодно трещать и чекотать, ибо он не замечал ни этого треска, ни чекота, и самое крайнее раздражение своей служанки в самые решительные минуты прекращал только громовым: “Эсперанс, провались!” После таких слов Эсперанса обыкновенно исчезала, зная, что иначе Ахилла посадит ее на крышу и продержит там весьма немалое время.

Все эти люди жили тихою жизнью, и в то же время все более или менее несли тяготы друг друга и друг другу восполняли небогатую разнообразием жизнь. Отец Савелий главенствовал над всем положением; его маленькая карманная протопопица чтит его и не слыхала в нем души; отец Захария тоже был счастлив в своем птичнике; не жаловался ни на что и дьякон Ахилла, проводивший все дни свои в беседах и в гуляньи по городу, или в выезде и мене своих коней, или, наконец, в дразнении своей “услужавшей Эсперансы”.

Было бы, конечно, несправедливостью утверждать, что между обитателями старгородской поповки никогда уж не было и ни малейшего повода к каким бы то ни было друг на друга неудовольствиям. Нет; бывало нечто такое и здесь, и ожидающие нас страницы туберозовского дневника откроют для нас многие мелочи, которые вовсе не казались мелочами для тех, кто их чувствовал, кто с ними боролся и кто переносил их. Но все-таки мы просим извинения у любителей прямых картин с попами пьяными, с попами завидуемыми, с попами ненасытными и каверзливими – попы нашей поповки были несколько не таковы, да и прощено будет часто обвиняемому автору этого рассказа, что он позволил себе поискать для своего рассказа о попах несколько иных поповских типов, а не тех, с какими принято знакомить общество при посредстве талантливых писателей, с которыми автор, впрочем, наискромнейшим образом старается избегать всякого состязания.

Споры старгородской поповки возникали всегда только по обстоятельствам свойств тонких и щекотливых, и одно из таких недоразумений свирепствовало даже весьма недавно, всего за год до того дня, в который отец Туберозов съедет противу нас за просмотр всего написанного им в своем дневнике. Так как характер этого события, то есть характер смущающих ныне поповку недоразумений, с чрезвычайною полнотою и

Божедомы. Николай Семенович Лесков Teskovniko1ai.ru

ясностью определяет характер всех подобных происшествий на старогородской поповке, равно как вообще и характер всех взаимных отношений всех лиц этой поповки, то мы расскажем эту доселе никому не известную распрю, вследствие которой отец Савелий Туберозов до сих пор питает на дьякона Ахиллу некоторое неудовольствие, выражаемое со стороны отца протопоба тем, что он в течение целого года не шутит и не говорит с дьяконом ни о чем житейском, а ограничивается лишь одними служебными разговорами. Это очень тяжело самому протопобу Туберозову, потому что он не любит натянутых положений и любит дьякона Ахиллу, но еще тяжелее это простодушному дьякону Ахилле, который решительно не может сносить целый год продолжающихся холодных отношений к нему протопоба и который потому давно изыскивает всяческих случаев к восстановлению между собою и Туберозовым прежних теплых отношений, но никак не может напасть на благой путь, следуя которым, он мог бы надеяться овладеть потерянным благорасположением Туберозова.

Однако вожделенный день этот для дьякона Ахиллы уже не только занялся, но и истекает, и до наступления вечера сего дня, когда произойдет нечто способное положить конец протопобскому негодованию, мы едва имеем столько свободного времени, чтобы рассказать, из чего возникло самое неудовольствие протопоберея Туберозова на дьякона Ахиллу.

Событие это не лишено некоторого интереса и носит на себе следы своего местного, старогородского характера. Год тому назад отец Савелий Туберозов дозволил себе поступок, обсуждая который, довольно изрядное большинство просвещенных людей признали бы протопоба человеком мелким, завистливым, суетным и вообще человеком из разряда тех людей, которые давно должны быть для просвещенного человека не более, как сынове отрясенных.

Помещик и местный предводитель дворянства Алексей Никитич Плодомасов, ездивший год тому назад в Петербург, привез оттуда лицам любимого им соборного духовенства разные более или менее ценные подарки, и между прочим три священнические трости: две с совершенно одинаковыми набалдашниками из червонного золота для священников, то есть одну для отца Туберозова, а другую для отца Захарии, а третью с красивым набалдашником из серебра с чернью для дьякона Ахиллы.

Трости эти пали между старогородским духовенством как библейские змеи, которых кинули перед фараона египетские кудесники. Не то чтобы кто-нибудь из старогородского духовенства был недоволен плодомасовским подарком и желал непременно лучшего; но...

– Сомнение, сомнение наведено этим большое, – рассказывал городничихе Порохонцевой дьякон Ахилла.

– Да в чем же тут, отец дьякон, сомнение? – спрашивала его удивленная городничиха.

– Ах, нет, Ольга Арсентьевна, вы этого не говорите! Пожалуйста, прошу вас, не говорите. Нет; нет, большое сомнение. Это, сколь я понимаю, все это ни для чего другого и сделано, собственно, как для вражды.

– Что вы, отец дьякон! Может ли быть, чтобы Плодомасов ссорить вас хотел?

– Да не Плодомасов, а враг-с. Помилуйте вы меня (дьякон выпятил вперед левую руку, закатил рукав и правой рукою заломив у себя назад большой палец левой руки, воскликнул): во-первых, мне, как дьякону, по сану моему посоха носить не дозволено, – это раз. Повторительно я его теперь ношу, – это два, потому что он мне подарен; а во-третьих, Ольга Арсентьевна, эта одностайность... Ах, вы не говорите, не говорите, это... это ужасно. Помилуйте... отец Савелий... Ну, вы сами знаете... умница... То есть что говорить – умница, – ну просто министр юстиции, ну, скажем прямо – не министр юстиции, а настоящий гиперборей, – а и он ничего не может сообразить и смущен, и даже страшно смущен.

– Да чем же он смущен, отец дьякон?

– А тем смущен, что все это смущение: во-первых, что от этой одностайности смешенность. Как это? Чья эта трость? Извольте разбирать, которая отца протопоба, которая Захариина, когда они обе одинаковы? Но положим, на это бы

Божедомы. Николай Семенович Лесков leskovnikolai.ru

можно заметку какую-нибудь положить, или сергучем под головкой, или сделать ножом на дереве нарезочку; но а что же вы подделаете с ними в рассуждении политики? Как теперь у одной из них цену или достоинство ее отнять, когда они обе одностайны? Ну, отец протопоп, ну ведь сами его знаете, ну умница, гиперборей, министр юстиции, – и у него в руках будет точно такая же трость, как у отца Захарии! Помилуйте вы меня, сударыня! Ведь это невозможно. Отцу протопопу не только в городе, а, может быть, и во всей епархии нет никого, кто бы противустоял по рассудку, а отец Захария и вышел по второму разряду, и дарований умеренных... Нет-с; нет: ему одинакая трость с отцом Савелием не принадлежит; нет, не принадлежит. И отец протопоп это чувствуют; я вижу, что они об этом скорбят; но ведь отца протопоба вы знаете... его никто не проникнет... Я говорю: отец протопоп, больше ничего, как на отца Захариину трость я метку положу или нарезку сделаю. – “Не надо”, – говорит. – Ну, – говорю, – я потаенно от самого отца Захарии его трость супротив вашей укорочу с конца ножом. – “Глуп, – говорит, – ты”... Ну, глуп и глуп, – не впервой мне это от него слышать, а я все-таки вижу, что он всем этим недоволен... Ах, как недоволен; ах, весьма не доволен... – Дьякон поднял вверх палец, как раз против лба Порохонцевой, и произнес: – И вот вы скажите тогда, что я трижды глуп, если он не сполитикует. Отец-то Савелий?... Это уж я наверно знаю, что он сполитикует.

И дьякон Ахилла не ошибся. Не прошло и месяца со времени вручения старогородскому соборному духовенству помянутых посохов, как отец протопоп Савелий вдруг стал собираться в губернский город.

Трудно было придавать какое-нибудь особенное значение этой поездке отца Туберозова, потому что протоиерей, будучи благочинным, частенько ездил в консисторию; а потому и действительно никто этой поездке никакого особенного значенья не придавал. Но вот отец протопоп, усевшись уже совсем в кибитку, вдруг обратился к провожавшему его отцу Захарии и сказал:

– А послушай-ка, отче: где твоя трость? Дай-ко ты мне ее, я ее свезу в город.

Одно это обращение с этим словом, сказанным как будто невзначай, вдруг осенило умы всех провожавших со двора отъезжавшего отца Савелия.

Дьякон Ахилла первый сейчас же крякнул и шепнул на ухо отцу Бенефисову: “Это политика!”

– Для чего ж мою трость везти в город, отец протопоп? – спросил смиренно моргающий своими глазами отец Захария.

– Для чего? А вот покажу, как нас с тобой люди уважают и помнят.

– Алеша, беги, принеси посошок, – послал домой сынишку отец Захария.

– Так, может быть, и мою трость тоже? – спросил сколь умел мягче Ахилла.

– Нет; ты свою перед собою содержи, – отвечал отец Савелий.

– Что ж, отец протопоп, “перед собою”? И я же ведь точно так же... Тоже ведь внимания удостоен, – отвечал, слегка обижаясь, дьякон; но отец протопоп не удостоил его претензии никакого ответа и, положив рядом с собою поданную ему в это время трость отца Захария, поехал.

Отец протопоп ехал, ехали с ним и обе наделавшие смущения трости, а дьякон Ахилла томился разрешением себе загадки: зачем Туберозов отобрал трость у Захарии.

– Ну, что тебе? Что тебе до этого? Что тебе? – останавливал Захария томящегося любопытством дьякона.

– Отец Захария, я вам говорю, что он сполитикует.

– Ну, и сполитикует; а тебе что, ну и пусть сполитикует.

– Любопытен предвидеть, в чем сие заключается. Урезать он не хотел – сказал: глупость; метки я советовал, – тоже отвергнул. Одно, что предвижу...

– Ну, ну... ну что ты, болтун, предвидеть можешь?

– Одно, что... драгоценный камень вставит.

– Да; ну... ну куда же, куда он драгоценный камень вставит?

– В рукоять.

– Да в свою или в мою?

– В свою, разумеется, в свою. Драгоценный камень – ведь это драгоценность.

– Да, ну, а мою-то же трость он тогда зачем взял?

Дьякон ударил рукою себя по лбу и воскликнул: “Ах я неясить пустынная, сколь я, однако, одурачился!”

– Надеюсь, надеюсь, что одурачился, – утверждал отец Захария.

– Ничего, стало быть, теперь не отгадаешь!.. Но сполитикует; страшно сполитикует! – твердил дьякон и, ходя по своей привычке из одного знакомого дома в другой, везде заводил бесконечные разговоры о том, с какою бы это целью отец Туберозов повез в губернию обе трости?

Благодаря суете, поднятой дьяконом, дело это стало интересовать всех, и весь город далеко не равнодушно ожидал возвращения Туберозова.

Прошла неделя, и отец протопоп возвратился. Ахилла дьякон, объезжавший в это время вновь вымененного им дикого мерина, первый заметил приближение к городу протоиерейской черной кибитки и летел по всем улицам, останавливаясь перед открытыми окнами знакомых домов и крича: “Едет! едет Савелий! едет поп наш велий!”

– Теперь знаю, что такое! – говорил окружающим спешившийся у протопопских ворот дьякон. – Все эти размышления мои были глупостью моею: больше же ничего, как он просто литеры вырезал греческие или латинские. Так, так, так: это верно, что литеры, и если не литеры, сто раз меня дураком назовите.

– Погоди, погоди, и назовем, и назовем, – частил отец Захария в виду остановившейся у ворот протопопской кибитки.

Отец протопоп вылез из кибитки важный, солидный, взошел в дом, помолился, повидался с протопопицею, поцеловав ее при этом три раза в уста; потом он поздоровался с отцом Захарием, с которым они поцеловали друг друга в плечи, и наконец и с дьяконом Ахиллою, причем дьякон Ахилла поцеловал у отца протопопа руку, а отец протопоп приложил свои уста к его темени. После этого свидания началось чаепитие, разговоры, рассказы губернских новостей, и вечер уступил место ночи, а отец протопоп и не заикнулся об интересующих всех посохах.

День, другой и третий прошел, а отец протопоп и не заговаривает об этом деле: словно свез он посохи в губернию, да там по реке спустил.

– Вы же любопытствуйте! спросите! – беспрестанно зудил во все эти дни отца Захария нетерпеливый дьякон Ахилла.

– Чего я буду его спрашивать? – отвечал отец Захария.

– Да ради любознательности спросить должно.

– Да, ради любознательности! Ну спроси, зуда, сам ради любознательности.

– Да он меня сконфузит.

– А! Видишь ты какой умник: а меня разве не сконфузит?

Дьякон просто сгорал от нетерпения и не знал, что придумать.

Но вот дело разрешилось и само собою. На пятый или на шестой день, по

Божедомы. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru
возвращении своем домой, отец Савелий, отслужив позднюю обедню, позвал к себе на водочку и городничего, и смотрителя училищ Тимонова, и лекаря Пуговкина, и отца Захарию с дьяконом Ахиллою и начал опять рассказывать, что слышал и что видел в губернии. Прежде всего отец протопоп говорил о новых постройках, потом о губернаторе, которого осуждал за неуважение к владыке и за постройку водопроводов, или, как отец протопоп выражался, “акведуков”.

– Акведуки эти, – говорил отец протопоп, – будут ни к чему, потому город малый, и притом тремя реками пересекается; но магазины нечто весьма изящное начали представлять. Да вот я вам сейчас покажу, что касается нынешнего там искусства...

С этими словами отец протопоп вышел в боковую комнату и через минуту возвратился оттуда, держа в каждой руке по известной всем трости.

– Вот видите, – сказал он, поднося к глазам гостей верхние площадки золотых набалдашников.

Ахилла дьякон так и воззрился, что такое сделано политиканом Савелием для различия достоинств одностайных тростей; но ничего такого не было заметно. Напротив, одностайность их как будто еще более увеличилась, потому что посередине набалдашника той и другой трости было совершенно одинаково выгравировано окруженное сиянием всевидящее око; а вокруг ока краткая, в виде узорчатой каймы, вязная надпись.

– А литер, отец протопоп, нет? – запытал, не утерпев, Ахилла.

– К чему же здесь литеры нужны?

– А для отличения одностайности?

– Все ты всегда со вздором лезешь, – заметил отец протопоп дьякону, и при этом, приставив одну трость к своей груди, сказал: – вот это будет мне.

Ахилла дьякон быстро глянул на набалдашник и прочел около всевидящего ока слова: “Жезл Ааронов расцвел”.

– А вот это, отец Захария, тебе, – dokonчил протопоп, подавая другую трость Захарии.

На этой вокруг такого же точно всевидящего ока такую же точно древлеславянскую вязью было выгравировано: “Даде в руку его посох”.

Ахилла как только прочел эту вторую подпись, так пал за спину отца Захарии и, уткнув голову в живот лекаря Пуговкина, заколотился и задергался в припадках неукротимого смеха.

– Ну что, зуда, что, что? – частил, обернувшись к нему, отец Захария, между тем как прочие гости еще рассматривали затейливую работу гравера на иерейских посохах. – Литеры! а! литеры, баран ты этакой?

Дьякон опять так и пырскнул.

– Чего, пустозвон, смеешься? чего помираешь?

– Это кто ж баран-то выходит теперь? – спросил, немного оправляясь, дьякон.

– Да ты же, ты. Кто же еще баран?

Дьякон опять залился, замотал руками и, изловив отца Захарию за плечи, почти сел на него медведем и театральным шепотом забубнил:

– А вы, отец, вот это прочитайте: “Даде в руку его посох”. Это чему такая надпись соответствует?

– Чему? ну говори, чему.

– Тому, – заговорил протяжнее дьякон, – что дали, мол, ему линейкою палю в руку.

- Врешь.
- Вру! А отчего же его вон жезл расцвел? Потому это для превозвышения.
- Врешь.
- А вам для унижения палку в лапу.
- Врешь, врешь, все врешь.
- Ну, пусть же он с вами менка зроби́т, когда я вру.
- Начто менка?
- А потому, что он самолюб, и эту надпись вам больше ничего, как в конфуз сделал.

Отец Захария смутился. Дьякон торжествовал, наведя это смущение на тихого отца Бенефисова; но торжество Ахиллы было непродолжительно.

Не успел он оглянуться, как увидел, что отец протопоп пристально смотрел на него в оба глаза и чуть только заметил, что дьякон уже достаточно сконфузился, как обратился к гостям и самым спокойным голосом начал:

- Это надписи эти мне консистерский секретарь Афонасий Иванович присоветывал. Случилось нам, гуляя с ним перед вечером, зайти вместе к золотарю; он, Афонасий Иванович, и говорит: вот, говорит, отец протопоп, какие, мне пришла мысль, надписи вам на тростях подобают: вам вот этакую: "жезл Ааронов", а отцу Захарии вот этакую очень пристойно.
- Сполитиковал, - буркнул на ухо отцу Захарии дьякон, но, по причине своего непомерного голоса, был снова услышан отцом протопопом, который засим уже непосредственно обратился к Ахилле и сказал: - А тебе, отец дьякон... я и о твоей трости, как ты меня просил, думал сказать, но нашел, что лучше всего, чтобы ты с нею вовсе ходить не смел, потому что это твоему сану не принадлежит... - При этом отец протопоп спокойно подошел к углу, где стояла знаменитая трость Ахиллы, взял ее бестрепетною рукою и тою же рукою при всех здесь присутствовавших запер ключом в свой гардеробный шкаф.
- Отсюда, - говорил дьякон, - было все начало болезням моим. Потому я не стерпел и озлобился, а он, отец протопоп, своею политикой еще более уничтожал меня. Я свирепел, а он меня, как медведя на рогатину, сажал на эту политику.

Дьякон рассказывал эту историю в минуты крайнего своего волнения, в часы расстройства, раскаяний и беспокойств, и потому говорил нередко со слезами на глазах, со слезами в голосе и даже нередко с рыданиями.

III

- Мне, - говорил сквозь слезы взволнованный дьякон, - разумеется, тогда что следовало? Следовало пасть к ногам отца протопоба и сказать, что так и так, что я это, отец протопоп, не по злобе, не по ехидству, а так потому сказал, чтобы доказать отцу Захарии, что не глупей я его - не глупей. Ну что ж, власть ваша, мол, ну хоть ударьте меня за эту глупость, но... тут в этот час гордыня меня удержала, что он мою трость в шкаф запер, а после Варнавка Омнепотенский... Ах, я вам говорю... Ну, да не я буду, если я умру без того, что я этого просвирниного сына Варнавку не взвошу!

- Опять ты и этого не смеешь, - останавливал Ахиллу отец Захария.
- Отчего это не смею? За безбожие-то не смею?
- Не смеешь, хоть и за безбожие, так не смеешь, - он чиновник, чиновник: он учитель.
- Так что, что учитель? За безбожие я кого угодно возделаю. Очень просто: замотал крепче руку ему в аксиосы, взвошил хорошенько да и выпустил, и ступай жалуйся, что бит духовным лицом за безбожие... Боже мой! Как подумаю - и что это тогда со мною поделалось, что его этакое негодивца Варнавку я слушал и что даже

до сегодня я еще с ним как должно не расправился! Ведь Сергея же дьячка за рассуждение о громе я тогда же сейчас бил; комиссара Данилку мешанина за едение яиц на улице в прошедший великий пост – опять тоже я весьма и весьма прилично поколотил, – а этому просвирнину сыну все спускаю, тогда как им я более всех и уязвлен! Отец протопоп гневались бы на меня за разговор с отцом Захарию, но все бы это не было долговременно; а этот просвирнин сын Варнавка, как вы его нынче видеть можете, учитель математики в уездном училище, озлобленному и уязвленному мне еще подтолдыкнул: “Да это, говорит, надпись туберозовская еще кроме того и глупа”. Я, знаете, будучи уязвлен, страх как жаждал, чем бы и самому отца Савелия уязвить, и спрашиваю: чем же глупа? А Варнавка говорит: “Тем глупа, что еще самый факт-то, о котором она гласит, не достоверен; да не только не достоверен, а и невероятен. Кто это засвидетельствовал, что жезл Ааронов расцвел? Сухое дерево разве может расцвести?” Я было его на этом даже остановил и говорю: “Пожалуйста, ты этого, Варнава Васильич, не говори, потому что Бог иде же хочет, побеждается естества чин”, но при этом, как это у акцизничихи у Безюкиной происходило, так все эти возлияния, все го-го, го-сотерн, да го-марго, – я.. и немножко надрызгался. Я, изволите понимать, в угаре, а Варнавка мне, знаете, тут торочит, что “тогда ведь, говорит, и Мани факел фарес было на пиру Валтассаровом написано, а теперь я вам могу это самое фосфорной спичкой написать; да там во всем и противоречий пропасть”... И пошел, знаете, а я все это сижу да слушаю. А тут опять еще эти го-марго-то сокрушаешь, да уж и достаточно уязвлен сделался, и сам заговорил в вольнодумном штыле. Не то, чтобы против бытописания, а насчет противоречий нашел, что точно, говорю, противоречия есть, потому что раз читается “жена да боится своего мужа”, и все будто мужчина верхним жорновом почитается, а тут вдруг опять в Исходе писано: “и призва фараон бабы, и рече: бабы, бабы! егда бабите мужеский пол, убивайте его, а женский пол, снабдевайте его”, – это, говорю, ни с чем не сообразно, как фараону с бабами разговоры весть, так и мужеский пол весь побивать его. Но акцизничиха Дарья Николавна в спор со мной: “это, говорит, фараона только отлично рекомендует, что он принимал сторону женщин, и когда б, говорит, с его времени все бы цари дали такие приказы, чтобы мужеский пол убивать и снабдевать женский, то теперь мужчины бы, говорит, над нами наверное уж не господствовали”. Ну, я, знаете, ничего этого не понимаю, об чем она рацеи разводит, а тут же все эти бутылки стоят, а я их за хохлы да в рюмку, – ну уж, знаете, и сам в мансипацью вошел. Угнетают, твержу, угнетают, точно угнетают, да бутылку-то опять за чепец, да и словно в самом деле уж бабой начинаю себя считать. Отцом протопопом уязвлен, вином омрачен, воспален этими речами женщины хитрой и Варнавки – и, знаете, вскипел.

– Мы, говорю, Дарья Николаевна, должны это... трах.

– Что это, говорит, такое трах?

– А так, говорю, трррах... то есть, чтоб к черту это все, чтобы над нашим полом кто командовал. Я, говорю, я если бы только не видел отца Савелиевой прямоты, потому как знаю, что он прямо алтарю предстоит и жертва его прямо идет, как жертва Авелева, то я только Каином быть не хочу... А то бы я его... Это, понимаете, на отца Савелия-то! Ведь не глупец ли? Ну, а она, эта Данка-Нефалимка, говорит: “Да вы знаете ли цену Каину-то? Что такое, говорит, ваш Авель? Он больше ничего, как раб, раб, маленький барашек, искатель, – у него рабская натура, а Каин деятель. Вот, говорит, как его аглицкий писатель Бирон изображает...” Да и пошла. Ну, а тут все эти го-ма-го меня тоже наспиртуозили, и вот хочу быть я Каином, да и шабаш. Слава Богу моему и Создателю, что не было там отца Савелия, я бы ему непременно согрубил. Вышел я оттуда домой весь в азарте, дошел до отца Протопопова дома, стал перед его окнами и закричал: “Я царь, я раб, я червь, я бог!” Боже, сколь я был постыжен и уязвлен! Отец протопоп встали с постели, подошли в сорочке к окну и, распахнув раму, крикнули: “Ступай спать, Каин!”... Я ведь вам говорю – министр юстиции: все он провидит, все духом своим изобличит и предусмотрит. Я затрепетал весь от этого слова его “Каин”, потому только что собирался в Каины, и отошел к дому, и вся моя строптность тут же мгновенно пропала. – Но гнев отца протопоба не проходит, нет, и до сегодня не проходит. Я приходил и на колени становился; винился во всем и каялся – говорил: “Отец протопоп! Бог грешников прощает, ужели же я больше всех грешников грешен?” Но на все один ответ, – заключал, вздыхая, дьякон. – На все едино решение: “иди”. Куда идти мне? Куда, я вас спрашиваю? Разве я не чувствую, сколь я его обидел! Почтмейстерша Тимониха советует: “в полк, говорит, отец дьякон, идите, – вас полковые непременно очень любить будут”. Знаю я это, что полковые и очень могут меня любить; но что из меня самого-то в полку воспоследует? Ведь там уж я

действительно Каином сделаюсь, потому у них эти все телодвижения разные, постоянно танцы и питра, а кто же меня станет удерживать? Ведь это, ведь один он все-таки еще меня содержит, а то я бы ведь давно Бог знает куда угодил, – а он... а он... – У дьякона закипали в груди слезы, и он, всхлипывая, заканчивал: – А он целый год со мной на политике. Думал я попервоначалу, что донесет репортом, и этого больше всего, признаться, и боялся, но нет: никакого доноса он не сделал; а вот какую штуку придумал: молчать. За что же? за что же ты молчишь со мною? – восклицал дьякон, плачучи и обращаясь с поднятыми руками в ту сторону, где предполагал дом отца протопопа. – Это хорошо так делать, а? Хорошо это, что я по диаконству моему подхожу и говорю: благослови, отче? и руку его целуя, чувствую, что даже рука его холодна для меня? Это хорошо? На Троицын день перед великою молитвою я, может быть, какими искреннейшими слезами обливаясь, прошу: благослови?... А у него и тут нет умиления, и тут он не мог простить? “Буди благословен”, – говорит. Да что мне эта форменность, когда все это без ласковости! Просил прощения, – говорит: “это детей прощают, а ты уж не ребенок”... Ну, что вы хотите с таким характером жестоким сделать?

– Заслужи, – замечал отец Захария.

– Да чем же я, отец Захария, заслужу?

– Примерным поведением заслужи.

– Да каким же примерным поведением, когда он совсем не замечает меня, кроме службы? Я вижу, он скорбит, вижу, он в задумчивости. Боже мой! – говорю я себе: чего он в таком изумлении? Чего он скорбит? А особенно, когда вздумаю, что, может быть, это он и обо мне скорбит... Потому что ведь там как он на меня ни сердись, а ведь он, – я знаю, простите меня, врет, он жалеет меня и любит... Боже мой, что мне с моею суетностью делать! Этакой человек, министр юстиции, – скорбен, а я смеюсь, испиваю и даже живу и забываю это!.. – Дьякон оборачивался в другую сторону и, стуча, кулаком по ладони, выговаривал: – Ну, просвирнин сын, тебе это так не пройдет! Будь я взаправду тогда Каин, а не дьякон, если только я этого гнусника, этого учителя Варнавку публично не исковеркаю!

Учителю Варнаве Омнепотенскому угрожала самая решительная опасность от дьякона Ахиллы, и опасность эта была тем ближе, чем чаще и чаще дьякон Ахилла начинал чувствовать томление по своему потерянному раю, по утраченному благорасположению к себе отца Савелия. Как друзья учителя Омнепотенского, так и его льстивые недруги, насмешники и интриганы, все воедино давно ему советовали, в видах спасения себя от угрожающей ему опасности, просить начальство о перемещении его на службу в другой город, где нету дьякона Ахиллы и куда Ахилле забежать было бы как можно несподручнее. Но Омнепотенскому решительно невозможно было оставлять Старого Города, потому что здесь были посеяны им некие благие семена, всхода которых ожидал и он, и ближайший друг его, жена акцизного чиновника Дарья Николаевна Безюкина. Бежать отсюда Варнаве Омнепотенскому значило бы обличить непростительную трусость и оказать столь преступное равнодушие к великим интересам, которыми озабочивались и Бизюкина, и Омнепотенский, что мысль об оставлении Омнепотенским Старого Города представлялась обоим им совершенною нелепостью и делом в гражданском отношении бесчестнейшим.

Так, по этим вполне достойным и серьезным соображениям, длинный, хилый и плюгавый сын никитской просвирни Омнепотенской, уездный учитель Варнавка Омнепотенский или, как его в насмешку звали, “Омнеамеамекумпортинский” оставался жить в Старом Городе под беспрестанным страхом мщения дьякона Ахиллы. Но справедливость требует сказать, что ни сам Варшава, ни Бизюкина не сознавали всей опасности, которой подвергался учитель, и не замечали ни примет, ни знамений, по которым можно было предвидеть, что, как говорил Ахилла, “ижица уже к Варнаве близится”.

Наконец ударил час, с которого должны были начаться кара Варнавы Омнепотенского рукою Ахиллы и, совершенно совпадающее с сим событием, примирение Ахиллы с протоиереем Туберозовым.

История эта имеет несколько пунктов, которые приходится пересказать по порядку.

Но мы оставим пока в стороне все тропы и дороги, по которым Ахилла, как американский Следопыт Купера, будет выслеживать своего врага, учителя Варнавку, и прокрадемся в чистенький домик отца Туберозова. Нам нужно узнать, как и о чем

Божедомы. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru
сетует наш протоиерей Савелий? Может быть, его еще не совсем знает и отец Захария, и не совсем понимает причину его сетований и дьякон Ахилла; может быть, его внутри больше спрятано, чем видно его снаружи, и, может быть, есть какое-нибудь средство заглянуть в эту внутрь его, как смотрят в стеклянный улей, в котором пчела строит свой дивный сот с воском на освещение лица Божия и с медом на усладу уст человека. Наденем легкие сандалии, чтобы шаги ног наших не встревожили задумчивого и грустного протопопы; положим сказочные шапки-невидимки на головы наши, дабы самодовольный зрак наш не смущал серьезного взгляда чинного хозяина, и будем иметь уши наши отверзтыми ко всему, что от него услышим, зане, может быть, и без того уже велико преступление наше, что мы не знаем доселе, что гнетет и мучит душу нашего старого попа.

Мы идем на разрешение себе загадки: в самом ли деле один безрассудный поступок Ахиллы может так сильно терзать Туберозова, что он целый год не может ни Ахиллу простить, ни сам с собою примириться, а в минуты сугубого уединения, которого тщательно ищет, становится по углам и в тишине шепчет перед образом Спаса: "Прискорбна душа моя, Боже мой! Вонми Блаже в помощь мою и помощи ми потщися!"

Тихо! Неимущие страха божия, займите его у имущего, и войдем в дом попа Туберозова с тем благоговением, с каким входили в него люди, перед которыми Савелий отворял свои двери с словом ласки и приветия.

IV

Над Старым Городом спускается вечер. Нагорная Батавина сторона, где возвышается острый купол собора, купается в розовом свете; тихое Заречье утонуло уже в тенистой мгле. По плавучему мосту, соединяющему обе стороны города, изредка проходят одинокие фигуры. Они идут спешно: ночь в тихом городе начинается рано и рано собирает всех в гнезда свои и на пепелища свои. Прокатила почтовая телега, звеня колокольчиком и перебирая, как клавиши, мостовины, и опять все замерло. На соборном кресте еще играет красный луч заходящего солнца, но и он все меркнет, меркнет и наконец засверкал тонкою стрелкою, сократился в алмазную точку, еще раз сверкнул и исчез метеором. Надвигается тьма; из далеких лесов спешно разносится благотворная свежесть. В воздухе тихо, как в опрокинутой урне надгробной. На острове, который образуют рукава Турицы и на котором синее буйная бакша чудака Пизонского, называемого ото всех "дядей Котином", раздаются клики:

– Малвоша! Малвоша! Слезь, деточка, с дерева! Покажись, моя крошечка!

Клики эти так слышны, как будто они раздаются над ухом.

Вот оттуда же несется детский хохот, плеск воды, потом топот босых ребячьих ног по мостовинам, звонкий лай игривой собаки, и все это кажется так близко, что мать протопопица, сидевшая во все это время у открытого окошка, вскочила и выставила вперед руки. Ей показалось, что хохочущее дитя сейчас же упадет к ней в колени.

Протопопица оглянулась и тут только заметила, что на дворе ночь. Она зажгла свечу, кликнула небольшую лет двенадцати девочку и спросила ее:

– Ты, Феклинька, не знаешь, где это наш отец протопоп засиделся?

– Он, матушка, у городничего в шашки играет.

– А, у городничего. Ну, Бог с ним, когда у городничего. Давай мы ему, Феклинька, постель постелем, пока он у городничего.

Феклинька принесла из соседней комнаты в залу две подушки, простыню и стеганое желтое одеяло; а мать протопопица внесла белый пикейный шлафор и большой пунсовый фуляр.

Постель была постлана отцу протопопу на большом, довольно твердом диване из карельской березы. Изголовье было открыто; белый шлафор раскинут по креслу, в ногах, на шлафор был положен пунцовый фуляр. Затем мать протопопица, вдвоем с Феклинькой, придвинула к головам устроенной постели отца Савелия тяжелый круглый стол на массивной тумбе, поставила на этот стол свечу, стакан воды, блюдо с толченым сахаром и колокольчик. Все эти приготовления и вся тщательность, с которою они исполнялись, свидетельствовали о крайнем внимании протопопицы ко

Божедомы. Николай Семенович Лесков Teskovniko1ai.ru
всем привычкам мужа. Только устроив все как следовало, она успокоилась и снова погасила свечу и села одиноко к окошечку.

Отец протопоп, давно невеселый, нынче особенно хандрит целый день. К тому же отец Савелий сегодня устал: он ездил нынче на поля слобожан и служил там молебен по случаю стоящей засухи. После обеда он немножко вздремнул и пошел пройтись, но как оказалось, зашел к городничему, и теперь его ждут.

Тишина ненарушимая. Но вот с нагорья начинает слышаться чье-то довольно мелодическое пение. Мать протопопица прислушивается. Это поет дьякон Ахилла: она хорошо узнает его голос. Он сходит с Батавиной горы и распевает:

Ночную темноту
Покрылись небеса;
Все люди для покою
Сомкнули очеса.
Дьякон спустился с горы и, идучи по мосту, продолжает:

Внезапно постучался
Мне в двери Купидон;
Приятный перервался
Вначале самый сон.
Мать протопопица слушает с удовольствием пение Ахиллы, потому что она любит и его самого за то, что он любит ее мужа, и любит его пение, потому что он прелестно поет своего “Купидона”. Она замечталась и не слышит, как дьякон взошел на берег и все приближается и приближается, и наконец под самым ее окошечком вдруг хватил с декламациею:

Кто так стучится смело?
Сквозь двери я спросил.
Мечтавшая протопопица тихо вскрикнула: ах! и отскочила вглубь покоя.

Дьякон, услышав это восклицание, перестал петь и остановился.

– А вы, Наталья Николаевна, еще не започивали? – отнесся он к протопопице и с этими словами, схватясь руками за подоконник, вспрыгнул на карнизец фундамента и воскликнул: – А у нас мир!

– Что? – переспросила его протопопица.

– Мир, – повторил дьякон, – мир. – Ахилла повел по воздуху рукою и добавил: – отец протопоп... конец...

– Что ты говоришь: какой конец? – запыталась вдруг встревоженная этим словом протопопица.

– Конец... со мною всему конец... Отныне мир и его благоволение. Ныне которое число? Ныне четвертое июня 1864 года: вы так и запишите: “4 июня 1864 года мир и благоволение”, потому что мир всем и Варнавке учителю шабаш.

– Что это ты лепечешь, дьякон? Дохни-ка мне?

– Дохнуть? – извольте, дохну: я окромя чаю ничего не пил, а мир сделал с отцом протопопом. То есть еще не сделал хотя, но близко того нахожусь, потому что Варнавку учителя обработать мне – что же это стоит, когда я на то указание имею?

– Ты это что-то все врешь... вином от тебя не пахнет, а врешь?

– Вру! А вот вы скоро увидите, как я вру. Сегодня 4-е июня 1864 года, – сегодня преподобного Мефодия Песношского, вот вы это себе и запишите, что от этого дня у нас распочнется. – Дьякон еще приподнялся на локти и, втиснувшись по пояс в комнату, зашептал: – Варнавка учитель сварил в трех корчагах человека.

– Дьякон, ты врешь, – сказала протопопица.

– Он сварил в трех зольных корчагах человека, – продолжал, не обращая на нее внимания, дьякон, – но это ему было дозволено, от городничего и от лекаря. Но теперь он этого человека всячески мучит.

– Дьякон, ты врешь это все!

– Нет-с, не вру я, не вру, – зачастил дьякон и, неистово замотав голову, начал вырубать слово от слова чаще; – он сварил его с разрешения начальства и теперь его мучит, и тот стонет и смущает его мать просвирню, и я все это разузнал и сказал у городничего отцу протопопу, и отец протопоп городничего того-с, пробире-муа ему задали, и городничий сказал мне: дьякон! возьми солдат и положи этому конец; но я сказал, что я и сам солдат, и с завташнего дня, ваше преподобие, честная протопопица Наталья Николаевна, вы будете видеть, как дьякон Ахилла начнет казнить своего врага и врага Божия, учителя Варнавку, который богохульствует, смущает людей живых, мучит беспощадно мертвых и ввел меня в озорство против отца протопопа. Да-с, сегодня 4-е июня 1864 года, память преподобного Мефодия Песношского, и вы это запишите, потому что...

Но на этих словах поток красноречия Ахиллы оборвался, потому что в это время как будто послышался издали с горы кашель отца протопопа.

– Грядет поп велий Савелий! Спокойной ночи вам, матушка! – воскликнул быстро, слышав этот голос, Ахилла и соскочил с фундамента на землю. Здесь он обернулся на минуту к нагорной стороне города, где жил учитель Омнепотенский, и проговорил: – Спи, брат, Варнава Васильевич, спи, дуrolомище, – завтра узнаешь, что мы с твоею матерью над твоим сваренным человеком устроили!

С этим дьякон пошел своею дорогою, скрывшись во мраке ночи, и оставил стоящую у своего окна протопопицу не только во мраке неведения насчет всего того, чем он грозился учителю Омнепотенскому, но даже в совершенном хаосе насчет всего, что он наговорил здесь. В этом же хаосе, в этих же недоумениях останемся пока с матерью протопопицею и мы, и чтобы нас не смущала нескладность и неясность речей Ахиллы, поступим, как поступила Наталья Николаевна: забудем на время об Ахилле и о его враге, которому он изготовился мстить, и станем ждать отца протопопа. Нам нужно провести с ним всю ночь в его чинном доме, и зато к утру 5-го июня мы будем знать и значение слов Ахиллы и самого протопопа так близко, как его еще никто до сего дня не знает.

Вот будто где-то за рекою послышался его голос. Ему отвечает другой голос.

– С кем бы это он разговаривал? – отгадывала мать протопопица, стараясь прозреть густую темень, в которой слились даже все очертания заречных построек и только чуть темнела неясною глыбою масса собора.

Рассмотреть ничего невозможно; не более можно и расслушать. Несмотря на то, что звуки в тихом воздухе ночи разносятся очень отчетливо и далеко, мать протопопица не улавливает ни одного слова. Она только может разобрать, что разговор идет над рекою: что отец протопоп, вероятно, стоит на мосту и говорит оттуда с Пизонским, стоящим на берегу своего острова.

Протопопица сидит у окошечка час, сидит полтора и наконец дремлет. Ей снится Ахилла: он несет какого-то сваренного человека, – все это как-то не вяжется, как-то нескладно, словно только что конченный рассказ самого Ахиллы. Но вот дремлющей ей скрипнули крылечные ступени, и отец Савелий, в камилавке на голове и в руках с тою самую тростью, на которой было написано: “жезл Ааронов расцвел”, вступил в храмину свою.

Протопопица встала и засветила вдруг две свечи, и из-под обеих посмотрела на вошедшего мужа. Он был ласков с женой, тихо поцеловал ее в лоб, тихо снял рясу, надел свой белый шлафор, подвязал шею пунцовым фуляром и сел у окошечка.

Протопопица совершенно забыла про все, что ей за час перед сим наговорил дьякон: ей казалось теперь, что она все это видела во сне, и потому она ни о чем не спросила мужа. Она пригласила его в смежную маленькую продолговатую комнатку, которая служила ей спальнею и где была приготовлена для отца Савелия его вечерняя закуска. Отец Савелий сел к столику, съел два сваренные для него всмятку яйца и, помолясь, начал прощаться на ночь с женою. Протопопица сама никогда ничего не ужинала, потому что иначе ей снились страшные сны. Она обыкновенно только сидела перед мужем, пока он закусывал, и оказывала ему небольшие услуги. Потом они оба вставали, молились перед образом и непосредственно за тем оба начинали крестить один другого. Это взаимное

Божедомы. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru
благословение друг друга на сон грядущий они производили всегда оба одновременно, и притом с такою ловкостью и быстротою, что нельзя было надивиться, как их быстро мелькавшие одна мимо другой руки не хлопнут одна по другой и одна за другую не зацепятся.

Получив взаимные благословения, супруги напутствовали друг друга и взаимным поцелуем, причем отец протопоп целовал свою низенькую жену в лоб, а она его в сердце. Затем они расставались: отец протопоп уходил в свою гостиную и, поправив собственными руками свое изголовье, садился в одном белье по-турецки на диван и выкуривал трубку, а потом предавался покою. Точно так же пришел он в свою комнату и сегодня, и там же выкурил свою трубку, но не лег в постель, а встал, притворил и тихо запер на крючок дверь в женину спальню. Потом он взял к себе на колена маленькую кучерявую коричневую собачку и стал щекотать ее шейку.

– Отец Савелий, ты чего-то сомневаешься? – спросила через стенку протопопица, хорошо изучившая все мельчайшие привычки мужа.

– Нет, друг, я ни в чем не сомневаюсь! – отвечал, вздохнув, протопоп и, положив собачку в ноги на свою постель, прикрыл ее одеялом.

– Тебе не подать ли, отец протопоп, на ночь чистый платочек? – осведомилась, приложив свой курносый носик к створу двери, протопопица Наталья Николавна.

– Платочек? – да ведь ты мне в субботу дала платочек?

– Ну так что ж, что в субботу?.. Да отопритесь вы в самом деле, отец Савелий! что это вы еще за моду такую взяли, чтоб запираяться?

Попадья принесла чистый фуляровый платок, и они с мужем снова начали крестить друг друга и снова расстались.

Дверь теперь осталась открытою.

Отцу протопопу не спалось. Он долго ходил по своей комнате в своем белом пикейном шлафоре и пунцовом фуляре под шеей. В нем как бы совершалась некая борьба, как бы кипела некоторая священная тревога. При всем внешнем достоинстве его манер и движений, он ходил шагами неровными, то несколько учащая их как бы хотел куда-то броситься, то замедляя их, и наконец вовсе останавливаясь и задумываясь. Это хождение продолжалось с добрый час, и наконец отец Савелий подошел к небольшому красному шкафику, утвержденному на высоком комодe с выгнутою доскою. Из этого шкафа он достал Евгениевский календарь, переплетенный в толстый синий демикотон с желтым сафьянным корешком, положил эту книгу на круглом столике, стоявшем у его постели, и зажег перед собою две экономические свечи.

– Будешь читать, верно? – спросил в эту минуту из-за стены голос заботливой протопопицы.

– Да, я, друг Наташа, почитаю немножко, – отвечал отец Туберозов, – одолжи меня, усни, пожалуй, усни.

– Я усну, – отвечала протопопица.

– Да, усни; – и с этими словами отец протопоп, оседлав свой гордый римский нос большими очками, начал медленно перелистывать свою старую книгу.

Он не читал, а только перелистывал эту книгу, и притом останавливался не на том, что в ней было напечатано, а лишь просматривал его собственною рукою исписанные прокладные страницы.

Все эти записи были сделаны разновременно и отличались нередко весьма большою оригинальностью и разнообразием. Все они, по-видимому, воскрешали перед отцом протопопом целый мир воспоминаний, к которым старший поп Старого Города любил от времени до времени обращаться.

Демикотоновая книга протопопа Туберозова
Сегодня Туберозов просматривал свой календарь с самой первой прокладной страницы, на которой было написано: “По рукоположении меня 4-го февраля 1831

Божедомы. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru
года преосвященным Гавриилом во иерея, получил я от него сию книгу в подарок за мое доброе прохождение семинарских наук и за поведение”.

За первую надпись, совершенную в первый день иерейства Туберозова, была вторая: “Проповедывал впервые в соборе после архиерейского служения. Темою проповеди избрал текст притчи о сыновьях вертоградаря: “Один сказал: не пойду, и пошел, а другой отвечал: пойду, и не пошел”. Свел сие к благим действиям и благим намерениям, позволяя себе некоторые намеки на служащих, присягающих и о присяге своей небрегающих. Говорил плавно и естественно. Владыка одобрили и после обедни поставили отцу ректору на замечание, отчего в семинарии мне не дана была фамилия Остромысленский; “но, впрочем, присовокупили владыко, и сия фамилия Туберозов для проповедника весьма благоприличная”. А впрочем, впоследствии призывал меня владыко, дабы в проповедях к жизни особого прямого отношения не делал, но за прошлое строго не укорял.

1832 года, декабря 18-го, – гласила надпись, – был призван высокопреосвященным и получил назначение в Старый Город, где нарочито силен раскол. Указано противодействовать оному всячески.

1833 года, в восьмой день февраля, выехал с попадьей из Благодухова в Старый Город и прибыл сюда 12 числа о заутрени. На дороге чуть нас не съела волчья свадьба. В церкви застал нестроение. Раскол силен.

Осмотревшись, нахожу, что противодействие расколу точка в точку, как по консисторской инструкции, так и по владычному указанию, на деле невысказано, и о сем писал в консисторию и получил выговор. Писано 17-го апреля”.

Протоиерей пропустил несколько заметок и остановился опять на следующей: “Получив замечание о недоставлении доносов, оправдывался, что в расколе делается все, что уже давно всем известно, про что и писать нечего, и при сем добавил в репорте, что наиглавнее всего, что церковное духовенство находится в крайней бедности и того для, по человеческой слабости, не противудейственно подкупам и само потворствует расколу. Заключение, что не с иного чего надо начать, как с изъятия духовенства из-под тяжелой зависимости и соблазнов, зане люди они и ничто человеческое им не чуждо. За сей донос получил строжайший выговор и замечание и вызван к личному объяснению”.

Ниже, через несколько записей, значилось: “Был по делам в губернии и, представляясь владыке, докладывал о бедности причтов. Владыко очень о сем соболезновали; но заметили, что и сам Господь наш не имел где головы восклонить, а к сему учить не уставал. Советовал мне, дабы рекомендовать духовным читать книгу “О подражании Христу”. На сие ничего его преосвященству не возражал, да и всуе было бы возражать, потому как и книги той духовному нищенству нашему достать негде.

Политично за вечерним столом у отца ключаря еще раз заводил речь о сем же предмете с отцом благочинным и с секретарем консистории; однако сии речи мои обращены в шутку. Секретарь с усмешкой сказал, что “бедному удобнее в царствие Божие внити”, что мы и без его благододия знали; а отец ключарь при сем рассказали безынтересный анекдот об одном академическом студенте, который, будучи в мирском звании, на вопрос владыки, имеет ли он какое состояние? отвечал: “Имею, ваше преосвященство, и движимое, и недвижимое”. – “Что же такое у тебя есть движимое?” – спросил его владыко, видя заметную мизерность его костюма. – “А движимое у меня – дом в селе”, – отвечал вопрошаемый. – “Как так – дом движимое?” – “А так, что как ветер подует, то он весь и движется”. Владыке ответ сей весьма своеобразным показался, и он, еще более любопытствуя, спросил: “А что же ты своею недвижимостью нарицаешь?” – “А недвижимость моя, – отвечал студент, – матушка моя, дьячиха, да наша коровка бурая, кои обе ног не двигали, когда отбывал из дому, – одна от старости, другая же от бескормицы”. Немало сему все мы смеялись, хотя я, впрочем, находил в сем наиболее достойного горького плача трагического, нежели комедийной веселости. Начинаю замечать во всех значительную смешливость и легкомыслие, в коих доброго не предусматриваю.

Житие мое иждиваю блудно и срамно в сне и в ядении. Расколу не могу оказывать противодействий нималым, ибо всеми связан, и причтом полуголодным, и исправником дуже сытым. Негодую, зачем я послан: проповедывать – да некому; учить – да не слушают. Проповедует исправник меня гораздо лучше, потому что у него к сему

Божедомы. Николай Семенович Лесков teskovniko1ai.ru
сность есть, а от меня доносов требуют; к чему сии, да и сан мой не позволяет. Представляя репортом о дозволении иметь на Пасхе словопрение с раскольниками, – в чем и отказано. Вдобавок к форменной бумаге секретарь, смеючись, отписал privately, что если скука одолевает, то чтобы к ним проехался. Нет уж, покорнейше спасибо, а не прогневайтесь на здоровье. И без того мой хитон обличает мя, яко несть брачен, да и жена в одной исподнице гуляет. Следовало бы как ни на есть хоша поизряднее примундириться, потому что люди у нас руки целуют, а примундироваться еще пока ровно не на что; но всего, что противнее, это наглый тон и бесстыдный, с которым говорится: “а не хочешь ли, поп, в консисторию подоиться?” – Нет, друже, не хочу, не хочу.

13 окт. 1835 г. Читал книгу об обличении раскола. Все в ней есть, да одного нет, что раскольники блюдут свое заблуждение, а мы своим правым путем небрежем и, как младенцы, идем оным играючи; а сие, мню, яко важнейшее.

Сегодня утром, 18-го марта сего 1836 года, попадья Наталья Николаевна намекнула мне, что она чувствует себя непорожнею. Подай, Господи, нам сию радость. Ожидать 9-го ноября.

9-го мая на день св. Николая Угодника происходило разрушение деевской часовни. Зрелище было страшное и непристойное, и к сему же, как на зло, железный крест с купольного фонаря сорвался и повис на цепях, а будучи понуждаем баграми к падению, упал внезапно и проломил пожарному солдату голову, отчего тот здесь же и помер. Вечером к молельной собрался народ, и их, и наш церковный, и все вместе много и горестно плакали.

10 мая. Были большие со стороны начальства ошибки. Перед полуночью прошел слух, что народ вынес на камень лампаду и начал молиться над разбитой молельной. Все мы собрались и видим, точно идет моление, и лампада горит в руках у старца и не потухает. Городничий велел подвезти пожарные трубы и из них народ окачивать. Было сие весьма необдуманно и, скажу даже, глупо, ибо народ зажег свечи и пошел по домам, воспевая “мучителя фараона” и крича: “Господь поборает нам и ветер свещей не гасит”. Говорил городничему, сколь неосторожно сие его распоряжение; но ему что? Ему лишь бы у немца выслужиться.

12 мая. Франтовство одолело: взял в долг у предводительской экономки два шелковые платья предводительшины и послал их в город окрасить в масока цвет, как у протодьякона, и сошью себе ряску шелковую. Невозможно без этой аккуратности, потому что становлюсь повсюду вхож в дворянские дома, а унижать себя нисколько не намерен.

17-го мая попадья Наталья Николаевна намекнула, что она ошиблась.

20-го июня. По донесению городничего, за нехождение со крестом о Пасхе в дома раскольников, был снова вызван в губернию. Изложил сие дело владыке обстоятельно, что сие учинил не по нерадению, ибо то даже в карманный ущерб самому себе учинено было; но сделал сие для того, дабы раскольники чувствовали, что чести моего с причтом посещения лишаются. Владыко задумались и потом объяснение мое приняли; но царь жалуется, да пес разжалывает. Так как дело сие касалось и гражданской власти, то дабы и там конец оному положить, владыко послали меня объяснить сие губернатору.

Оле мне грешному, что я здесь вытерпел!

Оле вам, братия моя, искренний и други, за срамоту мою и унижение! Губернатор, яко немец, соблюдая и Лютера амбицию, попа русского к себе не допустил, а отрядил меня для собеседования о сем к правителю. Сей же правитель, поляк, не по владычному делу сие рассмотреть изволил, а напустился на меня с криком и рыканием, говоря, что я потворствую расколу и сопротивляюсь воле моего Государя. Оле тебе, ляше прокаженный, и ты с твоею прожженной совестью меня сопротивлением Царю моему упрекаешь? Однако ушел молча, памятуя хохлацкую пословицу: “скачи враже, як пан каже”. Все сие было как бы для обновления моей шелковой рясы, которая, при сем скажу, сделана весьма исправно и едва только при солнце чуть отменяет, что из разных материй.

Марта. Сегодня в субботу страстную приходили причетники и дьякон Прохор Преклонский просить, дабы неотменно идти со крестом на Пасхе и по домам раскольников, ибо несоблюдение сего им в ущерб. Отдал им из своих денег сорок

Божедомы. Николай Семенович Лесков teskovniko1ai.ru

рублей, но не пошел на сей срам, дабы принимать деньги у мужичьих ворот, как подаяние. Вот теперь уже рясу свою вижу уже за глупость, мог бы и без нее обойтись, и было бы что причту раздать. Но думалось: “нельзя же комиссару и без штанов”.

10-го июля 1837 года был осрамлен до слез и до рыдания. Опять был на меня донос, и опять я предстоял перед оным губернаторским правителем за невхождение со крестом во дворы раскольников. Донос сделан дьяконом Преклонским и причетом. Как перенести сию низкость и неблагородство? Мыслитель и администратор! сложи в просвещенном уме своем, из чего жизнь попа русского сочетается. Возвращаясь домой, целую дорогу сетовал на себя, что не пошел в академию. Оттоль поступил бы в монашество, как другие; был бы с летами архимандритом, архиереем; ездил бы в карете, сам бы командовал, а не мною бы командовали. Суетою этою злобно себя тешил, упорно воображая себя архиереем, но приехав домой, был нежно обласкан попадьёю и возблагодарил Бога, тако устроившего, яко же есть.

11-го июля. Был я осрамлен в губернии; но мало в сравнении перед тем, сколь дома сегодня остыжен, как школьник. Вчера только вписал я мои нотатки о моих скорбях и недовольствах, а сегодня, в день Ольги равноапостольной, пошел служить раннюю и увидел посреди храма стоящего бакшевника Константина Пизонского, а возле него двух его сирот, Глашу и Олиньку, и сию последнюю в ситцевом платице. Вспомнул, что она имянинница. Взглядывал неоднократно на Пизонского... Какою светлотою и какою радостью сияет лицо его! По обедне выслал с дьячком Олиньке просфора, и кончилось сие слезами. По отпусе выхожу, а Пизонский с детьми на коленях у южных врат и со слезами руки мои начали целовать; а сам Пизонский лепечет: “за радость, отец, благодарим, за радость!” А сколь велика эта радость? – просфора, сироте-имяниннице поданная. – Я роптал за уколы гордости моей, а сей нищий, в плетушке за плечами утачивший сирот, коих доля была быть ослепленными нищею Пустырихою, счастлив от безмерия добра своего. Сколь глупа в самом деле вся скорбь моя.

6-го августа, день Преображения Господня. Что это за прелестная такая моя попадьё Наталья Николавна! Я ей говорил как-то, сколь меня трогает нежность беднейшего Пизонского о детях, и она тотчас поняла или отгадала мысль мою и жаждание: обняла меня и с румянцем стыдливости, столь ей идущим, сказала: “Погоди, отец протопоп... может, и своих Господь детей даст нам”. По обычаю, думая, что сии надежды суетны, я ее о сем не спрашивал, и так; оно и вышло. Сегодня же я говорил слово к убеждению в. необходимости всегдашнего себя преобразования, дабы силу иметь во всех борьбах коваться, как металл некий крепкий и ковкий, а не плющиться, как низменная глина, иссыхая сохраняющая отпечаток последней ноги, которая на нее наступила. Говоря сие, увлекся я некоею импровизациею и указал народу на Пизонского. Хотя я по имени его и не назвал, но сказал о нем, как о некоем посреди нас стоящем, который, придя к нам нагий и всеми глупцами осмеиваемый за убожество свое, не только сам не погиб, но и величайшее из дел человеческих сделал, спасая и воспитывая двух погибавших неоперенных птенцов. Я сказал, сколь сие сладко – согреть беззащитное тело детей и насаждать души их семенами благодати. Не знаю уже, отчего, выговорив это, я сам почувствовал мои ресницы омоченными и увидел, что и многие из слушателей стали отирать глаза свои и искать очами по церкви некоего, его же разумевала душа моя, искать Котина нищего, Котина, сирых питателя. И видя, что его нету, я ощутил как бы некую священную острую боль и задыхание, и сказал: “Нет его; нет его, братия, меж нами! ибо ему не нужно это слабое слово мое, потому что слово любви всякой давно огненным перстом Божиим начертано в смиренном сердце его. Прошу вас, – сказал я с поклоном, – все вы, здесь собравшиеся достопочтенные и именитые сограждане, простите мне, что не венчанного мученика, не стратига превознесенного вспомнил я вам в нашей беседе в образ силы и в подражание, но единого от меньших, и если что смутит вас от сего, то отнесите сие к моей малости, зане грешный поп ваш Савелий, назирая сего малого, не раз чувствует, что сам он перед ним не иерей Бога вышнего, а в ризах сих, покрывающих мое недостойнство, – гроб, вапною раскрашенной повапленный. Аминь”.

Не знаю, что заключалось умного и красноречивого в простых словах сих, сказанных мною совершенно экспромту, но могу сказать, что богомольцы мои нечто из сего вняли, и на мою руку, когда я ее подавал при отпусе, пала не одна слеза столь теплая, что и у меня же нечто подобное из глаз выдавило.

Но это не все.

Божедомы. Николай Семенович Лесков Teskovniko1ai.ru

Как бы в некую награду за искреннее слово мое об отраде пещись не токмо о своих, но и о чужих детях, Вездесущий и Всеисполняющий взял и мое недостойнство под свою десницу: Он открыл мне днесь всю истинную цену сокровища, которым, по безмерным щедротам его, я владею, и велел мне еще преобразиться в наидовольнейшего судьбою своею человека. Только что прихожу домой с пятком освященных после обедни яблочк Доброго Крестьянина, [1] как на пороге ожидает меня встреча с некоторою старой знакомою. Попадья моя Наталья Николаевна выкралась тихо из церкви, и готовила мне по обычаю дома чай и стоит стопочкой на пороге; но стоит с букетом из речной лилеи и садового левкоя. – “Ну не гнусная ли после этого ты женщина, Наталья Николаевна!” – сказал я, никогда прежде сего такого слова не говорив ей, но она поняла, что сие шуткою сказано, и обняла меня и заплакала. – Чего? – сие ее тайна, либо твоя тайна, жена добрая, не знающая, чем утешить мужа своего, а утехи израилевой, Вениамина малого, дать ему лишняя. Лилею речною и садовым левкоем встретили меня в этот день ее замкнутая печатью неплодства утроба и отверстое в любви и благоволения сердце.

Двое бездетные сели мы за чай, и не чай, а слезы наши растворялись нам в питье, и пали мы ниц перед образом Спаса, и много и тепло молились об утехе израилевой. Напоследки же того встали мы, и была нам как бы радость какая, как бы некий обет, шепнутый через ангела, и мы стали как дети. Но и в сем настроении Наталья Николаевна значительно меня грубияна превосходила.

– Был ли ты, отец Савелий, когда-нибудь грешен? – спросила она меня, и сим вопросом вконец меня смутила, потому что я понял, какой грех моя негодящая женка у меня выпытывает.

Но она со всюю скромностью и со всей этою кокетерией отвечала мне, что она говорит сие о прошлом, а не о времени священства, и что красив-то я был столько, что у них в фатеже, когда я приехал к ней свататься, все девицы на поповке по мне вздыхали! Все сие я старался рассеять прахом, что мне и нетрудно, ибо без лжи в сем оправдание имею: – но сколь я оказался глуп, не постигая, отчего оправдания мои ее не радовали, а все более печалили.

– А вспомни лучше, – сказала она, – может быть, нет ли какого младенца... сиротки...

Понял я все, что она сказать хочет, к чему она все это вела и чего она сказать стыдится, и, вскочив с места, бросился к окну и вперил глаза мои в небесную даль, чтобы даль одна видела меня, столь превзойденного женой своей в доброте ее. Но не на то поднялась сегодня моя лилейная и левкойная роза белая и непорочная, моя подруга благоуханная и добрая!

Она поступью легкою ко мне сзади подкралась и, положив на плеча мне свои малые лапки, сказала: “Отец! вспомни! и ежели есть оно, пойдем и найдем его”. Это она прелюбодейное дитя мое, коего нет, возлюбила и отыскивать его хочет!

Этого я уже не снес и, закусив зубами бороду свою, пал ей в колена, как Зосима Марии, и зарыдал тем рыданием, которому нет на свете описания.

Скажите мне, времена и народы, где, кроме святой Руси нашей, такие женщины, как моя попадья, рождаются? кто ее всему этому учил? кто ее воспитывал, кроме Тебя, Всеблагий мой, который дал ее недостойнейшему из попов твоих, чтобы он мог переносить все...”

Здесь в дневнике отца Савелия почти целая страница залита чернилами и внизу пятна начертаны следующие строки:

“Ни пятна сего не выведу, ни тождество, которое в последних строках замечаю, не исправлю: пусть все так и остается, потому все, чем сия минута для меня обильна, мило мне и таковым должно и сохраниться. – Попадья моя не унялася проказничать, хотя теперь уже двенадцатый час ночи, и хотя она заобычай в это время спит, и хотя я люблю, чтобы она в это время спала, и обычно, пописав несколько, подхожу к ней спящей и спящую ее целую, и снова бодрость и силу как бы почерпаю. – Днесь я вел себя до сей поры несколько иначе. По сем дне, преобразившем меня всеми ощущениями в непрерывное разнообразие, я столь был увлечен описанием того, что мною выше описано, что чувствовал плохую женку мою в душе моей, и поелику душа моя лобзала ее, я не вздумал ни однажды пойти к ней и поцеловать ее. – Она сие мое упущение поправила: час тому назад пришла она, положила мне на стол носовой платок чистый и, поцеловав меня, как бы и путная,

Божедомы. Николай Семенович Лесков teskovniko1ai.ru

удалилась. Но что же за хитрости за ней оказываются. Вдруг вижу, что мой платок как бы движется и внезапно падает на пол. Я нагнулся, положил его снова на стол и снова занялся писанием; но платок опять упал на пол. Я его положил на колени мои, а он и оттоль падает. Тогда я его взял, да немного под чернильницу подложил, а он и оттуда убежал и даже увлек с собою и чернильницу, опрокинул ее и календарь мой сим изрядным пятном изукрасил. – Что же сие означает? – что попадьа моя наипервейшая кокетка, да еще к тому и редкостная, потому что не с добрыми людьми, а с мужем кокетничает. Я уж ее сегодня вечером в этом упрекнул, когда она, улыбаясь, передо мною на окошечке сидела, и даже прогнал ее; а она какую теперь штуку приправила! – Взяла к этому платку, что мне положила, поднося его мне, потаенно прикрепила весьма длинную нитку, протянула ее под дверь к себе на постель и, лежа на покое, платок мой у меня из-под рук изволит, шая, подергивать. И я, толстоносый, потому это только и открыл, что с последним падением платка хохот раздался, и по полу за дверь ее босые ножонки затоптали. Напрокудила, да и плух в постель. Пошел, целовал ее без меры и пределов, но в наказание ушел опять, чтобы занотовать себе всю прелесть жены моей под свежими чувствами.

Нет, жинка-тринка моя, хоша ты, подслушивая за дверью беседу мою с душою моею, смехом своим Сарре уподобилась, но не будет для попа твоего никакой Агари, и если ты мне не родишь моего Исаака, то не будет его вовсе. Говорю сие, хотя бы я даже и не поп был, и не христианин, а библейский праотец, почитавший за стыд неплодие жены своей. Ты бо утешная моя, и я спешу к тебе наказать тебя беспокойством поцелуев моих!

7 августа. Всю ночь прошедшую не спал от избытка моего счастья и не солгу, если прибавлю, что также и Наташа немало сему бодрствованию способствовала. Словно влюбленные под Петров день солнце караулят, так и мы с нею после пятилетнего брака своего сегодняшнего солнца дождались. Призналась голубка, что она весьма часто не спит, а только спящею притворяется, да и во многом другом призналась. Призналась, что вчера в церкви, слушая мое слово, которое ей почему-то столь много понравилось, она дала обет идти пешком в Киев, если только почувствует себя в тягости. Я этого не одобрил, потому что таковой переход беременной не совсем в силу; но обет исполнить ей разрешил, потому что сам тогда с нею пойду, и где она уставать станет, понесу ее. Делали сему опыт: я долго носил ее на руках моих по саду, мечтая, как бы она беременная и я ее охраняю, дабы не случилось с ней от ходьбы какого несчастья. Столь эту мыслью желанною увлекаюсь, что увидев, как Наташа, шая, села на качели, что кухаркина девчонка под яблонью подцепила, снял даже качели, чтобы сего вперед не случилось, и на верх яблони закинул с величайшим опасением, чему Наташа очень много смеялась. Однако хотя жизнь моя и не изобилует вещами, тщательной секретности требующими, но все-таки хорошо, что хозяин домика нашего обнес свой садик добрым заборцем, а Господь обростил этот забор густою малиною, а то, пожалуй, иной бы сказал, что попа Савелья не грех подчас назвать скоморохом или даже, просто сказать, романсующим, влюбленным шарлатаном.

9 августа. Об чем моя жена с дьяконовым сыном ритором разговор сегодня вела и даже спор? Это поистине и казус, и комедия. Спорили о том: “кто всех умнее?” Ритор говорит, что всех умнее был Соломон, а моя попадьа говорит, что я, то есть я, я- фигура моя! Ну, скажите, сделайте ваше одолжение, что на свете бывает! Я отдыхал после обеда и, проснувшись, все это слышал. Оный ритор подкрепляет свое мнение словами писания, что “Соломон бе мудрейший из всех на земли сущих”, а моя благоверная: “Нечего, говорит, этого вашего бе, да рече, да пече: это, говорит, еще тогда было писано, когда Савелия на свете не было”. Слушавший же споры их никитский священник отец Захария завершил все сие, подтвердив слова жены моей, что “это правда”, то есть правда в рассуждении того, что меня тогда не было. Итак, вышли все сии три критика, как есть, правы. Неправ вышел один я, к которому все их критические мнения поступили на антикритику: впервые огорчил я мою Наташу, отвергнув ее мнение, и на вопрос ее, кто меня умнее? – отвечал, что она. Наотчаяннейший отпор в сем получил, каким только истина одна отвергаться может: “умные, – говорит, – обо всем рассуждают, а я ни о чем судить не могу; отчего же это?” На сие я тихо тронул ее за ее керпатенький нос и отвечал: “оттого, что у тебя вместо строптивного носа сия смиренная пуговица посажена”. Но, однако, она и сие поняла, что я хотел этим высказать.

10 августа утром. Пришла мне какая мысль сегодня в постели? Рецепт хочу некий издать для несчастливых пар, как всеобщего звания, так и наипаче духовных, поелику нам домашнее счастье наипаче необходимейшее. Говорят иносказательно, что

Божедомы. Николай Семенович Лесков teskovniko1ai.ru
наилучшее, чтобы женщина ходила с водою за мужчиною, ходящим с огнем, то есть он с пылкостью – она с кротостью. Все это не ясно; а я, глядя на себя с Натальей Николаевной, решаю вывести, что наивернейшее – пусть друга друга считают умнее друг друга, и оба тогда будут один другого умней. “Друг, друг друга”! Эко, как выражаюсь! Но, впрочем, настоящему мечтателю так и подобает говорить без толку.

15 авг. Успение Пресвятыя Богородицы. Однако, пока я женою моею восторгался, я и не заметил, что посеял против себя некоторое неудовольствие во всем городе. Напрасно я сказал по поводу своей Преображенской проповеди, что “только всего из этого и вышло”. Богомольцы мои – не все, а некоторые, конечно, и впереди всех почтмейстерша Тимонова – обиделись, что я унизил их воспоминанием имени Пизонского. Но это вздор умов вздорных и пустых! Все это на самолюбиях их благородий, как раны на песьей шкуре, – так и присохнет.

3 сентября. Скажите, куда дело это играет? Еще этой неосторожности не конец! Из консистории получен запрос: действительно ли я говорил импровизациею проповедь с указанием на живое лицо? Ах, сколь у нас везде всего живого боятся! Что ж, я так и отвечал, что говорил, и говорил именно вот как и вот что. Думаю, не повесят же меня за это и головы не снимут.

20 октября. Все конечно правда, что головы не снимут, но рот заткнуть могут, и сделать сего не преминули. 15-го же сентября был вызван для объяснения. Одна спешность сия сама по себе уже не много доброго предвещала, ибо на добро у нас не торопятся; но я ехал храбро. Храбрость сия была охлаждена сначала тридцатидневным ожиданием сего объяснения, а потом приказанием все, что вперед пожелаю сказать, присылать предварительно цензору Троадию. Этого никогда не будет, и зато я буду нем, как рыба. Прости, Вседержитель, мою гордыню, но я не могу с холодностью бесстрашной совершать дела проповеди. Я нечто ощущаю свыше на меня сходящее, когда любимый дар мой ищет действия; некое, позволю себе сказать, священное беспокойство овладевает душою моею, я чувствую трепет, и слово падает из уст моих, как уголь горящий. А они требуют от меня, чтобы я риторические упражнения делал и сими отцу Троадию удовольствие доставлял чувствовать, что в дни наши не умнейший слабейшего в разуме наказует, а обратно, дабы сим уму и чувству человеческому поругаться.

Нет; сомкнитеся, мои нелюбимые уста, и смолкни навсегда, мое бесхитрое слово!

23 ноября. Однако не могу сказать, чтобы жизнь моя была уже совсем обижена разнообразием. Напротив, все идет попеременно, так что даже и интерес ни на минуту не ослабевает: то оболгут добрые люди, то начальство потреплет; то Троадию скорбноглавою в науку назначут; то увлекусь ласками попадьи моею, то замечтаюсь до самолюбия, а время в сем все идет да идет и к смерти все ближе да ближе. Еще не все! Еще не все последствия моею злополучной Преображенской проповеди совершились. У нас в восемнадцати верстах от города, на берегу нашей же реки Турицы, в обширном селе Плодомасове, живет владелица сего села, боярыня Марфа Андреевна Плодомасова. Признаков жизни ее, впрочем, издавна никаких не замечается, а известно только по преданиям, что она женщина духа немалого. Она и великой Императрице Екатерине знаема была, и Александр Император находил необременительно для себя ее беседу; а наиболее всего известна она в народе тем, как она в молодых годах своих одна с Пугачевым сражалась и нашла, как себя от этого мерзкого зверя защитить. Еще же о чем ежели на ее счет вспоминают, то это еще повторение о ней различных оригинальных анекдотов о ее свиданиях с посещавшими ее губернаторами, чиновниками, а также в двенадцатом году с пленными французами; но все это относится к области ее минувшего века. Ныне же про нее забыли, и если когда речь ее особы коснется, то думают, что и она сама уже всех позабыла. Лет двадцать уже никто из сторонних людей не может похвастаться, что он боярыню Плодомасову видел. Сидит она двадцать лет в обширном доме своем с двумя карликами, да еще вхож к ней временем духовник ее, отец Алексей, поставленный во священники по ее же, Марфы Андреевны, ходатайству из причетников. Я, как новожил в этих местах, боярыню Плодомасову представить себе не мог никак и имел одно о ней мнение, что должна она быть уже страшно стара и ветха, как прошлогоднее пугало. Но напрасно.

Третьего дня, часу в двенадцатом пополудни, я был несказанно изумлен, увидев подъезжающие ко мне большие господские дрожки, запряженные тройкою больших рыжих коней, а на тех дрожках нарочито небольшого человека в картузе ворсистой шляпной материи с длинным козырем и в коричневой шинели с пречасто устроенными

Божедомы. Николай Семенович Лесков Teskovniko1ai.ru
одна над другою перелинками.

“Что бы сие, думаю, за неведомая особа, да и ко мне ли она едет, или только ошибкою правит на меня путь свой?” Размышления эти мои, однако же, были скоро прерваны самою сею особою, которая вошла в мою зальцу с преизящною приличностью и прежде всего прямо попросила моего благословения, а затем, шаркнув своею малою ногою по полу и отступив с поклоном назад, присовокупила: “Госпожа моя Марфа Андреевна Плодомасова приказали мне, батюшка, вам кланяться и просить вас немедленно со мною к ним пожаловать”.

– Позвольте, – говорю, – сударь, узнать, чрез кого я имею честь слышать это госпожи Плодомасовой приглашение?

– Крепостной человек ее превосходительства Марфы Андреевны, Николай Афонасьев Зайцев, батюшка, – отрекомендовалась мне сия крошечная особа и при сем снова напомнила, что госпожа его меня ожидает.

– По какому делу, – говорю, – не знаете ли?

– Ее господской воли, батюшка, я, раб ее, знать не могу, – отвечал карла, и сим ответом до того меня сконфузил, что я начал перед ним изворачиваться, будто я спрашивал его вовсе не в том смысле, а в каком бы то в ином таковой вопрос мог быть сделан?

Пока я в смежной комнате одевался, карлик сей вступил в собеседование с Наташею и совсем увлек и восхитил мою попадью своими речами. Действительно, и в словах, да и в самом говоре сего крошечного старичка есть нечто невыразимо милое, и ко всему этому благородство и ласковость. Служанке, которая подала ему стакан воды, он положил на поднос двугривенный, и когда сия взять эти деньги сомневалась, сам сконфузился и заговорил: “нет, матушка, не обидьте, – это у меня такая привычка”, а когда попадья моя вышла ко мне, чтобы волосы мне на помадить, он взял на руки случившуюся здесь за матерью замарашку девочку кухаркину и говорит: “Слушай, как вон уточки на бережку разговаривают! Уточка франтиха говорит селезню козырю: “купи коты! купи коты!”, а селезень отвечает: “заказал, заказал””. И дитя рассмеялось, да и я тоже сему сочинению словесному птичьего разговора невольно улыбнулся. Дорогу не заметил, как и прошла в разговорах с этим пречудесным карлю: столь много ума, чистоты и здравости нашел во всех его рассуждениях.

Но теперь самое главное: наступил час свидания моего с одинокою боярыней.

Не малое для меня удивление составляет, что при приближении сего свидания я, от природы моей неробкий, ощущал в себе нечто вроде небольшой робости. – Николай Афонасьич, проведя меня через ряд с изрядною пышностью и крайнею чистотою содержимых покоев, ввел меня в круглую комнату с двумя рядами окон с цветными стеклами, где мы нашли старушку, немногим чем побольше Николая. При входе нашем она стояла и вертела ручку большого органа, и я уже чуть было не принял ее за самое оригиналку-боярыню и чуть ей не раскланялся. Но она, увидев нас неслышно вошедших по устилающим покой пушистым коврам, немедленно при появлении нашем оставила свою музыку и бросилась с несколько звериною хваткою в смежный покой, двери коего завешены большою занавесью белого атласа, по которому вышиты цветными шелками разные китайские фигурки.

Эта женщина, скрывшаяся с такою поспешностию за занавесь, как я после узнал, – родная сестра Николая и тоже карлица, но лишенная приятности, имеющейся в кроткой наружности ее брата.

Николай тоже скрылся вслед за сестрою под ту же самую занавесь, а мне указал дожидаться на кресле. Тут-то вот, в течение времени, длившегося за сим около получаса, я и почувствовал некую смягу во рту, столь знакомую мне по бывшим ощущениям в детстве во время экзаменов.

Но наконец настал и сему конец. – За тою же самою занавесью я услышал такие слова: “А ну, покажите-ко мне этого умного попа, который, я слышала, приобык правду говорить?” И с сим занавесь, как бы мановением чародейским, на невидимых шнурах распахнулась, и я увидел перед собою саму боярыню. Голос ее, который я перед сим только что слышал, уже достаточно противуречил моему мнению о ее дряхлости, а вид ее противуречил сему и еще того более. Боярыня стояла передо

Божедомы. Николай Семенович Лесков Teskovniko1ai.ru
мною в силе, которой конца и быть не может. Ростом она не очень велика и особенно не дородна; но как бы над всем будто царствует. Лицо ее большой строгости и правды, видно, некогда было нестерпимо прекрасно. Костюм ее странный и нынешнему времени несоответственный: вся голова ее тщательно увита в несколько раз большую коричневую шалью, как у туркини. Далее на ней, как бы сказать, какой-то казакин суконный, цвета незрелой сливы; потом под казакином этим юбка аксамитная оранжевая и красные сапожки на высоких серебряных каблучках, и в руке палочка. С одного боку ее стоял Николай Афонасьевич, а с другого Марья Афонасьевна, а сзади священник ее, престарелый отец Алексей.

– Здравствуй! – сказала она мне: – я рада тебя видеть.

Я с сим поклонился ей и, кажется, даже и с изрядною неловкостью поклонился.

– Поди же, благослови меня! – сказала.

Я подошел и благословил ее, а она взяла и поцеловала мою руку, чего я всячески намерен был уклониться.

– Не дергай руки, – сказала она, сие заметив: – это не твою руку я целую, а твоего сана. Садись теперь и давай немножко познакомимся.

Сели мы: она, я и отец Алексей, а карлики возле ее стали.

– Мне говорили, что ты даром проповеди и к тому же хорошим умом обладаешь. Я уж давно умных людей не видала, и захотела на тебя посмотреть. Ты не посердись на старухину прихоть.

Я все мешался в пустых ответах и, вероятно, весьма мало отвечал тому, что ей об уме моем кем-то сказано.

– Тебя, говорят, раскольников учить прислали?

– Да, – говорю, – между прочим имелась в виду и такая цель в моей посылке.

– Полагаю, – говорит, – дураков учить все равно, что мертвых лечить.

Я отвечал, что не совсем их всех дураками разумею.

– Что ж ты, умными их считая, сколько успел их на путь наставить?

– Нимало, – говорю, – ничего еще не могу успехом похвастать, а теперь и еще того менее надеюсь, потому что контроль некоторый за мною учреждается, и руки мои будут связаны, а зло будет расти.

– Ну, зло-то, – отвечает, – какое в них зло? – так себе дураки божьи. – Женат ты или вдов?

Я говорю: женат.

– Ну, если Бог детьми благословит, то привози ко мне крестить, я матерью буду.

Я опять поблагодарил и, чтобы разговориться, спрашиваю:

– Ваше превосходительство, верно, изволите любить детей?

– Кто же, – говорит, – путный человек детей не любит? – их есть царствие Божие.

– А вы, – говорю, – давно одне изволите жить?

– Одна, отец; одна и давно я одна, – проговорила она вздохнувши.

– Это, – говорю, – тягостно довольно.

– Что это?

– Одиночество.

– А ты разве не одинок?

– Как же, – говорю, – у меня жена.

– Что ж, разве так жена все понимает, чем ты можешь поскорбеть и поболеть?

– Я, – говорю, – женою счастлив моею и люблю ее.

– Любишь, – отвечает, – сердцем, а помыслами души все-таки одинок стоишь. Всяк, кто в семье дальше братнего носа смотрит, одиноким себя увидит. А я вот сына-то и того третий год не видала. Это скучно.

– Где же, – говорю, – ваш сын теперь?

– В Польше полком командует.

– Это, – говорю, – теперь дело доблестное.

– Не знаю, – говорит, – как тебе сказать, сколько в этом доблести; а по-моему вдвое больше в этом меледы: то поляков нагайками стегают, то у полек ручки целуют. Так от безделья рукоделье им эта Польша.

– А все же, – говорю, – они по крайней мере удерживают поляков, чтобы они нам не вредили.

– Ни от чего они их, – отвечает, – не удерживают, да и нам те полячишки-то поганцы не страшны бы, когда б мы сами друг друга есть обещанья не сделали.

– Это, – говорю, – осуждение вашего превосходительства кажется как бы сурово несколько.

– Ничего, – отвечает, – нет в правом суде сурового.

– Вы же, – говорю, – сами, вероятно, изволите помнить двенадцатый год: сколько тогда единомушья явлено.

– Как же не помнить! – отвечает. – Я сама вот из этого окна видела, как казачищи, что пленных водили, моих мужиков грабили.

– Что ж, это, – говорю, – может быть, что такой случай и случился, репутации казачьей не отстаиваю; но все же мы себя отстояли от того, перед кем вся Европа ниц лежала.

– Да, случилось, – говорит, – Бог да мороз помогли, так и отстояли.

Отзыв сей, сколь пренебрежительный, столь же и несправедливый, повлиял на меня так пренеприятно, что я, даже не скрывая сей неприятности, возразил:

– Неужто же, государыня моя, в вашем мнении все в России случайностями происходит? Дайте, – говорю, – раз случаю, и два случаю, а хоть в третье уже киньте нечто уму и народным доблестям.

– Все, – говорит, – отец, случай, и во всем, что сего государства касается, кроме Божией воли, случайности одни доселе мне видимы. Прихлопнули бы твои раскольники Петрушу воителя нашего – и сидели бы мы на земле до сих пор не государством, а вроде каких-нибудь болгар турецких, да у самих бы этих поляков руки целовали. Много нас – не скоро поедим друг друга: вот этот случай нам одна хорошая заручка.

– Грустно, – говорю.

– А ты не грусти: случай выйдет – и грустить перестанешь.

В раздумьи, которое она на меня навеяла, я и еще раз, вздохнув, повторил: грустно!

– Да ты о ком грустишь, отец? – спросила она меня. – О себе или о России? О себе не жалею: случай придет, все перевернется. Теперь ты сидишь передо мною просто

Божедомы. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru
поп, а когда-нибудь будешь протопоп. А за Россию не смущайся. Пускай чужие земли похвалой стоят, а наша и хайкою крепка будет. Да и говорить нам с тобою довольно: устала я, прощай. Если бы что худое случилось, прибеги, померекаем: не смотри на меня, что я такой гриб лафертовский: грибы в лесу живут, а и по городам про них знают: кое-где по старинной памяти слово мое, может быть, что-нибудь и значит: – но все это на тот случай, если бы уж очень худо было. А что если на тебя нападают, этому радуйся: если бы ты льстив и глуп был, этого б не было. – Обернулась с этим к карлице, державшей во все это время в руках сверточек, и, передавая оный мне, сказала: “Отдай вот это от меня жене своей: это корольки с моей шеи, два отреза на платье, да холст для домашнего обихода”.

Подарок этот, предложенный хотя во всей простоте, все-таки меня несколько смутил, и я, глядя на нити кораллов и на шелковые материи, сказал: “Государыня моя! Очень благодарю вас за лестное столь внимание ваше к нам; но вещи сии столь великолепны, а жена моя женщина столь простая...”

– Что ж, – говорит, – тем и лучше, что она простая: а где и на муже, и на жене, на обоих штаны надеты, там не бывать проку. Пусть ее в бабьей исподничке ходит, и ты вот ей на исподницы и отвези. Бабы это любят. Отвези ей и ступай.

Вот этим она и весь разговор свой со мною окончила, и признаюсь, несказанно меня удивила. По некоей привычке к логичности, едуци обратно домой и пользуясь молчаливостью того же Николая Афонасьевича, взявшегося быть моим провожатым, я старался себе уяснить, что за сенс моральный все это, что ею говорено, в себе заключает? И не нашел я тут никакой логической связи, либо весьма мало ее отыскивал, а только все лишь какие-то обрывки мыслей встречал; но такие обрывки, что невольно их помнишь, да и забыть едва ли сумеешь. Уповаю, не лгут те, кои называли сию бабу в свое время мозговитою. А главное, что меня в удивление приводит, так это моя перед нею нескладность, и чему сие приписать, что я, как бы оробев сначала, примкнул язык мой к гортани, и если о чем заговаривал, то все это выходило наибанальнейше, а она разговор словно насмех мне поворачивала с капризнейшею прихотливостью, и когда я заботился, как бы мне репрезентовать умнее, дабы хотя слишком грубо ее в себе не разочаровывать, – она совершенно об этом небрегла и слов своих очевидно не подготавливала, а и моего ума не испытывала, и вышла меж тем таковою, что я ее позабыть не в состоянии. В чем эта сила ее заключается? – Полагаю, в том образовании светском, которым небрегут наши воспитатели духовные, часто впоследствии отнимая чрез это лишение у нас самонеобходимейшую находчивость и ловкость в беседах с светскими особами.

В сих-то размышлениях едуци, я вспомнил правило, указывающее нам “распознавать сущность предмета изучением производимых им действий”, и позволил себе удовлетворение некоторого любопытства насчет жизнедеяний боярыни Плодомасовой посредством расспроса карлика, и сколь сей ни сдержан и осторожен в речах о госпоже своей, при одном имени которой он каждый раз вставал на дрожках, я все-таки дознал, что Плодомасова действительно женщина костыль из больших гвоздей. Весь рассказ сего карлы полностью, как его память моя удержала, я занотовываю. [2]

Наслушавшись сего рассказа, в продолжение которого я ни одним словом моим не мог прервать рассказчика, хотя беспрестанно был попеременно волнуем то чувствами страха за сию героиню, то чувствами скорби о судьбе ее, то благоговением к ней, то умилением к тем сторонам ее нрава, коими он касается геройства и младенчества, я, подъезжая к дому, впал в некоторое раздумье и, при первом виде с нагорья на свой домик, впервые почувствовал, сколь мала милая моя Наташа в выдержании некоторых сравнений, если бы была к тому необходимость сравнивать милое нам с тем, что нас поражает.

Но дню сему было определено этим не окончиться, а заключиться куриозом! Первая радость простодушной Наташи моей по случаю подарков не успела меня достаточно потешить, как начал свои подарки представлять нам этот достопочтеннейший и сразу все мое уважение заслуживший карло Николай Афонасьевич. Поначалу он презентовал мне белой бумаги, с красными окоемочками вязанные помочи, а потом жене косыночку из трусиковой нежной шерсти, и не успел я странности сих подарков надивиться, как он вынул из кармашка шерстяные чулки и вручил их подававшей самовар работнице нашей Аксинье. – “Что за день подарков!” – невольно воскликнул я, не смея огорчить дарителя отказом. А он на это мне ответил, что это все его собственным рук изделие. – “Нужды, – говорит, – в работе, благодаря благодетельнице моей, не имея и не будучи ничему иному обучен, занимаюсь

Божедомы. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru
вязанием, чтобы в праздности время не проводить и иметь удовольствие кому-нибудь нечто презентовать от трудов своих”. Схапал я этого малого человечка на грудь мою и поцелуями осыпал его чуть не до удушения.

Да закончу ли и сим мое сегодняшнее писание? Уехавшим служителем боярыни Плодомасовой еще все чудеса дня сего не окончились. Запирая на ночь дверь переднего покоя, Аксиныя усмотрела на платейной вешалке нечто висящее, как бы не нам принадлежащее, и когда мы с Наташей на сие были сею служанкою позваны, то нашли, во-первых, темно-коричневый французского гроденаплю подрясник; во-вторых, богатый гарусный пояс с пунсовыми лентами для завязок; в-третьих, драгоценнейшего зеленого, неразрезного бархата рясу; в-четвертых же, в длинном куске коленкора полное иерейское облачение.

Просто были все мы поражены сею находкою и не знали, как объяснить себе ее происхождение; но Аксиныя первая усмотрела на пуговице у воротника рясы вздетую карточку, на коей круглыми, так сказать, египетского штиля буквами было написано: “Помяни, друг отец Савелий, рабу Марфу в своих молитвах”. – Ахнули мы, но нечего было делать, и стали разлагать по столу новое облачение. Тут еще больше нас ожидало. Только начала Наташа раскатывать эпитрахиль, – смотрим, из него упал запечатанный конверт на мое имя, а в том конверте пятьсот рублей с самую малую запискою, тою же рукою писанною. Пишет: “Дабы ожидающее семью твою при несчастьи излишне тебя не смущало у алтаря предстоящего, купи себе хибару и возрасти тыкву, сидя под коею спокойнее можешь о строении дела Божия думать”.

Ну, за что мне сие? Ну, чем я сего достоин? Отчего же она не так, как секретарь консисторский рассуждает, думающий, что легче устроить дело Божие, не имея, где головы восклонить? Что сие и взаправду все за случайности!

Ну, боярыня Плодомасова! Пусть же тебе, голубонька, легонько вздохнется за то, какими ты слезами радости умеешь заставляя людей плакать!

Вот и ты, поп Савелий, не бездомовник! И у тебя своя хатина будет; но увы – должен добавить – случаем. Да и не случай ли все сие, из чего возникает мое сопоставление моей доброй барыни с оным секретарем, и не случайно ли то, что сия помогает тому, над чем он, весь интерес в сем имея, празднословно издевается и что разрушает?

25 ноября. Ездил в Плодомасовку приносить мою благодарность; но Марфа Андреевна не приняла – для того, сказал карлик Никола, что не любит, чтобы ее благодарили. Но к сему прибавил: “А вы, батюшка, все-таки отлично сделали, что изволили приехать, а то она беспокойна бы была насчет вашей неблагодарности”. – Можно заключить, что в особе сей целое море пространное всякой своеобычности. Так, например, новый друг мой, карлик Никола, рассказал мне, как она его желала женить и о сем хлопотала. – Для чего же сие? – спрашиваю. – А для пыжиков, – говорит, – батюшка, – это то есть маленьких людей выводить она хотела. – Скажите, о чем забота! Еще ли эти, коих видим окрест себя, очень велики!

6 декабря. Внес вчера в ризницу присланное от помещицы облачение и сегодня служил в оном. Прекрасно все на меня построено; а то, облачаясь до сих пор в ризы покойного отца Петра, человека роста мелкого, я, будучи такою дылдою, не велелепием церковным украшался, а был в них как бы воробей с общипанным хвостом.

9 декабря. Пречудно! Отец протопоп Николай на меня дуется, а я как вин за собой против него не знаю, то спокоен.

12 декабря. Некоторое объяснение было между мною и отцом Николаем, а из-за чего? Из-за ризы плодомасовской, – что не так она будто в церковь доставлена, как бы следовало, и при сем добавил он, что, мол, “и разные слухи ходят, что вы от нее и еще нечто получили”. Что ж – это имеет такой вид, что я не все для церкви пожертвование доставил, а украл нечто, что ли?

24 декабря. Вот слухи-то какие! Ах, Боже мой милосердный! Ах, Создатель мой всеправедный! Не говорю, чести моей, не говорю, лет ее, но даже сана моего, столь для меня бесценного, и того не пощадили! Гнуснецы! Но сие столь недостойно, что не хочу и обижаться.

Декабря 29. Начинаю замечать, что и здешнее городничество не благоволит ко мне, а за что, сего отгадать не в силах. Предположил устроить у себя в доме на

Божедомы. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru
святках вечерние собеседования с раскольниками; но сие вдруг стало известно в губернии и сочтено за непозволительное, и дано мне замечание. Не иначе думаю, как городничему поручен за мною особый надзор. Наилучшее к сему шуточно относиться; но окропил себя святою водою от врага и супостата.

1 января. Благослови венец благодати твоя, Господи, а попу Савелью новый путь в губернию. Видно, и окропление мое не действует.

7 января. Госпожа Плодомасова вчера по водоосвящении прямо во всем, что на ней было, окунулась в нарочитую прорубь. – Удивился! Спросил, всегда ли это бывает? Говорят, всегда, и это у нее называется “мовничать”. – Экий закал предивный: я бы, кажется, и жив от одной такой бани не остался.

20 января. Пишу сии строки, сидя в смраднице в архиерейском доме, при семинарском корпусе. К вине моей о собеседованиях присоединена пущая вина. Донесено губернатору, что моим дьячком Лукьяном променена раскольникам старопечатная псалтырь, из книг деевской молельной, кои находятся у меня на сохранении. Дело то и вправду совершилось, но я оное утаил, считая то, во-первых, за ничтожное, а во-вторых, зная тому причину – бедность, которая Лукьяна дьячка довела до сего. Но сие пустое дело мне прямо вменено в злодейское преступление, и взят под начал и послан в семинарскую квасную квасы квасить.

9 апреля. Возвратился из-под начала на свое пепелище. Тронут был очень слезами жены своей, без меня здесь исстрадавшейся, а еще более растрогался слезами жены дьячка Лукьяна. О себе молчал, благодарил, что я пострадал за ее мужа. А самого Лукьяна сослали в пустынь, но всего, впрочем, на один год. Срок столь непродолжительный, что семья его не истощает и не евши. Ближе к Богу будет по консисторскому соображению.

20 апреля. Приезжал ко мне приятный Никола карлик и сообщил, что Марфа Андреевна указала, чтобы ежегодно, на летнего Никола, на зимнего и на Крещение я был трижды приглашаем к ней в плодомасовскую церковь, за что мне через бурмистра будет платимо жалованье 150 руб., по 50 р. за обедню. – Ну уж эти случайности! Чего доброго, я их бояться стану.

Августа 15. Вернулся из губернии пономарь Евтихеич и сказывал, что между владыкою и губернатором произошла некая распря из-за визита.

2 октября. Слухи о распре подтверждаются. Губернатор, бывая в царские дни в соборе, имеет обычай в сие время довольно громко разговаривать. Владыко положили прекратить сие обыкновение и послали своего костыльника просить его превосходительство вести себя благопристойнее, сказав при сем, что это не в благородном собрании, да и не в немецкой кирке. Губернатор принял сие амбициозно и через малое время снова возобновил свои беседы; но на сей раз владыко уже сами остановились и громко сказали:

– Ну, уж на сей раз я, ваше превосходительство, замолчу и начну, когда вы кончите.

Очень это со стороны владыки одобряю.

8 ноября. Получил набедренник. Не знаю, чему приписать. Разве предыдущему случаю!

6 января 1837 г. Новая новость! Владыко на новый год остановил губернаторскую дочь, когда она подходила к благословию в рукавичке, и сказали: “Скинь прежде с руки собачью шкуру”.

А я до сей поры и не знал, что наша губернаторша не немка.

1 февраля. Представлен к скуфье.

17 марта. Богоявленский протопоп, идучи ночью, от боли с святыми дарами взят обходными в часть, якобы был в нетрезвом виде. Владыко на другой день в мантии его посетили. О, ляше правитель, будете вы теперь сию проделку свою помнить!

18 мая. Владыка переведены в другую епархию.

Божедомы. Николай Семенович Лесков teskovniko1ai.ru

16 августа. Был у нового владыки. Мужчина, казалось, весьма рассудительный и характерный. Разговаривали о состоянии духовенства и приказали составить о сем записку. Сказали, что рекомендован им прежним владыкой с отличной стороны. Спасибо тебе, бедный дедуня!

25 декабря. Не знаю, что о себе думать, к чему я рожден и на что призван. Попадья укоряет меня, что я и в сей праздник работаю, а я себе лучшего и удовольствия не нахожу, как сию работу. Пишу мою записку с радостью такою и с любовью такою, что и сказать не умею. Озаглавил ее так: "О положении православного духовенства и о средствах, как оное возвысить для его собственной пользы и для пользы государства". Думаю, что так будет добре. Никогда еще не помню себя столь счастливым и торжествующим, столь добрым и столь силы и разума преисполненным.

1 апреля. Представил записку владыке. Попадья говорит, напрасно сего числа представлял; по ее уму, число сие обманчиво. Заметим.

10 августа. Произведен в протоиереи.

4 января 1839 года. Получил пакет из консистории, и сердце мое, стесненное предчувствием, забилось радостью; но сие было не о записке моей, а дарован мне наперсный крест. Благодарю, весьма благодарю; но об участии записки моей все-таки сетую.

8 апреля. Назначен благочинным. О записке слухов не имеется. Не знаю, чем бы сии трубы вострубить заставить?

10 апреля 1840 года. Год, как благочинствую. О записке слухов нету. Видно, попадья не все пустякам верит. Сегодня она меня насмешила, что я, может быть, не так подписался.

20 июня 1841 года. Воду прошед яко сушу и египетского зла избежав, пою Богу моему дондеже есмь. Что это со мною было? Что такое я вынес, и как я изо всего этого вышел на свет божий? Любопытен я весьма, что делаешь ты, сочинитель повестей, басен, баллад и романов, не усматривая в жизни, тебя окружающей, нитей, достойных вплетения в занимательную для чтения баснь твою? Или тебе, исправитель нравов человеческих, и вправду нет никакого дела до жизни, а нужны только претексты для празднословия? Ведомо ли тебе, что такое есть поп, сей ненужный человек, которого призвали, чтобы приветствовать твое рождение, и призовут еще раз, чтобы проводить тебя в могилу? Известно ли тебе, что жизнь сего попа не скудна бедствиями и приключениями, или ты думаешь, что его кутейному сердцу недоступны высокие страсти и что оно не слышит страдания? Или же ты с своей авторской высоты не замечаешь меня, попа; или ты мыслишь, что уже самое время мое прошло и что я уже не нужен стране, тебя и меня вскормившей и воспитавшей?.. О слепец! скажу я тебе, если ты мыслишь первое; о, глупец! скажу тебе, если ты мыслишь второе, и в силу сего заключения стремишься не поднять и оживить меня, а навалить на меня камень и глумиться над тем, что я смраден стал задохнувшись. Сколько тех хитростей употреблено тобою одновременно, дабы осмеять меня, под именем жрецов, браминов и факиров, и сколько посмеется над тобою за весь сей труд твой позднейший потомок, которому время его даст поразмыслить о результатах нашего принижения и пригнетения. Будет то время, а может быть, и ныне есть, когда по поводу сего не единым человеком вспомнится старая история о экономах хозяевах, истребивших на землях своих всех пернатых, дабы они вишни напрасно не съели, а впоследствии лишившихся за то всех полей от ничтожной тли и мошки.

Но снисхожу от философствования и предрекаательства к тому событию, по которому напало на меня сие философствование.

Я отрешен от благочиния и чуть не извержен сана. А за что? А вот за что. Занотую повесть сию с подробностью.

В марте месяце сего года, в проезд через наш город губернатора немца с правителем поляком, предводителем дворянства было праздновано торжество, и я, пользуясь сим случаем моего свидания с губернатором, обратился к оному сановнику с жалобой на обременение помещиками крестьян работами в воскресные дни и даже в двенадцатые праздники, и говорил, что таким образом бедность наша еще увеличивается, ибо по целым селам нет ни у кого ни ржи, ни овса... Но только лишь

Божедомы. Николай Семенович Лесков teskovniko1ai.ru

я слово сие “овса” выговорил, как сановник мой возгорелся гневом, прынул от меня как от гадины и закричал: “Да что вы ко мне с овсом пристали! Я вот, говорит, и то-то, и то-то, да и наконец курц унд штарк, [3] – я не Николай Угодник, – я овсом не торгую!” Этого я не должен был стерпеть и отвечал: “Вам, человеку в делах веры невежественному, прежде всего скажу, что Николай угодник был епископ и ничем не торговал и не торгует. А затем вы должны знать, что если нужна наша Русь, то нужны ей и дьяк, и священник, ибо сих одних мы еще у немцев не заимствовали”. Рассмеявшись злобным смехом на мои слова, оный поляк-правитель подсказал мне: “Не бойтесь, отец, было бы болото, а черти найдутся”. Эта последняя вещь была для меня горше первой. Кто сии черти? что сие болотом твои ляшские уста назвали? – подумал я в гневе и, не удержав себя в совершенном молчании, отвечал польскому кобелю, на Руси сидящему паном, – что “у дурака, сударь, бывает одна речь на поговорку, да и та дурацкая, и что я, уважая сан свой, даже и его, ляха, на сей раз чертом назвать не хочу, дабы сим самым не обозвать свою Русь болотом”. И чем же сие для меня кончилось? Ныне я – бывший благочинный, и слава Тебе, Творцу моему, что я еще не бывый поп и не расстрига. Нет, сего ты, сочинитель, должно быть не спишешь. Да; будет с твоей головы знать и про одни печеные яйца. – Больно, даже до нестерпимости больно.

3 сентября. Осенняя погода нагоняет жесточайшую скуку. Привык весьма действовать – ныне тоскую, и до той глупости, что даже секретно от жены часто плачу.

27 января 1842 года. Купил у жида за семь рублей органчик да игорные шашки.

Мая 18. Взял в клетку чижа и начал учить под орган.

2 марта 1845 года. Три года прошло без всякой перемены в жизни. Домик свой учреждал да занимался чтением отцов церкви и историков. Вывел два заключения, и оба желаю признавать ошибочными. Первое из них, что христианство еще на Руси не проповедано; а второе, что события повторяются и их можно предсказывать. О первом заключении говорил раз с отцом Николаем и был удивлен, как он это внял и согласился. “Да, – сказал он, – сие бесспорно, что мы во Христа крестились, но еще во Христа не облакались”. Значит, не я один сие вижу, а и другие видят; но отчего же им всем это смешно; а моя утроба сим до кровей возмущается.

Новый 1846 год. К нам начинают ссылать поляков. О записке моей еще сведений нет. Сильно интересуюсь политичною заворожкою, что начинается на Западе, и пренумеровал для сего себе газету. Чтение истории кончено.

6 мая 1847 года. Прибыли к нам еще два новые поляка, ксендз Алоизий Конаркевич да пан Болеслав Непокойчицкий, сей в летах самых юных, но уже и теперь каналья весьма комплектная. Городничиха наша, яко полька, собрала около себя целый сонм соотчичей и сего последнего нарочито к себе приблизила. Толкуют, что сие будто потому, что сей юнец изряден видом и мил манерами, но мне мнится здесь нечто иное.

20 ноября. Замечаю нечто весьма удивительное и непонятное: поляки у нас словно господами нашими делаются: все через них у городничего можно сделать и в губернии тоже, ибо Непокойчицкий оному моему правителю оказывается приятель.

5 февраля 1848 года. Чего сроду не хотел сделать, то ныне сделал: написал на поляков порядочный донос, потому что превзошли всякую меру. Мало того, что они уже с давних пор гласно издеваются над газетными известиями и представляют, что все сие, что в газетах изложено, якобы не так, а совершенно обратно, якобы нас бьют, а не мы бьем неприятелей, но от слова уже и до дела доходят. На панихиде за воинов, на брани убиенных, подняли с городничихою столь непристойный хохот, что отец протоиерей послал причетника попросить их о спокойном стоянии или о выходе, после чего они, улыбаючись, из храма вышли. Но когда мы с причтом, окончив служение, проходили мимо бакалейной лавки Лялиных, то один из поляков вышел со стаканом вина на крыльцо и, подражая голосом диакону, возгласил: много ли это? Я все сие понял, что это посмеяние многолетию, и так и описал, и сего не срамлюсь, и за доносчика себя не почитаю, ибо я русский и деликатность с таковыми людьми должен считать за неуместное.

1 апреля, вечером. Донесение мое о поступке поляков, как видно, хотя поздно, но все-таки возымело свое действие. Сегодня утром приехал в город жандармский начальник, Бржебржицкий, и, пригласив меня к себе, долго и в подробности обо всем этом расспрашивал. Я рассказал все, как было; а он объявил мне, что всем

Божедомы. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru
этим польским мерзостям на Руси скоро будет конец. Опасаюсь, однако, что все сие, как назло, сказано мне первого апреля. Начинаю верить, что число сие действительно обманчиво, да и смущает меня Плодомасихи убежденность, что не быть тут ни правде венца, ни греху конца.

Пусть будет, что случится.

7 сентября. Первое апреля на сей раз, мнится, не обмануло: Конаркевича и Непокойчицкого – обоих перевели на жительство в губернию.

25 ноября. Наш городничий с супругою изволили выехать: он определен в губернию полицмейстером.

5 декабря. Прибыл новый городничий. Сей уже не токмо имеет жену польку, но к тому еще и сам поляк. Называется капитан Мрачковский. Фамилия от слова мрак. Ты, Господи, веси, когда к нам что-нибудь от света приходиться станеть.

9 декабря. Был сегодня у нового городничего на фрыштыке. Любезностью большой обладают оба, и он, и жена. Подвыпив изрядно, пел нам: “Ты помнишь ли, товарищ славы бранной?” А потом сынишка, одетый в русской рубашонке, тоже пел: “Ах, мороз, морозец, молодец ты русский”. Это что-то новые новости. Рассказывал моей боярыне (коя уже совсем при конце дней своих). Вот, говорю, ляхи какого закала начинаются. – Она сему улыбнулась и отвечала: “Погоди, поживете – еще и не то увидите: они и веру нашу принимать станут. Одни нашу, другие турецкую – все вместе и сойдутся”. Замечательность беседы сего Мрачковского, впрочем, наиболее всего заключалась для меня в рассказе его о некоем профессоре Московского университета Редкине, получившем будто бы недавно отставку за то, что на торжественном акте сказал: “Nunquam de republica desperandum”, в смысле никогда не должно отчаиваться за государство, но кем-то, каким-то мудрецом понято, что он якобы велел не отчаиваться в республике, и за сие отставлен. Вот случайность! Сие даже невероятно!

20 декабря. Нет, первое-то апреля не только обманчиво, а и загадочно. Не хочу даже всего со мною бывшего в сей приезд в губернию вписывать, а скажу одно, что руган и срамлен был всячески и только что не бит остался за мое донесение. Не ведаю, с чьих речей, сам-то наш прямо накинулись на меня, что “ты, дескать, уж надоел своим сутяжничеством; не на добро тебя и грамоте выучили, чтобы ты не в свое дело мешался, ябедничал да сутяжничал”. Сердцеведец мой! Когда ж это я ябеды пускал и с кем сутяжничал? Но ничего я и отвечать не мог, потому что каждое движение губ моих встречало грозное: “молчи!” Избыхся всех лишних, и се возвратясь сию, как крапивою выпоронная насадка, и твержу себе то слово: молчи, и вижу, что слово сие разумно. Одного единым, единого не понимаю, отчего мой поступок, хотя, может быть, и неосторожный, не иным чем, не неловкостию и необразованностью моею изъяснен, а чем бы вам мнилось? – злопомнением, что меня те самые поляки не зазвали да пьяным не напоили, к чему я, однако, благодаря моего Бога, и не привержен? От малого сего к великому заключаю, припоминаю себе слова французской девицы Шарлотты Кордаи д'Армон, как она в предказанном письме своем писала, что “у новых народов мало патриотов, кои бы самую простую патриотическую горячность понимали и верили бы возможности чем-либо ей жертвовать. Везде эгоизм, и все им объясняется”. Оно бы, глядячи на одних своих, пожалуй, и я заключить сие склонен; но имея перед очами сих самых поляков, у которых всякая дальняя сосна своему бору шумит, да раскольников, коих все обиды и пригнетения не отлучают любить Руси, подумаешь, что есть еще и любовь к отечеству своему. Вот до чего домыслишься, что и ляхов за нечто похваливать станешь... Однако звучно да будет мне по вся дни сие слышанное мною: молчи. Nunquam de republica desperandum.

2 января 1849 года. Ходил по всем раскольникам и брал у ворот сребреники и злотницы. Противиться мне не время; однако же минутами горестно сие чувствовал; но делал ради того, дабы не перерядить попадью в дьячихи, ибо после бывшего со мною и сие возможно. Был и у городничего: он все со мною бывшее знает и весьма меня на речах сожалел; а что там на сердце, про то Богу известно. Но что поистине достойно курьеза и смеха, то это выходка нашей новой акцизной чиновницы Бизюкиной: “Правда ли, – спросила она меня, – что вы доносили на поляков? как это низко. Вы после этого теперь не что иное, как ябедник”, – а я ей на это отвечал: “а вы после этого не что иное, как дура, да еще и русская”. Рассуждаю, отчего она так сказала, и нахожу, что всего не семь смертных грехов, а восемь, и восьмой из них должен называться рыхлость. Это наш грех русский, им же все мы

Божедомы. Николай Семенович Лесков teskovniko1ai.ru
грешим и за честь себе им грешить поставляем. Опять одни раскольники не так.
Достойно ли сие, что я все завидую характерам моих сопровитников?

1 января 1849 г. Год прошел тихо и смиренно. Схоронил мою благотворительницу Марфу Андреевну Плодомасову. Скончалась, пережив пятерых венценосцев: Елизавету, Петра, Екатерину, Павла и Александра. Ей наследует Алексей Никитич Плодомасов. Видела она и мою знаменитость простопопом и потом, по ее пророчеству, протопопом, и приучила меня к злой мысли о случае. Жаль ее мне, и я молюсь о ней. – Ждал неприятностей от акцизничихи, которая со связями и могла потщиться пострелать меня через губернию, да все обошлось прекрасно: мы, русские, сколь ни яровиты порою, но, видно, незлопамятны, может, потому, что за нас и заступаться некому. – В будущем году думаю начать пристройку, ибо вдался в некоторую слабость: полюбил преферансовую игру и начал со скуки курить, а от сего траты. Курил спервоначала шутя у городничего, а ныне и дома всею этою сбруею обзавелся. Надо бы и бросить.

1850 год. Надо бросить. – Нет, братик, не бросишь. Так привык курить, что не могу оставить. Решил слабость сию не искоренять, а за нее взять к себе какого-нибудь бездомного сиротку и воспитать. На попадью Наталью Николаевну плоха надежда, даст намеки, что будто есть у нее что-то, но выйдет сие всякий раз все к первому апреля подходящее. Да рассмотрев себя, нахожу, что и сам становлюся стар и жирею.

Август месяц. Сделал я себе добрую вставку: собирал, собирал по грошу да по алтыну и, дабы не истратились по мелочи, разменял на серенькие и хватил шилом патоки: оказались все три фальшивые. Ахти, горе мне великое! Плакал, да жег; но потом сам немало над своими слезами смеялся, – что за малодушие.

27 октября. У нас в городе открыты фальшивые деньги в большом количестве, пало подозрение поначалу на арестантов; но, видно, нечто иное таится. Мрачковский внезапно отставлен от должности и поехал в губернию; но скажу лучше: *nunquam de republica desperandum*.

20 февраля 1853 года. Благородное дворянство избрало нам нового исправника, друга моего, поляка, на коего я доносил во дни моей молодой строптивости, пана Непокойчицкого. Он женился на Кропотовой и учинился нашим помещиком, а ныне и исправником. Все сие, полагаю, интриги да жратва устроили. Зато предводителем избрали сына боярыни Плодомасовой, Алексея Никитича Плодомасова. Таким манером хоть через зерницу есть русская кость. Хвала тебе и за то, благородное дворянство. А в господине Непокойчицком непременно буду иметь врага и, вероятно, наидосадливейшего.

7 апреля. Приехал новый исправник, пан Непокойчицкий, сам мне и визит сделал. О старой ссоре моей за “много ли это” и помина не делает.

20 мая. Впервые читал у исправника новую газету “Колокол”, господина Искандера. Речь смелая и штилистическая; но с непривычки несколько дико.

2 июня. Вчера, на день ангела своего, справлял пир. Думал сделать сие скромненько – по достоянию, но Непокойчицкий утром прислал целую корзину вина, и сластей, и рому, а вечером все нагрязнули, и Непокойчицкий, и новый городничий Порохонцев. Это весьма добрый мужик. Он, подвыпивши зело-зело, стал вдруг меня с Непокойчицким мирить за старое, и я помирился и просил извинения, и много раз с ним поцеловался. Не знаю, к чему мне было сие делать, если бы сам не был тоже в подпитии. Сегодня утром выражал о сем Порохонцеву большое сожаление, но он сказал, что по-ихнему, по-полковому, не надо о том жалеть, когда подвыпивши целуешься, ибо это лучше, чем выпив да подерешься. Все это так, но все-таки досадно. Служивши сегодня у головы молебен, сам себя поткал в нос кропилом и назидательно сказал себе: “не пей, поп, вина”.

23 августа. Читал записки Дашковой и о Павле Петровиче. Очень все любопытно. С мнениями Дашковой во многом согласен; но что до Петра, о том думаю иначе. Однако спасибо Непокойчицкому, что рассеивает этими книгами мою сильную скуку.

9 сентября. Чуть не размолвился с Непокойчицким на свадьбе Порохонцева. Он начал, глумясь, спрашивать меня, что значит, что у нас при венчаньи поют: “живота просиша у тебе”? Я хотел было отвечать, что он сие поймет, если ему когда-нибудь петлю под виселицей наденут. Но раздумал и смолчал.

20 декабря. Дьячица вдова по малосмыслию послала своему сыну по почте рублевую ассигнацию в простом конверте, но сей конверт на почте подпечатали и, открыв преступление вдовы, посылку ее конфисковали и подвергнули ее штрафу.

1 января 1857. Совсем не узнаю себя. Шесть лет и строки сюда не вписал. Житие мое странное, зане житие мое стало сытое. Перечитывал все со дня преподобия своего здесь написанное и вижу, сколь полезно подобное писание проверить. Достойно замечания, сколь я стал иначе ко всему относиться за сии года, и к стыду своему не могу сказать, чтобы часто о сем сожалел. Я пока уже опять третий год благочинствую, схоронив отца Николая. Сам не воюю, никого не беспокою и себе никакого беспокойства не вижу. Укатали сивку крутые горки, и против рожна прати более неохота. Но далеко, однако, несколько далеко уж зашел я по сему пути гладкому и снова ткнут некоторым событием записать себе малую нотаточку. Все сии годы читал постоянно упомянутую газету “колокол” и прочее многое в этом роде за границую печатаемое и не раз высказывал удивление: как сии листы здесь получают? но спросить о сем, обыкновенно, считал за неловкость и за неделикатность. Но вчерашнего числа, случась у исправника при разборе губернской почты, разломил, балуясь, один конверт и в нем нашел, в сем казенном конверте, эту запрещенную газету – и весьма сконфузился, но исправник, смеясь, сказал мне: “Что же, ничего, отче, – ты наш брат исаакий, с нами и поплясывай”. Вот как надо быть осторожным. Как стрекоза, не успел оглянуться, а уж тебя и мордой тычут, что и ты, мол, такой же! Теперь, может, и сам станешь объяснять “живота просиша” так, как он по бесстыдству своему объясняет.

20 октября. Вместо скончавшегося дьякона Прохора, прибыл новый дьякон кафедрального собора, Ахилла Десницын. Сей всех нас больше, всех нас толще, и с такой физиономией, и с такой фигурой, что надо, глядя на него, радоваться. Голос имеет весьма добрый, нрава веселого, и на первый раз показался очень почтителен. Но наипаче всего весел приятностью нрава. Предъявлял мне копию с своего семинарского аттестата, в коем написано: “Поведения хорошего, но удобоносителен”. А что сие означает? – спросил я. – А то, – объяснил он, – что, будучи в горячечной болезни в семинарском госпитале, проносил больным богословам водку. И сие, мол, изрядно.

9 сентября. Получил камилавку и крест, по чьему бы, мнилось, ходатайству? А все сие по засвидетельствованию милостивца моего, пана Непокойчицкого, о моей рачительности по благочинию. Ну, спасибо ему. Сколь я его не понимал и сколь ожидал от него неприятностей, а вышло все сие обратно и в пользу.

7 марта 1858 года. Исход израилев был: поехали в Питер Россию направлять на все доброе все друзья мои, и губернатор, и его оный правитель, да и нашего Непокойчицкого за собою на изрядное место потянули. Однако мне его даже искренно жаль стало, что от нас уехал. Скука будто еще более.

7 декабря. По указанию дьячка Сергея, заметил, что наш новый дьякон Ахилла малодушник: многих проходящих богомольцев он из честолюбия благословляет потаенно иерейским благословением, и при сем еще особенно как-то поддерживает левой рукою правый рукав рясы. Сказал, дабы сего отнюдь вперед не было.

18 июля 1861 года. Дьякон Ахилла опять замечен в том, что благословляет. Дабы уменьшить его подобие со священником, я изломал его палку, которой он даже и права носить по своему чину не имеет. Перенес все сие благопокорно и тем меня ужасно смягчил.

15 августа. Пировали у городничего, и на сем пиру чуть не произошел скандал по поводу спора об уме, и напомнило мне это старый спор, которому в молодости моей когда-то смеялся. Дьякон Ахилла и лекарь Пуговкин сразились в споре обо мне: лекарь отвергал мой ум, а дьякон возносил. Лекарь сказал, что умнее меня масса людей, и оный давно припомненный Соломон, и Ньютон, и министр юстиции, а дьякон утверждал, что министр юстиции настоящий только и могу быть я. – “Чем ты сие докажешь?” – спросил лекарь. – “А вот чем”, – сказал дьякон и не зная, что выразить, с сим посадил лекаря на шкаф, с коего тот не мог по трусости своей соскочить.

Тогда на шум и на крик лекаря вошли мы, и я с прочими, и, достаточно дьякона за сию шалость пошуняв, сказал, что сила не доказательство. А он за сие мне поклонился и, отнесясь к лекарю, добавил: “Видишь теперь, что он министр

Божедомы. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru
юстиции!” Человек сей как бы провидит, что я его люблю, сам за что не ведая, и сам меня любит, отчета себе в сем не отдавая.

1 января 1862 года. Даже новогодия пропускаю и ничем оставляю отмеченные. Сколь горяч был некогда ко всему трогающему, столь ныне обычно несколько ко всему отношусь. Протопопица Наталья Николаевна говорит, что я каков был, таков и сегодня; а где тому так быть! Ей, может, это в иную минуту и так покажется, потому что и сама Сарриных лет дожила; но а мне-то это виднее... Тело-то, шут ли по нем – тело-то здорово и толсто, да душа-то корой обрастает. Вижу многое и непростительно равнодушествую. Вижу, что нечто дивное нам на Руси готовится и зреет; в судах лихоимство ожесточенное; в молодых головах шатость; восьмой смертный грех все усиливается; а поляки сидят председателями, и советниками, и командирами. Образуется нечто систематическое: народу то потворствуют и мирволят, то внезапно начинают сборы податей, и поступают тогда беспощадно, говоря при сем, что сие “царская подать”. Дивно, что всего сего как бы никто не замечает. Повсюду окрест, как Непокойчицкий говорил, “тихо вшендзе, но цо то бендзе”. Из Петербурга весьма нередко стали получать “Колокол” и некоторые печатные воззвания. Удивляемся, кто бы сим одолжением нас одолжал, и вспоминаем оный вдовицын рубль, столь прозорливо люстрацию почтовую обнаруженный.

27 марта. Запахло весною, и с гор стремятся потоки. Дьякон Ахилла уже справляет свои седла и собирается опять скакать бедуином. В сем ему не мешаю, – скука, а он сложения живого, – пусть в чем-нибудь имеет рассеяние.

23 апреля. Ахилла появился наруже со шпорами, которые нарочито заказал себе для езды изготовить Пизонскому. Я взял и моими собственными ногами шпоры эти от Ахиллиных сапог одним ударом отломил, а его просил и самое наездничество на сей год прекратить. Итак, он ныне у меня под запрещением: его нельзя не воздерживать.

2 сентября. Дьячок Сергей сегодня донес мне, что дьякон ходит ночами с ружьем на охоту. Сергею сказал, что сему не верю, а дьякона изрядно намылил.

9 сентября. С дьяконом справки нет: жесточайше иссек дьячка Сергея ремнем, не поручусь, что, может быть, и из мщения, но говорит, что за некое будто бы богохульство. Дабы не допустить сего до приказных судов, призвал их, битого и небитого, и настоятельно заставил их подрать друг друга в моем присутствии за уши, поклониться друг другу в ноги и примириться, и при сем заметил, что дьякон Ахилла все сие исполнил со всею искренностью. – В сем мужике, по минутной его горячности, немало голубиного чувства порою замечать можно.

14 сентября. Дьячок Сергей, придя будто бы за наполом для капусты, донес мне, что сегодня вечером у фокусника, который проездом показывает в кирпичных сараях силача и великана, будет на представлении дьякон Ахилла. Прегнусный, мстительный характер у сего Сергея.

15. Я пошел от скуки подсмотреть это представление, и все достаточно видел сквозь щелочку в воротниках. Ахилла точно был, но более не зрителем, а как бы сказать, актером. Он показался в большом нагольном тулупе, имея воротник тулупа обвязанным ковровым платком, скрывавшим его волосы и часть лица, но я, однако, немедленно узнал его, а дальше и мудрено было не узнать его, потому что когда вышел сей великан в голотелесном трике и, взяв в обе руки по пяти пудов, обнес сию тяжесть перед скамьями, где сидела публика, то Ахилла, забывшись, закричал своим голосом: ничто же в этом дивного! Затем, когда великан нахально вызывал бороться с ним, и никого на сие состязание охотников не выискивалось, то Ахилла, утупя лицо в оный обвязанный платок ковровый, вышел и схватился. Я полагал, что кости их сокрушатся: то сей гнется, то оный, и так несколько минут, но наконец Ахилла сего немца сломал и, закрутив ему ноги на подобие, как подают в дворянских домах жареных пулярок, взял оные десять пудов, да вдобавок его самого и начал со всем этим ходить перед публикой, громко кричавшей ему браву (к коей, признаюсь, и я из засады моей присоединился). Дивнее же всего он конец сему сделал: “Господа! – обратился. – Может, кто вздумает, что я кто другой: сделайте милость, плюньте, потому я мещанин Морозов из Севска”. Кто-то его, извольте видеть, будто просил об этом объяснении! – Но, однако, я всем этим весьма от скуки позабавился. Ах, в чем проходит жизнь! Ах, в чем уже прошла она! – Идучи назад от сараев, я впал в нервность какою-то и прослезился, сам о чем не ведая, но чувствуя лишь, что есть что-то, чего нельзя мне не оплакивать, когда вздумают молодые планы мои и посравню их с продолженною мною жизнью моею! Мечтовал

Божедомы. Николай Семенович Лесков Teskovniko1ai.ru

некогда обиженный, что с достоинством провести могу жизнь мою, уже хотя не за делом во внешности, а за самоусовершенствованием собственным; но не философ я, а гражданин: мало мне сего: нужусь, скорблю и страдаю без деятельности в подъем сил моих и от сего не всегда осуждаю живые склонности моего Ахиллеса. Бог прости и благослови тебя, дьякон, за простоту твою, в которой все тебя утешает. – Сергею дьячку сказал, что он врет про Ахиллу, и запретил ему кляузничать.

29-го сентября 1862 года. Приехал из губернии сын никитской просвирни Марфы Николаевой Омнепотенской, Варнавка. Окончил семинарию первым разрядом, но в попы идти отказался, а прибыл сюда в гражданское уездное училище учителем математики. На вопрос мой, отчего не пожелал в духовное звание? коротко ответил, что не хочет быть обманщиком. Не стерпев сего ответа, сказал ему, что он глупец. Однако, сколь ни ничтожным сего человека и все его мнения почитаю, но уязвлен его ответом, как ядовитую осю. Где мой проект о положении духовенства и средствах возвысить оное на достойную его степень, дабы глупец над ним не глумился и враг его сему не радовался? Видно, правду попадья моя сказала, что, может быть, написал хорошо, да нехорошо подписался. Духовенство бедно, коснеет в невежестве и унижении и проникается большими пороками; а время настает, что в нем будет надобность. Шуткою сказано отцом Николаем слово, что Русь во Христа крестилась, но еще во Христа не облеклась, только тем и легко, что оно сказано шуточно, а в существе, оно слово жестокое. Кем же, однако, принесется ей сие облачение? Омнепотенский и все ему подобные уверяют, что народ днесь и мудр, и силен. Не знаю, откуда они берут это. Что народ силен, сему не противоречу, но что он мудр – в сие не верю, ибо сего ни в чем не вижу. Я этот народ коротко знаю и так его понимаю, что ему днесь паче всего нужно христианство. Каковы бы судьбы его ни были, а оно ему днесь нужно, и я сие говорю не потому, что я – поп, а потому, что это для меня ясно. В народе сем я вижу нечто торгашеское: все он любит такое, из чего бы ему было что уступить. Калач пятак стоит, и сие каждому весьма ведомо, но он все еще не преминет случая за него поторговаться и два старых гроша сулит. Что же с ним сделают твои правила, твои прифисы, которые ты ему предложишь, – да еще буде он их читать станет. А буде и прочтет, то что из него будет, когда он из них малую малость для своего обихода уступки потребует? Явится он виноватым перед твоими правилами, а ты его судьей. Сила моя – иная сила. Не в рассуждении истин веры, а уже в нынешнем гражданском интересе говорю, что я могу более тебя сделать. Промеж нас с тобой полоса проведена. Ты, указывая на сию полосу, говоришь: “что вниз сего, за то я карать буду”, и вся речь твоя о том, что вниз идет; а я показываю, что от нее вверх пошло и чему вверх границы нет, даже до смерти крестных. Из твоего одну нить поступись, и ты впал уже во зло и в преступление: из моего поступишь шагами гиганта, и ты все еще не худой человек, по твоим правилам. По твоим правилам можно идти, не опускаясь ниже черты отмеренной, и быть весьма злым и недобрим, и ты за сие не накажешь, ибо закон твой законную жестокость терпит и обстаивает; а мой судья – совесть – и за незримое, и за оправдмое тобою карает. В чем же я обманщик и чем я тунеядец, как ныне многим доказать хочется? Мой брат был Ослябя, проливший кровь свою; мои братья на Украине и в Галиче народ от польщизны спасли и отравили, а ты, глупец, меня обзываешь обманщиком? Кого сам я обманул в жизнь мою? Никого не обманул я и не кривил душою моею; но я уже стар, и мне оное давнее “молчи” и поднесь памятно, и будет памятно, вовеки. Но и сегодняшний день не боюсь я твоей гортани и сумею заткнуть ее. Одно вижу, что устарел, однако, и вместо убеждения ставлю свою гневливость; а сие худо. Но как и не гневаться, когда вспомнишь, что всего ныне бываемого могло бы и не быть, и ослы не кололи бы своими спицами глаз наших за нестроение бедной семьи левитовой. Как не скорбеть и не гневаться, видя, что поп и дьяк в ином месте точно хорьки живут, и живут так на радость врагов нашего отечества и на радость разрушителей вроде сего глупца Омнепотенского, им же имя стало легион.

3-го октября. Познакомился у городничего с Александрой Ивановной Серболовой и весьма рад сему знакомству. На плевелах прозяб клас добрый. Что за ум, и что за сердце чувствительное! Полагаю, что такова должна была быть Дашкова, или в сем роде. Разговаривали об Омнепотенском; она сказала мне, что это не его одинокая глупость, а что это такое учение, называемое – нигилизм. Стало, сия глупость, так сказать, коллективная. Обещала прислать мне два журнала, где это учение проводится.

7-го ноября. Прочитал бездну неразумия. Учение не новое: нечто заимствовано, вижу, от скептиков; нечто от циников; нечто же, самое глупое, свое добавлено и воедино смазано. Самое замечательное в сих книгах встречал упоминание о книге “О сельском духовенстве”. Где бы сию книгу взять?

16-го ноября. Серболова сказала, что книга о сельском духовенстве запрещенная. Несколько странно. Нам запрещена, а сии, как их называют, нигилисты ее читают.

22-го ноября. Ездил в губернию на чреду. При двух архиерейских служениях был сослужащим и в оба раза стоял ниже отца Троадия, а сей Троадий до поступления в монашество был почитаем у нас за нечто самое малое и, отстав от меня в синтаксисе, был из реторики за неспособность исключен. Пустое дело, а, однако, это меня оскорбило. Но зато у него как у архимандрита нашлась желанная книжка "О сельском духовенстве", и я ее с азартом у него же в келейницкой прочитал и дал за сие похитившему ее келейнику целковый. О, сколько правды! сколько ума и любвеобилия! Мню, что отец Троадий не все здесь написанное с апробациею и с удовольствием читает. Отец Б., то есть ты, во Христе брат мой и автор сей доблестнейшей книги! прими низменный поклон и братское лобзание от остаревшего попа Савелия.

14-го декабря. За раннюю обедню взшел в алтарь Омнепотенский и просил отслужить панихиду. Удивился его богомольности, но облачился и вышел к жертвеннику. Удивление мое возросло, когда увидал здесь и безбожницу акцизничиху и всех поляков. И загадка сия недолго оставалась загадкою, ибо я тотчас же все понял; когда Ахилла стал по записке читать: Павла, Александра, Кондратья... Это я, выходит, отпел панихиду за декабристов. Вперед буду умнее, ибо хоша молиться за всех должен, но в дураках-то у дураков дважды быть не согласен. Причту не подал никакого виду.

27-го декабря. Ахилла в самом деле иногда изобличает в себе уж такую большую легкомысленность, что прощать его невозможно. Младенца, что призрел Пизонский, сей последний просил научить какому-нибудь стихотворному поздравлению для городского головы, а Ахилла, взявшись за сие поручение, втвердил ему:

Днесь Христос родился,
А Ирод царь взбесился:
Я вас поздравляю
И вам того же желаю.
Младенец так и отляпал, а теперь это ходит по всему городу.

11 января 1863 года. Был страшный паводок, и принесло откуда-то сверху неизвестное мертвое тело. Омнепотенский привел на вскрытие несколько учеников, а потом в классе говорил: видели ли тело? Отвечают: видели. – А видели ли кости? – И кости видели. – И все ли видели? – Все видели, – отвечают. – А души не видали? – Нет, души не видали. – Ну, так где же она?.. – И решил им, что души нет. Я обратил на сие внимание зрителя и сказал, что не премину сказать об этом при директорской ревизии.

Вот ты, поп, уже и потребовался. Воевал ты с расколом – не сладил; воевал с поляками – не сладил, теперь ладь с этой дуростью, ибо это уже плод от чресл твоих восстает. Сладишь ли?.. Погадай на пальцах.

2-го февраля. Болен жабою и не выхожу из дому, и уроки в училище вместо меня преподает отец Захария. Сегодня он пришел расстроенный и сконфуженный и со слезами от преподавания уроков вместо меня отказывается, а причина сему такая. Отец Захария прошлый урок в третьем классе задал о Промысле и, истолковав его, стал сегодня отбирать заданное; но один ученик, бакалейщика Лялина сын Алеша, вдруг ответил, что "он только признает Бога творца, но не признает Бога промыслителя". Удивленный таким ответом, отец Захария спросил, на чем сей богослов основывает свое заключение, а он отвечал, что на том, что в природе много несправедливого и жестокого, и на первое указал на смерть, посланную всем за грехопадение одного человека. Отец Захария, вынужден будучи так этого дерзкого ответа не бросить, начал разъяснять ученикам, что мы, по несовершенству ума нашего, сему плохие судьи, и подкрепил свои слова примерной посылкой, что если бы были вечны мы, то вечны же были бы и кровожадный тигр, и свирепая акула, и достаточно сим всех убедил, но на вторых часах, когда отец Захария был в низшем классе, сей самый мальчик вошел туда и там при малютках опроверг отца Захария, сказав: "а что же бы сделали нам кровожадный тигр и свирепая акула, когда мы были бы бессмертны?" Отец Захария по добротности своей и ненаходчивости только и нашелся ответить, что "ну, уж о сем люди умнее нас с тобой рассуждали". Но это столь старика тронуло, что он у меня час добрый очень плакал; а я, как на зло, все еще болен и не могу выйти, чтобы погрозить этому дебоширству.

13-го января. Алеша Лялин, будучи выпорон отцом за свое рассуждение с отцом Захариею, под лозами объявил, что сему первому вопросу и последующему ответу научил его учитель Омнепотенский. Негодую страшно; но Пуговкин говорит, что выйти мне невозможно, что у меня будто рецидивная angina[4] и затем проторю дорожку ad padres,[5] а сего бы еще не хотелось. Жаль, не скажу, жизни, ибо ясно уже, что пройти ей без значения, а жаль Наташи, отца Захария и сего моего Ахиллеса, который без меня непременно попадет в скандал. Писал смотрителю записку и получил ответ, что Омнепотенскому им сделано замечание. Да, замечание. За растление умов, за порицание убеждения религиозного, за оскорбление честнейшего, кроткого паче всех человека – замечание, а променяй псалтирь старую на новую, то семью целую на год без хлеба.

18-го января. Омнепотенский отца Захария заклевал. Научил Лялина спросить его: правда ли, что пьяный человек скот? – “Да, скот”, – отвечал отец Захария. – “А где же его душа в это время?” – Отец Захария смутился и ответил только то, что: “а ну, погоди, я вот еще и про это отцу скажу”. Что же это за каналья этот просвирнин сын!

19-го января. Лялин вновь выдрал сына лозами и с сим вместе взял его из училища, сказав, что здесь не училище, а разврат содомский. Ненавижу жабу, которая мне в эти минуты стиснула горло. Вот живой приклад, что такое может сделать одна паршивая овца, если ее в стадо пустят! Вот наука и к тому, что музыканту мало трезвости, а нужно и искусство. Первый приклад дает Омнепотенский, второй – мой отец Захария. Ради просветителя Омнепотенского из школы детей берут, а отец Захария, при всей чистоте души своей, ни на что ответить не может. Вот когда уши мои выше лба хотят вспрыгнуть. Да, теперь чувствуешь ли, разумный гражданин, что я не совсем дармоед и не обманщик? Чувствуешь ли? И ежели чувствуешь сие, то чувствуешь ли и то, что я хил, стар и отупел от всех оных “молчи”... А что еще там на смену мне растет? Думай о них, брате мой, думай о них, искренний мой и ближний, зане враг вьюду нас встал, и сей враг плоть от плоти наша. Ныне он глуп и юродив, в варнавкиной коже, но старый поп, опытом наученный, говорит тебе: на страже стой. Где теперь Мрачковский? Где Непокойчицкий и оный мой правитель? Какого они плана держатся? Сколь они умнее стали с тех пор, как реготали в храме и пели на крыльце “много ли это” вместо многая лета? Пойди ныне лови! Сунься... Они тебя поймут. Не страшусь Омнепотенского и братии его; но страшусь за мать мою родину, да не перерядятся когда-либо сии дурни в иную шкуру. Но “nunquam de republica desperandum”.

21 января. Скажешь себе слово под руку, да и сам не обрадуешься. Еще и чернило с достаточною прочностью не засохло, коим писал, что “лови их, они сами тебя поймут”, как уже и изловлен. Сегодня пришел ко мне городничий Порохонцев и принес копию с служебной бумаги из Петербурга. Писано, что до сведения высшего начальства дошло о распространении в наших местах газеты “Колокол” и прочих секретных сочинений и что посему вменяется в обязанность распространение сих вещей строго преследовать; а подписано – наш “Непокойчицкий”! Уж это не сам ли он шутки сии шутит?

23. Так это и есть, как предполагалось: это все Непокойчицкий сам зудит и сам почесывает. Сегодня городничий получил от него письмо насчет продажи хлеба в имени жены его, и там же в том письме приписочка о колокольном звоне столь ясная, что и загадывать нечего, кто шлет; вдобавок к сему и еще один номер сей газеты, да и в казенном пакете. Я и читать не стал, хотя Порохонцев над сим всячески забавлялся. Много бы дал, чтобы не быть в сей компании чтецов. Пользы сим чтением не приобрел для себя нисколько, а будто чем с ними в одно спутан.

27. С Омнепотенским sprawy нет. Рассказывал на уроке, что Иона пророк не мог быть во чреве китове, потому что у огромного зверя кита все-таки весьма узкая глотка, и еще говорил нечто неуважительное о Пресвятой Деве.

2-го февраля. Почтмейстер Тимофей Иванович, подпечатывая письма, нашел описание тугановского дела, списанного городничим для Непокойчицкого, и все ему очень смеялись. Начто же все сие делают – начто и подпечатывание с болтовством, уничтожающим сей достойной операции всякое значение, и корреспондирование революционеру от полицейского чиновника? Не достойнее ли бы было, если бы ничего, ни того, ни другого, совсем не было?

Божедомы. Николай Семенович Лесков teskovniko1ai.ru

14-го февраля. Все еще болен и не выхожу. Читал книгу журнала, где в одной повести выводится автором поп. Рассказано, как он приехал в село и как он старается быть добрым и честным, но встращает к тому ежечасные препятствия. Хотя все это описано вскользь и без знания дела, но весьма тому радуюсь, что пришла автору такая мысль. Настал час, чтобы светские люди посмотрели на нас, а мы в свою очередь в их соображения и стремления вникли, не рассуждая только по мамону да по семинарскому богословию. Особенно мне сие приятно, что я предвидел, что рано или поздно сие будет, а ныне далее того предусматриваю, что будет что-либо и больше, с большею любовью к сему делу совершенное. Ахилла дьякон, видя, что я скучаю, и желая меня в болезни рассеять, привел ко мне собачку Пизонского, ублюдочку пуделя, коему как Ахилла скажет: “собачка, засмейся!”, она как бы вправду, скаля свои зубы, смеется. Опять сядет перед нею большущий дьякон на корточки и повторит: “засмейся, собачка!” – она и снова смеется. Сколь детски близок Ахилла к природе и сколь все его в ней занимает!..

17-го февраля. Омнепотенский вывел меня из терпения. Я его и человеком более вовсе считать не могу после того, что он сделал. Это все, до чего безумие довести может. За болезнь учителя Гонорского, Омнепотенскому поручено временно читать историю, а он сейчас же начал толковать о безнравственности войны и отнотсил сие все прямо к событиям в Польше. Но этого мало ему было, и он, глумясь над цивилизацию, порицал патриотизм и начала национальные, а далее осмеивал детям благопристойность, представляя ее во многих отношениях безнравственною, и привел такой пример сему, что народы образованные скрывают акт зарождения человека, а не скрывают акта убийства, и орудия, нужные для первого, таят, а ружья войны на плечах носят. Чего сему глупцу хочется? По правде, сие столь глупо, что и подумать стыдно, а я все сержусь и сержусь. Мелочь сие; но я ведь мелочи одне и назираю, ибо я в мале и поставлен.

18-го февраля. Приехал директор. Я не вытерпел и, хотя лекарь грозил мне опасностью, однако вышел и говорил ему о бесчинствах Омнепотенского; но директор все сему весьма рассмеялся. Что это у них за смешливость! Обратил все сие в шутку и сказал, что от этого Москва не загорится, – “а впрочем, – добавил с серьезною миною, – я ему замечу; но где же мне прикажете брать других? Они все ныне такие прибывают”. И вышел я же в смешных дураках, как бесполезный хлопотун. Видно, так этому и быть следует. Подождем, авось Омнепотенский новую нравственную моду покажет и начнет носить к плечу вместо ружья нечто другое, и будет сам сим орудием своему ученому начальству достойную почесть отдавать.

19-го февраля. И вправду я старый шут верно стал, что все надо мною шутят. Пришли сегодня ко мне лекарь с городничим, и я им сказал, что здоровье мое от вчерашнего выхода нимало не пострадало; но они на сие рассмеялись и отвечали, что лекарь это шутя продержал меня в карантине, ибо шел об заклад с поляком Августом Кальярским, что я месяц просижу дома. Неужто же я только на посмешку годеи? Удивительно, что это за шутливость всеми обладает.

23 февраля. Дьякон Ахилла явился на гулянье в низенькой шапочке и с тросточкой. Заметил, чтобы сего вперед не было. Оправдывался тем, что это ему всю сбрую подарил Кальярский. Кальярский начинает давать деньги под залогои.

7-го мая. Освящен костел, и в нашем куту загудели органы. Костел очень маленький, но для укусу гнездо невеличко и требуется. Ходил ради любопытства слушать проповедь ксендзовскую, и недаром. Уразумел мало, но хорошо. Понравилось, что какой-то их “свентый Полуэктус письмо цесарское противу костела сдрапал”. Это отлично! Попытал по любопытству, откуда сей материал отличный для проповеди заимствован, что святыя письма цесарские противу костелов драпали? – оказалось, что сие из сказаний великого Скарги Хризостома иезуита. “Его сочинение, – ксендз объяснил мне, – имело более двадцати изданий, и наилучшее в Петербурге сделано”. Еще бы не в Петербурге! Драпайте, други, драпайте! Ах, сколь все сие у них удобно для их целей приснащено! А ты, поп Савелий, помни-ка оно “молчи”.

14-го мая. Омнепотенский и в моем присутствии мало изменяется. Добыв у кого-то из раскольников весьма распространенную книжечку с видами, где антихрист изображен архиереем в нынешнем облачении, изъяснял, что Христос был социалист, а мы, попы и архиереи, как сему противимся, то мы и есьмы антихристы. Противу сего я умышленно заговорил о мусульманском учении и привел на своем уроке мнение некоего муллы, ожидавшего чувственного явления антихриста в образе осла, то есть самого безмозглого животного, коим и представил Омнепотенского. Однако все сие

Божедомы. Николай Семенович Лесков Teskovniko1ai.ru
меня очень расстроило, что сколь борьба моя мелка и на кого я должен гневаться, и я жажду освежиться.

20-го июля. Отлично поправился, проехавшись по благочинию. Так свежо и хорошо в природе, на людях мир и довольство замечается. В Благодухове крестьяне на свой счет поправили и расписали храм, но опять и здесь со стороны живописи явилось нечто в игривом духе. Изобразили в притворе на стене почтенных лет старца, опочивающего на ложе, а внизу уместили подпись: “В седьмой день Господь почил от всех дел своих”. Дал отцу Якову за сие замечание и картину велел замалевать.

11-го мая 1863 года. Позавчера служили у нас в соборе проездом владыко. Отец Захария был назначен сказать проповедь и изготовился, но, выйдя на амвон, оробел и только и произнес: “Было время, когда и времени не было”, и за сим стал, и прильпе ему язык к гортани, и, переконфузившись до остатка, красноречиво умолк. Спрашивал я отца Троядия: стерта ли в Благодухове известная картина? и узнал, что картина еще существует, чем было и встревожился, но отец Троядий успокоил меня, что это ничего, и шутиливо сказал, что “это в народном духе”, и еще присовокупил к сему некоторый анекдот о душе и башмаках, и опять все покончили в самом игривом. Эко, сколь им все весело.

20 июня. Ездил в Благодухово и картину велел состругать при себе: в глупом и народном духу потворствовать не нахожу нужным. Узнавал о художнике; оказалось, что это пономарь Павел упражнялся. Гармонируя с духом времени в шутиливости, велел сему художнику сесть с моим кучером на облучок и, прокатив его сорок верст, отпустил *redibusque*[6] обратно, чтобы имел время в сей проходке поразмыслить о своей живописной фантазии.

12-го августа. Дьякон Ахилла все давно что-то мурлычит. Недавно узнал, что это он вступил в польский хор и поет у Кальярского басом польские песни. Дал ему честное слово, что донесу о сем владыке; но простил, потому что вижу, что это просто учинено им по его всегдашнему легкомыслию.

8-го сентября. Дьякон Ахилла приходил с плачем и, стоя на коленях, исповедывал, что та польская песня, что он пел, есть гимн революции, но он до сегодня слов ее не понимал. Видя его искреннее раскаяние, простил его, и как он наиболее всего просил, дабы никогда его этим не упрекнуть, то дал слово о сем никогда и не вспоминать; а городничему только заметил, как не стыдно, что и он тоже в этих пениях принимал участие. Тоже был очень сконфужен. Советовал им держаться от поляков подальше.

14 сентября. Дьякон Ахилла, повеселев и как бы обновясь, приходил сказать, что он и дома даже той песни не поет, а “сложил, – говорит, – себе такую, что ничего плотского в себе не заключает”. Что же, это, спрашиваю, за песнь? – А вот, – говорит:

Хе-хе-хе хе-хе-хе

Раздается в воздухе!

– Правда, – говорит, – отец протопоп, весьма воздушно? – Истинно, – говорю. – И пою я ее, – говорит, – целый день. – Так, – говорю, – и пой во весь день твой...

12 октября. Был у нас на ревизии новый губернатор. Заходил в собор и в училище и в оба раза непременно требовал у меня благословения. Человек русский и по обхождению, и по фамилии. Очень еще молод, учился в правоведении и из Петербурга в первый раз всего выехал, что сейчас и заметно, ибо все его интересует. С особым любопытством расспрашивал о характере столкновений духовенства с властью предводительскою; но, к сожалению, я его любопытства удовлетворить не мог, ибо у нас что уездный Плодомасов, что губернский Туганов – мужи достойные и столкновений нет. Говорил, что присутствию поляков не намерен придавать никакого значения, и выразился, что “их просто надо игнорировать”, как бы их нет? ибо “все это, – добавил, – должно ступешаться; масса их поглотит, и их следа не останется”. При сем не без красноречия указал на непрактичность придавать им значение, “ибо (его слова) все это только раздувает несогласие и отвлекает правительственных людей от их главных целей”. Примером сему поставил недавних нигилистов, во вражде к коим некоторые противодействующие им издания БОГ знает как далеко заходили, тогда как административные умы видели все это яснее и беспристрастнее и, не предаваясь партии страстности, во всем щадили то, что в нем было годного, и обратили все сие в пользу своей системы. При сем он, развивая мысль свою о нетерпимости, привел на память место из речи заслуженного

Божедомы. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru
московского профессора Грановского “О современном состоянии и значении всеобщей истории”. Я записал с его слов это место: “В самых позорных периодах жизни человеческой, – гласит речь Грановского, – есть искупительные, видимые нам на расстоянии столетий, стороны, и на дне самого грешного перед судом современников сердца таится какое-нибудь одно лучшее и чистое чувство”. Рекомендовал прочесть некоторые статьи о крайних направлениях в литературе и выразил намерение поднять наши “Губернские ведомости”, дабы сделать по мере возможности получение столичных газет в губернии излишним, по крайней мере, для людей недостаточных. При моих рассказах о нашем Омнепотенском, улыбаясь, сказал, что это дурак, в чем я с ним и согласился. Много рассказывал о нравах прекращенных уже нигилистов и изрядно над сими нравами издевался. После довольно долгой и вполне приятной беседы с ним, я убедился, что это человек с большими способностями вникать, и впал в раздумье: ради чего я это, бывало, шумлю и волнуюсь, когда есть еще такие люди, при которых любящий отечество человек может спать спокойно, или, как Гоголь шуточно говорит: “братъ метлу, да мести лишь свою улицу”. Действительно, мы уж тоже иногда любим смотреть очень мрачно. Как губернатор сказал: “все Гераклиты да Демокриты – одни весьма плачут надо всем, а другие не в меру смеются”. Нужно относиться поспокойнее. Пошлые нигилисты пали же с шумом, и наш Непокойчицкий, бедняга, говорят, взят и заключен в крепость, а вот является человек совсем иного склада и стоит во главе губернии и с властью.

20-го января 1863 года. Только что возвратился из губернии и привез оттуда себе последнюю загвоздку. Хотя эта загвоздка лба моего прямо не касается, однако там нечто такое засело, чего не вытащишь. Уже неоднократно слышно было здесь многое о контрах, возникших между новым губернатором и предводителем Тугановым, но все это и до сих пор не известно достоверно, отчего происходит. Говорят, по делам крестьянским; а ведь у Туганова чести много, да и гонору с Араратскую гору. Но случилось другое дело: отставной солдат с чудотворной иконы Иоанна-воина венец снял и, будучи взят с тем венцом в доме своем, объяснил, что он этого венца не крал, а что, жалуясь на воинскую долю, молил святого пособить ему в его бедности, а святой якобы снял венец, да и отдал, сказав: “мы с тобой оба люди военные, но мне сие не надо, а ты возьми”. Стоит ли такое объяснение внимания какого? Но рассуждено иначе, и от губернатора в консисторию последовал запрос: могло ли происходить такое чудо? Конечно, консистория в затруднении должна все-таки отвечать, что чудо таковое могло быть; но к чему же это воспрошено? Не иначе, как для уничижения ведомства. Что же это такое, если в государстве все один над другим издеваться станут, одной короне присягая? Удивительное дело: смеха ради, что ли, это сделано или еще того хуже?

20 мая. По случаю распространившегося по губернии вредоносного поветрия на скот и людей, в “Губернских ведомостях” напечатали, “чтобы крестьяне остерегались шарлатанского лечения знахарей и бабок, нередко расстраивающих здоровье навеки, а обращались бы тотчас за пособием к местным врачам и ветеринарам”. Что это такое? Где сии местные врачи и ветеринары? На триста верст по одному. Припоминаю давно читанную мною старую книжечку английского писателя Стерна “Жизнь и мнения Тристрама Шанди”, решаю, что по окончании сего нигилизма, которого я по своему удалению от больших городов не видал, у нас начинается шандеизм, ибо сие по Стернову определению такое учение, которое “растворяет сердце и легкое и вершит очень быстро многосложное колесо жизни”. И в этом еще более убеждаюсь, потому что сей Шанди говорил, что если бы ему, как Санхо Пансе, дали бы выбирать для себя государство, то он “выбрал бы себе не коммерческое и не богатое, а такое, в котором бы непрестанно как в шутку, так и всерьез смеялись”. Все это как раз к нам подходящее: и не богаты, и не тороваты, а смешливы гораздо.

21 мая. Помещик Плодомасов вернулся из столицы и привез и мне, и отцу Захарию, и дьякону Ахилле весьма дорогие трости и показывал небольшую стеклянную лампочку с горящею жидкостью “керосин”, что добывается из нефти.

19 июня. Ездил в губернию, сдал книги и возвратился благополучно. Новость одна: некогда здесь бывший ссыльный ксендз Алоизий Конаркевич столь сильно исправился и обрусел, что принял православие, сделался иноком, отцом Алексеем, и проповедником. Значит, нашего полку прибыло.

24 июля. Аминь. Всего столько во мне осталось разума, чтобы постигнуть мог, что я глуп, и ежели не во все дни живота моего был таковым, то таков ныне. Обмелел до того, что некие честолюбивые надписи поделал на подаренных тростях, дабы отличиться себе от отца Захарии, и в сей пошлой мелочности моей честно был Ахиллю дьяконом обличен. И сие в какое время досуг мой позволяет мне над сим

Божедомы. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru
изощряться? Когда ксендз Алоизий уже нарицается отец Алексей и... Кто этот темнолицый идет в среду нас? Боже мой! Пронзила меня мелкость моя, и я уразумел крупность врагов моих, и дрожу, как раненый елень, при виде его! Ты лжешь! Ты не Алексей, а Алоизий! Ты с Скаргой и Лойолой так хочешь удобнее “сдрапать” все, как учишь драпать письмо цесарское противу костела! Боже, вразуми меня, есть все это или нет этого, или все это уже двинулось, или все это мне, выжившему из ума старику, кажется? Отселе не радуюсь, но смущаюсь, зачем он пришел в Церковь Бога моего? Отселе не съем хлеба моего в радости, пока не уразумею вхождение твое и кто ты, темнолицый?”

Это была последняя запись между теми, которые Савелий прочитал, сидя над своею синею книгою; затем была чистая страница, которая манила его руку “занотовать” еще одну “нотаточку”, но протоиерей не решался авторствовать. Чтение синей книги, очевидно, еще более растрепало и разбило старика, и он, сложив на раскрытых листах календаря свои руки, тихо приник к ним лбом и завел веки.

Пробыв в таком положении более получаса, отец Савелий медленно восклонился, провел по лбу рукою, принес себе с наугольного столика медную чернильницу и крупно написал: “4 июня 1864 года”.

Выставив дату, отец Савелий задумался, покусал концы переброшенной через ладонь седой бороды и начал заметку.

Эта новая, перед зарею 5 июня написанная заметка была следующего содержания.

V

Вот что написал в дневнике своем протопоп Туберозов перед утром того дня, в который дьякон Ахилла обещал матушке протопопице положить начало чему-то новому, небывалому и даже несколько страшному, так как в разговоре Ахиллы, кроме казни учителя Варнавы, был упомянут и фантастический элемент – человек, сваренный учителем в трех золяных корчагах, с разрешения начальства, и после этой выварки еще мучимый, стонущий и не дающий очень многим покоя:

“9 июня 1864 года. Я почти в исступлении. Целая жизнь прошедшая опрокинулась передо мною как решето и покрыла меня. Я сижу под этим решетом, как оципаный грач, которого злые ребята припасли, чтобы над ним потешаться.

Ровно год тому назад, вслед за смеху достойным поступком моим с тростями, о котором выше занотовано, и последовавшего за сим перепуга от темнолицего, его же здесь разумею, я виделся с предводителем губернским Тугановым, в уме коего столь много уверен, и выражал ему свои опасения. Выслушав меня с долгою терпеливостью, он, однако, отвечал, что никогда над этим вопросом не останавливался, но дал мне прочесть изрядную французскую монографию о происках иезуитских. На 59 году запаса снова грамматикой Ломонда, читал, и по мере чтения моего все более и более изнывал до отошения смысла моего, но зато, по окончании сего чтения, небо открылось передо мной, как перед гонящим Павлом, и страшную ясностью своею ослепило меня. Как оный Павел же, я пал во прах в сознании ничтожества усилий моих и усилий братии моей перед громадностью средств, которыми располагают сии, и отчаиваюсь ныне, будет ли до века моего рука, которая подымет меня из этого праха. Г-жа Плодомасова, как женщина, хотя бы и не ничтожный разум имевшая, говорила с некоею женскою раздражительностью об управляющих всем на Руси случайностях; но нужно ли оспаривать, что есть в сем наблюдательном выводе ее нечто роковое и нечто страшное? Нужно ли было великой и дальнзоркой царице Екатерине в пику римскому папе дать у себя приют отовсюду выгнанным иезуитским монахам; нужно же было, чтобы не притоманные русские, а сии иезуиты склонили плененную Литву к присяге русскому монархизму; нужно же было, чтобы брат якобинца Марата, резавшего французских аристократов, был поставлен в России воспитателем дворянских детей, имевших наследственные души; нужно же было, чтобы несчастная госпожа Свечина, скорбя и стремясь вознестися душою к Богу, не могла сказать Ему своих прошений по-русски!

Все сие страшнейшие случайности, в виду которых мелкие случайности затиненной жизни нашей становятся объяснимыми и перестают быть случайностями, а последствиями, *causa causis*[7] которых скрывается выше, в ошибках и небрежениях, совершаемых там, где мы в мале своем верные, но зело в мале поставленные, не имеем ни гласа, ни послушания. Книга, которую я, по малообразованности моей во французском языке, прочел с такою трудностью, дала мне ключ к уразумению многого, отчего, впрочем, наиболее усилилась скорбь моя. Целый год я наблюдал

все вокруг меня деющееся молча и, стыжусь признаться, все оскорбевал более и более, и даже под конец и до немощи. Нет; ты, земля моя, должна родить человека во всеоружии разума и силы, дабы он снял с тебя злодейское очарование. Чье же очарование? Не подивитесь немудрости моей, что я робею сказать вам, чье это очарование я чувствую. Потерплю я указанием сего и лучше запишу постепенно странности, по которым дохожу до моих, может быть, и неверных догадок. Записываю целую басню на память отдаленному потомку, предоставляя ему право посмеяться надо мной, опорочить меня и называть все сие мелочью, с тем лишь, дабы сам он не оказался впоследствии мелче меня. Не знаю, кому давать первое место в сей целый год продолжающейся басне! Было внесено мной своевременно, как просвирнин сын, учитель Варнава Омнепотенский, над трупом утопленника смущал неповинных детей о душе человеческой, говоря, что сей души нет, потому что нет ей в теле видимого гнездилища. Гнев мой против сего поганца был и в оные времена умными людьми признан суетным, и самый повод к сему гневу найден не заслуживающим внимания. В то же время труп того утонувшего несчастливца, не знаю, по какому праву и закону, после погребения над ним, не был зарыт в землю, а отдан лекарем Пуговкиным, с согласия городничего, тому же Варнаве Омнепотенскому, который, как дьякон Ахилла через забор достаточно ясно видел, рассек оный труп на части и сварил оный в больших глиняных корчагах. Презренную операцию эту он совершал в саду своей матери, при содействии акцизничихи Бизюкиной, которая, заткнув платком нос от расходящегося трупного смрада, подкладывала под те корчаги бересту и хворост. Труп был варен до тех пор, пока все мясо от костей отстало и пока подсматривавший за Варнавкой дьякон Ахилла, висевший во все это время на заборе, весь закоптел, как свиной окорок, и чуть не задохнулся, как Савонарола.

Тогда ненавистный Варнавка, изъяв эти кости из корчаг, отвар вылил под апортовую яблоньку, а кости иссушил и хотел собрать из них для неизвестной надобности шкилет, но не сумел сего сам и повез все эти кости в губернию в богоугодное заведение приказа общественного призрения к фельдшеру. Сей искусник в анатомии посцеплял все эти косточки, и шкилет этот ныне находится у Омнепотенского, укрепившего его на окне своем, что выходит как раз против алтаря Никитской церкви. Там он и стоит, служа постоянным предметом сбора уличной толпы и соблазна общественного, и ссоры, и нестроений домашних у Варнавки с матерью. Мертвец сей начал мстить за себя гораздо рано. О сварении его я получил сведение тотчас же от дьякона Ахиллы, но, не желая тогда говорить с Ахиллой, вид которого напоминал мне мою непроходимую суетность и глупость с тростями, я пропустил сие мимо ушей. Но через несколько часов мать Варнавки, просвирня Василиса Леонтьевна, прибегает ко мне в слезах неутешных, пала на пол и, скорбя и не желая успокоиться, говорила, что лекарь с городничим, вероятно по злобе к ее сыну или в насмешку над ним, подарили ему одного утопленника, а он, Варнавка, по глупости своей, этот подарок принял, сварил мертвеца в корчагах, в которых она доселе мирно золила свое белье, и отвар вылил под апортовую яблоньку, а кости, собрав, повез в губернский город, и что через сие она, эта добрая, но глупая вдовица, опасается, что ее драгоценного сына возьмут как убийцу, с костями сего человека, которого он повез в своей пустой, как его голова, наволочке. Вдовицу успокоил, сказав, что напишу, чтобы сына ее не брали. Она сему и поверила, будто все, что я ни напишу, так и сбудется, но отправился к городничему и к сему глупому и лживому лекару Пуговкину, хотел получить от них ответ, “для каких надобностей труп несчастного утопленника, подлежавший погребению церковному, был отдан ими учителю Варнавке?”, и получил в ответ, что сделано это ими в интересах просвещения, для образования себя, Варнавки, над шкилетом, в естественных науках. Противно мне было это и пресмешно такое рачение о науке, и притом людьми, столь от нее далекими, как городничий Порохонцев, прошедший полжизни в кавалерийских конюшнях, или лекарь лгун, должавшийся до того, что якобы он, выпив по ошибке у Плодомасова, вместо водки, рюмку осветительного керосина, имел целую неделю живот свой светящимся, так что вся семья его дома обходилась без свечки. Но как бы там ни было, а я бросил это дело, как не мое, хоть оно и мое, да только много раз я слышал, что все, за что я ни возьмусь, не мое. Но вот беда откуда приключилась: сваренный Варнавкой утопленник сам начал за себя заступаться.

Еженощно начал он сниться несчастливой матери ученого Варнавы; смущает покой ее и требует у нее погребения. Бедная и вполне несчастливая женщина молилась, плакала и, на коленях стоя, просила сына о даровании ей шкелета для погребения и, натурально, встретила в сем наирешительнейший отпор. Тогда она решилась на меру некоего отчаяния, и, в отсутствие сына к акцизничихе Бизюкиной, собрала кости бедного мертвеца в небольшой деревянный ковчежец и снесла оные в сад, и своими старческими руками закопала его под тою же апортовую яблоньку, под которую

Божедомы. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru
вылито Варнавкой разваренное тело несчастливца. Но смеху и сраму достойно, что из сего воспоследовало!”

Отец Туберозов, положив перо, встал, закурил свою длинную трубку и, улыбнувшись, начал тихо ходить взад и вперед, в одних носках, по комнате. Строгий старик невольно улыбался: перед ним вживе воскресала сцена, до которой он дошел в дневнике своем. Он видит перед собою в судорогах отчаяния валяющуюся старушку Омнепотенскую, которую он слушал когда-то, так же расхаживая по этой самой комнате, а его жена слушала ее, тихо плача и приговаривая: “помоги ей, отец протопоп! помоги, ради милости Божией!”

– Чем? Чем помочь и в чем помочь? – спрашивает, останавливаясь на минуту перед женою, отец протопоп.

– Как чем помочь? Ты все знаешь, чем помочь. Ты слышишь, она говорит, он испорчен, – убеждает мужа Наталья Николаевна.

– Испорчен, отец протопоп, испорчен, – лепечет, обтирая покрасневшее от слез лицо, просвирня Омнепотенская.

– Кем? Кем, бедная вдова, испорчен он, бесноватый сын твой?

– Злыми людьми, отец протопоп, испорчен.

– Злыми людьми? Гм! Да, я с тобою согласен, его испортили злые люди.

– Да как же: дайте, говорит, мне его, маменька, сейчас, или я сам удавлюсь.

– Боже мой! – произнес, рассмеявшись, Туберозов.

– Или же, говорит, пойду на кладбище и...

– И что такое? – спросил протопоп, остановясь перед внезапно умолкнувшей просвирней.

– Или... что даже страшно сказать, отец протопоп...

– Говори, полицейских нет здесь.

– Или, говорит, я на кладбище другого мертвого человека отрою и домой возьму.

– Ах, скотина какая! – воскликнул Туберозов.

– Или...

– Или еще что? Какое же еще хуже этого или может быть?

– Или... я, говорит...

Вдова замолчала.

– Да ну, говори, если пришла за тем, чтоб говорить! – громко крикнул Туберозов.

Вдова вздрогнула и быстро пролепетала:

– Или я, говорит, первого встречного человека убью и отделаю...

Туберозов плюнул, сел к окну и отвернулся; а старушка все торочит Наталье Николаевне о своих несчастьях с сыном.

– Конечно, – говорила она, – любя Варнашу, я указала ему, где зарыла кости, и он достал их и успокоился, но я теперь, матушка, сама как между двух разбойников распята. Одного зарюю, другой мучит: “подай ему этого”. А дала отрыть, тот ночью приходит, стучится надо мною костями: “зачем, говорит, ты, подлая женщина, это сделала”. Прошу сына: “погребем его!” Ссора. Прошу, пойдем, Варнаша, в Оптину пустынь, ты испорчен, что тебя к мертвому манит, – и в монастырь не хочет...

Божедомы. Николай Семенович Лесков Teskovniko1ai.ru

– Не в монастырь, не в монастырь, вдова, а в сумасшедший дом справь своего сына!
– отзывается сердитый отец Савелий, а женщины все пристают к нему: помоги, да помоги, отец протопоп.

– Отчитайте его, – говорит бедная просвирня.

– Иди, иди, бедняга, в дом свой. Не от чего его отчитывать.

Грустная вдова идет к отцу Захарии, и идет не одна, идет в сопровождении разболевшейся за нее душой Натальи Николавны.

Наталья Николавна, увидя ее, даже сделала мужу легкую пику, сказав, что то же самое, что может сделать отец протопоп, может сделать и отец Захария, как человек заведомо святой жизни. Отец протопоп не обратил на это никакого внимания, но гнев его все усиливается, и он вслед за женою и просвирнею сам идет к отцу Захарии, чтобы взятый врасплох старик не сделал какой-нибудь несообразности. Но только что отец протопоп поравнялся с окнами Бенефисова, как слышит голос Захарии, который решительно объявляет: “нет, нет, и не просите меня! Это дело такое, что требует самостоятельности. Да-с, это дело самостоятельности требует, а потому я без отца протопопа ничего не могу, да-с, я не могу-с, не могу”.

Отец Савелий взшел в дом и, обратясь к плачущей просвирне, сказал:

– Жаль мне тебя, бедная, и очень мне жаль тебя. Не будет тебе в твоём дураке сыне ни друга, ни кормильца; но если всенепременно ты хочешь его отчитывать, – согласен попытаться, но не возгнушаешься ли ты мерой моей?

– Мне ли чем, в такой горести моей, отец протопоп, возгнушаться! – отвечала просвирня.

– Ну, так я теперь твою мысль одобряю: давай, будем его отчитывать. Ну, а если он не дастся, согласна ли ты его связать?

– Согласна, отец протопоп; согласна!

– Ну, так и еще раз, твою решимость одобряю и на веревку тебе дам.

– Так-с, – отвечала, кивая своею старушечьею головою, просвирня.

– А книг и свечей не нужно.

– Так-с, – опять кивала старуха.

– А купи ты две свежие метлы, только гляди, чтоб свежие, либо еще лучше – пару кнутьев хороших.

– Так-с, отец протопоп.

– Да вот отца Захарию еще со мною пригласи.

– Прошу вас, отец Захария.

– Да, либо еще лучше, чем его беспокоить, ты дьякона Ахиллу кликни.

– И его кликну, отец протопоп.

– А двери и окна запри.

– Двери запру.

– Вот я тогда и приду к тебе, да и отчитаю его.

– Так-с.

– Кнутом-то, понимаешь?

– Понимаю, отец протопоп.

– Ну, вот и все. Потому это в нем дух дурости, а сей из таковых, как твой сын, наилучше кнутах изгоняется.

– А, может быть, отец протопоп, повременить еще?

– Пожалуй, это твое дело, повремени, – отвечал отец Савелий, и бедная просвирня с тех пор все временила, все боялась напоминать Туберозову об отчитываньи. Но Туберозов помнил сам это дело и не раз говорил просвирне: ты напрасно, вдова, медлишь; ты мне поверь, что он сего не минет, нет, он сего не минет.

Да и ни Туберозов, и никто другой не могли забыть об Омнепотенском и его мертвецке, с которым он постоянно демонстрировал, которого у него несколько раз крапа и хоронила его мать, но которого он снова доставал из земли и снова выставлял на вид, на окно. Мучения старушки Омнепотенской были уже известны всему городу, и отец протопоп волей и неволей беспрестанно получал самоаккуратнейшие сведения об этой печальной вдовице и о терзаниях, претерпеваемых ею от хранимого сыном скелета. И справедливость требует сказать, что не одна Омнепотенская страдала от юродства сына своего, – страдал от него, может быть и еще более, отец Савелий. Несмотря на то, что он не совсем близко жил от Омнепотенских и с давнего времени избегал всякой встречи и всяких бесед с вольнодумным учителем, – история с мертвецом не давала ему никакого покоя.

– Это так глупо, что глупоте этого и меры нет; но отчего же это такая глупость так возможна? Отчего в этом, а не в другом роде начинают приходить глупости нашим дуракам? отчего у людей естественные науки, а у нас шкелет да лягушка? Наше ли это, родное, русское ли? Да, как будто есть в этом нечто наше, нечто родное, нечто русское, поражающее своею дикостью, своим цинизмом. И до каких это пределов самой пошлой непосредственности?

Отцу Савелью припоминается, как он семинарским студентом едет в гости, где ему сватали невесту. Мордовская тройка маленьких лошадок славно чешет бодрою и спорой рысцою; сват, пожилой поп, родной дядя Савелия, весело разговаривает с студентом, как вдруг из-за леса вспрыгнула серая тучка, всего в совиное крыло, и ринулся с ожесточением дождь, какого не знавал и сам Язон в Колхиде.

– Ух, теперь ручей вздует; ух, разольет его, так что трудно будет нам, брат Василий, и на гать попасть, – говорит сват мокрому ямщику.

– А ничего, бачка Егор, ничего, – отвечает ямщик, – мы трапим.

Песчаный пригорок; поднялись на него легко, – мокрый песок не осыпает колеса; потные лошадки вздрогнули и еще повеселели после свежего душа; солнышко выглянуло и на хорошо знакомом месте озарило новую и совершенно незнакомую картину. Здесь, между вековыми лесами, была зыбучим желтым песком засыпанная лощина, некогда русло великой реки, ныне просто песчаная котловина, по которой тихо бежит мелководный ручей. На ручье была ветхая гатка, а за гаткою снова дорога, сначала песками, а после лесом. Теперь ничего этого не было: в полчаса масса упавшей с неба воды обратила всю лощину в сердито ревущую мутную реку.

– Мы не переедем, Василий, – говорит ямщику сват Туберозова.

– Нет, ничего, бачка, переедем, – отвечает, дергая вожжами и направляя в воду свою тройку, мужичонко.

– Ты не потрафишь на гать, и мы на ручье окунемся.

– Нет, как, бачка, не трапить, я траплю, – и с этим мужик перекрестился.

Лошади идут по колена, идут по голени, идут по самым брюхам – и вдруг все нырнуло, и только замелькала верхушка дуги, да прядут над водою конские уши.

Василий не тратил на гатку, но привычные ко всяким невзгодам лошадки, слава Богу, кое-как перебились через мутный поток и стали об-он-пол.

И ямщик, и седоки были в полном недоумении, как это все случилось: как их занесло в беду и как из нее вынесло. Никто никого не винил, никто не думал ни с кого взыскивать, но ямщик, прежде чем произнести хоть одно слово, переехавши,

Божедомы. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru
приподнялся с облучка, достал из под себя сверток в тряпице, вывернул из этой тряпицы грубую деревянную куколку, положил ее на тележную грядку и, придерживая левую рукою за головку, правую начал бить ее волжанковым кнутовищем. Сухой звук ударов сухой волжанковой палочки по спине сухой же деревянной куклы звонко раздавался над водою, а ямщик все сечет и сечет свою куклу, но наконец устал он этим заниматься или ему это надоело, только он взял кнутовище подмышку, а куклу ткнул снова в тряпицу, снова же бросил ее под себя и снова поехал, как бы сделавши дело, до совершения которого нельзя было продолжать дороги.

– Это что же ты делал? – спрашивает мордвина любопытный Туберозов.

– А!.. я-то, что ль?

– Да.

– А я его наказал.

– Кого наказал?

– А бурхана наказал, – зачем он меня на мост не берег.

– Это что же такое? – спрашивает Туберозов своего спутника. – Ведь его же зовут Василий?

– Да, Василий.

– Он христианин?

– Да, в церковь ходит.

– И крещен?

– И крещен.

– А бурхана под собой возит?

– А что ж ты с ними поделаешь! Видишь, ему с бурханом-то ловчее считаться, – отвечает, смеясь, спутник.

Идут перед Туберозовым другие годы, и он видит себя в рясе, в эпитрахили, с крестом в руке, перед ним сидит тяжело окованный цепями мужик кошун и святотатец. Он обворовал церковь, но ему мало было обворовать ее: он сорвал покров с алтаря и надругался над ним.

– Пожалей об этом! – увещевает мужика Туберозов.

– Да ведь что ж жалеть, – не воротишь, – отвечает спокойно мужик.

– Зачем тебе было ругаться над святынею храма?

– Да я не ругался.

– А как же пришла к тебе эта мысль?

– А так, чтобы почудить.

Опять и другая пора.

Стоит Туберозов пред женщиной, полною сил, с красой замечательной и только лишь теперь временно обезображенной припадком исступленного гнева. Смотреть на нее страшно, подойти к ней невозможно, и отец Туберозов призван для того, чтобы заставить в ней зазвучать хотя одну человеческую ноту, вместо бушующего в ней целого аккорда нот зверских. Это молодая мать, у которой в этот день умер ее сын-первенец, ее кумир, ее надежда и опора. Она молилась за него, не вставая с колен, трое суток, и он умер... Столь недавно глубоко веровавшая женщина схватила из киота образ, которому молилась, кинула его на пол и стоит над ним в исступленном безумии. Первое слово, которым ее удаётся вывести из ее столбнякового состояния, заставляет ее увеличивать свои кошунства.

Голод в народе. Совсем уж другая картина всеобщего бедствия. Зимой одна мать сварила для своих пятерых детей шестого, и сама удавилась. Весной люди ходят, как тени. Пышные нивы и радуют и заставляют содрогаться. Прежде чем выходящая тучка разрешится дождем, сердце изболевает, не ударила б она градом. Отощавший мужик стал суров и суеверен: злые люди пользуются его суеверием. Городских купцов, грабивших народ голодной зимой, заменяет свой брат крестьянин и эксплуатирует мирской страх и невежество. Нет деревни, где бы словно из-под земли не вырос злостный знахарь. Колдуют старики, колдуют старухи, колдуют отпускные солдаты. Пук связанных на поле колосьев заставляет дрожать и вопить целые села.

– Залом заломлен! Залом! – вопиют люди, метаясь отыскивать другого колдуна, способного разрушить злые чары, и находят того же, кто завязал пучок колосьев; платят ему последние шелеги, а завтра на другом конце поля другой такой же пучок, другой залом!

Шарлатан старается превзойти шарлатана: один развязывает залом, стоя на вырытом из могилы кресте, другой требует, чтобы для него украли священническую ризу, и надевает ее на себя наыворот; третий попирает ногами самый божественный лик. Кто всех дерзче в оскорблении почитаемых народом святынь, тот становится всех авторитетнее у этого же самого народа!

Благочинный Савелий ничего не доносит. Он ездит из села в село; он говорит, беседует, увещевает; он сам идет в поля и разламывает устрашающие всех заломы; под его надзором, без всяких шарлатанств, с одною кроткою молитвою: “Боже, отпусти им!” разламывают эти заломы приходские попы, и, разломив их, сами они, конечно, остаются невредимыми; но и неавторитетными. Честный Савелий с своею духовною братией не может победить бесчестной толпы непосвященных разрушителей чар.

– Отчего вы вашего отца Ивана не просите развязывать ваши пустые заломы? – спрашивает Савелий.

– Батюшка, он в этом деле не действует.

– Вы попробуйте.

– Боязно, батюшка, боязно: мы изголодались. Он, вон, лен бабы сеяли по полю, да его-то отца Ивана покувыркали, а ничего не помоглось от него, – лен, почитай, весь безголовый.

– Отец Иван! Зачем же ты это позволяешь себе кувыркаться по полю? Прилично это тебе? – говорит с укором Туберозов.

– Благочинный! – восклицает нервно отец Иван и, вместо всяких оправданий, ударяя себя рукою в грудь, сквозь слезы оканчивает: – мне с детьми есть нечего!

“И передо всем этим оказался бессилён!” – шепчет, останавливаясь и прижимаясь в полутемный угол, Туберозов.

И раскрытая на столе демикотоновая книга его ему представляется пустяком и все написанное в ней недостойным ни одного его вздоха, ни минутного внимания его, ни помышления. “Где же ты, дело прямое: дело света и любви? Что сделано для тебя, и кто на Руси враг твой?..

Отчего, если модный мирской философ Конт признает необходимость трех эпох в жизни народов и эпоху высшей религии необходимою и правильною предшественницею эпохи разума, – отчего же мы от бурханов и заломов прямо рвемся к шкелетам? Кому это выгодно совсем оставить Русь без совершеннейшей из религий? Так ли шла Англия, так ли шли немцы и французы? Отчего там везде заметна постепенность, а у нас роковая случайность?..

Случайно сие или причинно? Нет! Все сие причинно, и все сии причины в одной горсти. В нас ли, в нашем ли малом улье что-либо сие начинается? Нет! там оно далеко, там затыкается эта основа. Есть некто, понявший нас до обнажения, до шкелета, и сей некто жаждет срама нашего и погибели. Рим! Мстительный Рим! Тебе не удалось нас сделать своими одною хитростью, и ты насылаешь на нас другую,

дабы мы погибли с шумом сами, и ты на неверии нашем уловишь тогда смущенные души. Кто мог втолковать такое, что шкелеты и кости Варнавы – наука? Отчего великие силы естествознания обращены лишь у нас одних в одно шутовство и отчего у нас одних безнравственность ставится превыше нравственности, и люди, природы человеческой лишенные, ставятся в образцы?..”

Старый протопоп не сходит с места и все крепче и крепче жметя в свой уголок, со страхом глядя в темную даль за окно. Во взгляде его отражается недоумение и ужас, сжимающаяся его большая фигура выражает бессилие. Его преследует страшное привидение: против него вдали стоит тот некто, тот темнолицый, которого он боится назвать себе. Как воины польские видели некогда на темных небесах блестящие контуры лавры св. Сергия, так поп Савелий видит перед собою темные муры кляштора. Это Полоцк. Из-за высоких стен кляштора Савелий замечает темные зраки, и вот отделяется “он, темнолицый”. Это малая фигура с огромной, заостренной кверху головою и с глазами, опущенными в землю. Фигура эта идет робким, осторожным шагом: Савелий знает, что это иезуит Грубер. Он знает это, и он боится это выговорить, потому что он сам не уверен, здорова ли голова его, когда он видит этот устрашающий его образ. В виду этого темного лица, Савелием овладевает мгновенный страх и бессилие. Ему ужасен и путь, и сидение его, и востание: он страшен ему, варящий шоколад Императору Павлу; ужасен, облегчающий зубную боль Императрицы; он ему нестерпим, мстящий врагам своим. Перед ним падает все... Савелий оглядывается на себя и мысленно восклицает: – И я ли! и я ли возмогу что, когда ему нужно сделать Русь глупее всех на земле и когда к сему дома у нас ему столько поборающих!.. Савелий видит светлейшего князя Тавриды; слышит его насмешки и глумленья над русскою церковью; видит его пожимающим руки иезуитов; видит толпы таких же светлых вельмож, подражающих в этом светлейшему, и видит себя столь в мале поставленного, что вочию перед ним совершается только нечто мелкое, одни мелкие вздоры мелкого Варнавы. Бороться ли с сим, что смеха и презрения достойно? Но достойно ли оно презрения, если оно не само, не на своих ногах стоит, а если и сей Варнава и его совместники, все суть невинные, глупые рабы интриги коварнейшей и злейшей? Если это все великая махинация заполнить Русь ее собственными глупцами и склонить ее к потере чувств и разума?

“Да; это так, – написал, быстро подойдя к столу и быстро схватив свое перо, протоиерей Туберозов. – Это не случайно: это они сеют и слепоту там, и глупость здесь, и неверие повсюду. Сомневаюсь отныне в силе своего противостояния сему и отныне верю, что раскол, который гнал я, есть сила некая и вправду политическая. Народ, смущаемый неверием и материализмом, снова мчится к нему в объятия, и он начинает делать дело политическое. Он загорнет в свои объятия темный народ и не даст его русским рабам польских иезуитов. Вдова деевская, невестка Платонида, пропадавшая двадцать лет, ныне возвратилась. Сегодня я узнал от Пизонского, что она поселилась в малой пещерке, в горе, в Корольковом верху, и много крещенного народа идет к ней и крестится снова. У них деньги, у них вера, чарующая надежды человеческие, у них братская помощь, а у благородий моих наглость и безверие без разума; а у меня оное “молчи!” и Варнава и в смех приводящая борьба с ним. Сегодня вечером известился я через мать Варнавкину, что он хочет читать некие лекции публичные над своими костями. Что он может читать такое? Ахилла взялся сему противодействовать, но как он сие сделает? Что это такое? К каким средствам мы, в мале поставленные, прибегать должны? Должны ли мы спешить на новое себя осмеяние, или, возверзя печаль свою на Бога своего, видеть хитрости врагов его?

Не занотовано мною своевременно, что записка моя о быте духовенства, наконец, возымела значение. Весь почти апрель месяц пробыл я по сему делу в губернии. Был туда приглашен к совещанию о сем предмете как автор сочинения своего. Нападает на меня боязнь, чтобы все это не повернулось снова до облак ногами, а вниз головой. Записка моя во многом апробована и, может быть, составит нечто не малозначительное в общем мнении, которое на сей предмет выработается. Но к чему теперь все сии мнения, буде на осуществление их нужно столько же времени, сколько нужно было той записке, чтобы пройти под землю и выявиться? К чему сие улучшение быта нашего, если новое поколение и нужды-то в быте нашем признавать не захочет? неподвижный раскол неким образом нас прогрессивнее. Со многими, и с весьма многими я был уверен, что сила его в гонении, на него воздвигаемом. Оказалось, что главная сила его кроется инуде. Его батьки и распопы столь же народнее нас, сколь мы их официальнее. Гонения, волею царствующего Монарха, к чести царствования его и к славе времени, престали, а успех раскола вочию идет и идет. Видимым делом целые села пристают к нему; церковные на дух ходят ради близира, “страха ради иерейского”, и во многих начинается забота открыто просить о дозволении принять старую веру, с объяснением притом, что новая была содержима

Божедомы. Николай Семенович Лесков Teskovniko1ai.ru

неискренно, а противодействия сему никакого, да еще сие и за лучшее разуместь должно, ибо, как станут опять противодействовать вере полициию, то будет последняя вещь горше первой. В день первого чтения записки моею, отец Троицкий объявил, что владыко оскорблены известием каменского благочинного, что по селу Великой Радогощи во все семь седмиц поста было из двух тысяч душ на духу всего двадцать семь человек, и то из своих же дьячковских семейств. Я сам молчу только о том, что у себя под рукою вижу. В газетах прочел пустословное радование, по случаю того, что заграничные наши попы, две, не то три штуки католических патеров привлекли в православное священство. Чего ради трата сия миру бысть? – спросил бы. Или не мнится ли кому, яко бы у нас своих мало, или яко бы сим вера наша торжествует? А сего вот, что народ целыми массами к расколу отхлывивает, сего не видят; а сего, что наши баре доброй волей целыми семьями католичатся, то и сим оные заграничники не похваляются. Я сам у Плодомасова католический молитвенник видел; ксендз Збышевский у него в ласках, и ко мне и к отцу Захарию у него вдруг настало внимание несказанное... Вниманье то я брал за истину, но ныне опасаясь, что это марево в пустыне аравийской, что в нем лишь утомленный долгожданьем взор мой видит озер и рек желанных очертанье... А тут... В корень... в самую подпочву спущены мутные потоки безверия: не лев рычит, а шакалка подлая щекает... Плюнуть на сего Омнепотенского или обличить и изгнать его? Я это могу, но сомнение обдерживает меня: достойны ли столь ничтожные люди внимания? Можно ли подобных тварей назвать врагами Божиими?.. Господь, над стариком твоим умиласердись: я стар, я уж тупею разумом и становлюсь труслив. Быть может, мне это с трусости моей все кажется, что нам повсюду расставлены ехидство, ковы, сети; что на погубление Руси где-то слагаются цифровые универсалы... что мы в тяготе очес проспали пробуждение Руси... и вот она встала, и бредет, куда попало... и гласа нашего не слушает, зане гласа нашего не ведает... Так все сбирался я, старик, увидеть некое торжество, дожидаться, что вечер дней моих будет яснее утра, и чаяний сих полный сидел, ряды годов, у великой купели, неустанно чающе ангела, который снизойдет возмутить воду сию и... скажи ми, Господи, когда будет сие? Мой Ахилла в простоте сердца, а преезвительно сказал, что вера наша в Польше называется холопскою, а здесь скоро будет называться форменною, а партикулярно одни пойдут в раскол, другие – в католичество. Дьякон мой все равно, что младенец, но каюсь перед вами, умные люди: и я этого боюсь. Я этого трепещу; я содрогаюсь, что это возможно; я содрогаюсь, что о сем в России уже говорить возможно. Увидав недавно у Плодомасова номер французской газеты “Union Chrétienne”, [8] что французам наше православие втолковывает, я поначалу улыбнулся, но слова Ахиллы вспомнив, прислонился лбом к оконному стеклу, дабы слез моих не видно было, и плакался о сем горько. Пиши, друже! пиши, витиеватый заграничник, свой “Union”, а мы, простецы-гречкоеды, станем оплакивать великую рознь нашу. Униона твоего я не прочел, ибо без дикционера ныне сего и не одолел бы; но все-таки мню, что пишешь ты изрядно, ибо из глаз моих писание твое, одним видом своим, исторгло целые потоки слез. Одной услуги от такого Униона чаяя я, что хоть могу его листом закрыть мои слезы от ксендза Збышевского, но и в сем лист твой оказался несостоятельным: слеза моя, капнув на него, прососала его насквозь, на ту сторону, с которой смотрели на него ксендзовские очи”.

Отец Савелий поставил точку, засыпал страницу песком и, тихо ступая ногами, обутыми в одни носки, начал ходить по полу, стараясь ни малейшим звуком не потревожить сна протопопицы. Он приподнял шторку у окна и, поглядев за реку, увидел, что небо закрыто черными тучами и каплют редкие капли дождя.

На темном небе порою реяли безгромные молоньи.

Савелий набожно перекрестился: это был дождь, прошеный и моленый им прошедшим днем на мирском молебне. В этом дожде старик видел как бы знамение, что БОГ его еще слушает, и он, не отходя от окна, тут же склонился головою на руку и уснул, убаюканный сильно разошедшимся дождем.

Между тем дождь кончился; ночное небо очистилось, и начинается день св. Мефодия Песношского, день, которому Ахилла придавал великое значение, велел матери протопопице записать у себя на память.

VI

Солнце встало по обыкновению рано, и в то время, пока оно умывалось за дымящимся в тумане бором, золотые стрелы его лучей остро вытягивались из-за леса. Легкий туман всполохнулся над рекою и пополоз вверх по скалистому берегу; под мостом он клубится, как дым куренья, и липнет около черных и мокрых свай. Из-под этого тумана синееет бакша Пизонского и виднеется белая полоса шоссе. На всем еще

Божедомы. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru
полусвет, полутьма.

Отец протопоп спит, положив голову на руки, брошенные на подоконник, и нигде, ни внутри домов, ни снаружи не заметно еще никакого пробуждения.

Но вот на самом верху крутой нагорной стороны Старого Города, над узкой Крестовой тропой, что ведет по уступам кремнистого обрыва к реке, очерчиваются контуры весьма странной группы. При слабом освещении, при котором появляется эта группа, в ней есть что-то фантастическое. Посередине ее стоит человек, с плеч до пяток покрытый длинным хитоном, слегка схваченным в опоясье. Фигура эта неизвестно когда появилась и стоит неподвижно.

Суеверный человек может подумать, что это старогородский домовый, пришедший повздыхать над городом за час до его пробуждения.

Рассвет, все яснеющий с каждым мгновением, позволяет, однако, видеть, что это не домовый, не дух, хотя и что-то все-таки не обыкновенное, не обыденное и близкое к сверхъестественному. Теперь мы видим, что эта фигура стоит с руками, опущенными в карманы. Из одного из этих карманов торчит очень длинный прут, с надвязанной на его конце пращой или рыболовной лесью, – из другого на четырех бичевах спускается палица. Так можно, пожалуй, подумать, что это не домовый, а забытый здесь языческий кумир. Но вот шелхнул ветерок, тихую рябью сверкнуло по речке, закачалась береза за соборной оградой, и пустые складки широких покровов статуи задвигались тихо и тихо открыли тонкие ноги в белых ночных панталонах. В ту же секунду, как обнажились эти тонкие ноги, сзади из-за них неожиданно выставилось четыре руки, принадлежащие двум другим фигурам, скрывавшимся на втором плане. Услужливые руки эти захватили раздутые полы, собрали их и снова обернули ими тонкие, белые ноги кумира. Теперь стоило только взглянуть поприлежнее, и можно было рассмотреть две остальные фигуры. Справа виднелась женщина. Она бросалась в глаза прежде всего непомерной выпуклостью своего чрева, на котором высоко поднималась узкая туника. В руках у этой женщины медный блестящий щит, посередине которого был прикреплен большой пук волос, как будто только что снятых с черепа. С другой стороны, именно слева высокой фигуры, выдавался широкобородый, приземистый, черный дикарь. Под левой рукой у него были орудия пытки и кровавый мешок, из которого свесились книзу две человеческие головы, бледные, лишенные волос и очевидно испустившие последний вздох в пытке. Окрест этих трех ликов веяло воздухом северной саги. Но солнце подпрянуло еще на вершочек – и саги совсем как не бывало: это просто-напросто были люди живые. Они постояли с минуту и двинулись книзу. Шагов десять спустились они, опять стали, и тот, что стоял спереди, тихонько промолвил:

– А смотри, брат Комарь, ведь что-то его и нынче не видно!

– Да и точно, что опять не видать, – отвечал чернобородый Комарь.

– Да ты смотри-то получше.

Комарь воззрился за реку и через секунду опять произнес:

– Что уж смотреть, Воин Васильевич, – не видно!

– А в городе, Господи, тишь-то какая!

– Сонное царство, – заметила тихо фигура, державшая медный щит под рукою.

– Что ты говоришь, филиси? – спросила, не расслышав, худая фигура.

– Сонное царство, – вновь проговорила женщина со щитом.

– Да; сонное царство; но скоро начнут просыпаться. Вот погляди-ка, Комарь, кажется, тот уж бултыхнул оттуда?

фигура кивнула налево к острову, с которого легкий парок подымался и тихо клубился под мостом.

– Бултыхнул и есть, – ответил Комарь, глядя на два тонкие кружка, расширявшиеся по тихой воде.

В центре кружка, тихо качаясь, вертелась зрелая, желтая тыква.

– Скажи ты, как слышно далеко зарею! Ах он, каналья! Опять прежде нас бултыхнул, не дождавшись начальства. А я говорю, слышно-то как далеко?

– Еще по реке особливо.

– Да, по реке очень слышно.

– А вон! Вон, идут уж! – заговорил вдруг Комарь, протянув левую руку по направлению к Заречью.

Все приложили ладони к глазам, и разом все вдруг поглядели за реку.

Там по Заречью, из густой купы верб и ракиты, выступало что-то высокое, покрытое с ног до головы белым саваном: это “что-то” напоминало как нельзя более статую Командора; и словно та статуя медленно двигалась к реке по росной тропинке.

Феб умылся за лесами и на огненной колеснице быстро выкатил на небо; быстрее зашевелился пар; по мосту вдруг потянулись тени нагорных строений; в речке опрокинулись купол собора и кровли домов; сказочный свет улетал, уступая свое место дневному свету. В этом-то свете, весь облитый лучами солнца, в волнах реки показался гигант на могучем вороном коне, который плыл против воды, мощно рассекая ее своею крутою шеей и громко фыркая красными ноздрями.

Все эти пешие лица и плывущий всадник стремятся с разных точек к одному пункту, который, если бы провести от них перекрестные линии, обозначился бы, например, на выдающемся посредине реки большом камне. В первой фигуре, которая так осторожно спускается Крестовой тропой, мы узнаем старогородского городничего Воина Васильевича Порохонцева, отставного ротмистра, длинного, худого добряка, разрешившего в интересах науки Омнепотенскому воспользоваться телом отделанного в скелет утопленника. Тощий городничий представляется нам в самой спокойной, хотя и не в самой приличной одежде. На нем масакового цвета халат шелковый, сшитый попросту из женского платья; на голове остренькая гарусная ермолка; из одного его кармана, где покоится его правая рука, торчит тоненькое кнутовище с навязанным на нем длинным выводным кнутом, а около другого, в который засунута левая рука городничего, тихо покачиваются огромная дочерна закуренная пенковая трубка и сафьянный кисет с беленькими “змеиными головками”.

С левого боку, за плечом у городничего, тихо шагает кучер Комарь, баринов друг, и наперсник, и личарда, давно уже утративший свое крестное имя и от всех называемый Комарем. У Комаря вовсе не было с собой ни орудий пыталных, ни двух мертвых голов, ни мешка из испачканной кровью холстины: нес он подмышкой скамейку, старенький стриженный коврик тюменской работы да пару бычачьих туго надутых пузырей, связанных крепко друг с другом суконной покрывкой.

Третий лик, за четверть часа столь грозный, с медным щитом под рукою, теперь предстает нам в самой скромнейшей фигуре жены Комаря. “Мать Фелисата” – так ее звали на дворе – была обременена ношей довольно тяжелой, но вся эта ноша никак не подходила б для битвы. Прежде всего Комарева жена несла свое чрево, в котором, для одной ее слышно, тихо вертелся будущий сын Комаря; потом под рукою у нее был ярко заблиставший на солнце медный таз, а в том тазе мочалка; в мочалке суконная рукавичка, а в суконной рукавичке кусочек канфарного мыла; а на голове у нее лежала вчетверо сложенная белая простыня.

Весь ансамбль самого тихого свойства.

Под белым покровом шедшая тихо с Заречья фигура тоже вдруг потеряла свою грандиозность, а с нею и поступь и подобие свое с Командором. Это шел человек в сапогах из такой точно кожи, в какую обута нога каждого смертного, носящего обувь. Шел он спокойно, покрытый до пят простынею, и когда, подойдя к реке, сбросил ее на траву, то в нем просто-напросто представился лекарь Пуговкин. В кучерявом голом всаднике, плывущем на вороном долгогривом коне, узнается дьякон Ахилла, и даже еле мелькающая в мелкой ряби струй тыква принимает нечто образное: на ней обозначаются два кроткие голубые глаза и сломанный кривой нос. Ясно, что это не тыква, а лысая голова Константина Пизонского, тело которого скрывается в свежей влаге.

Божедомы. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru

Перед нами стягивается на свое урочное место компания старогородских купальщиков, обыкновенно встречающих здесь таким образом каждое утро погожего летнего дня. Лекарь Пуговкин, первый сбросив с себя простыню, сбросил с себя через минуту и второй покров свой, серпянковую сорочку, и, разбежавшись, прямо бросился кувырком в реку и поплыл к большому, широкому камню, который на один фут над водой возвышался на самой середине реки. Этот камень действительно был центром их сборища. Он издавна звался Голомысом.

Лекарь в несколько взмахов переплыл пространство, отделявшее его от Голомыса, вскочил на гладкую площадь камня и захохотал.

– Чего? – крикнул ему городничий.

– Того же самого, – отвечал лекарь, широко разевая рот и откидывая за уши свои мокрые, русые космы.

– Чего самого?

– Вчерашнего.

Городничий плюнул и в последний раз спустил ногу с крутой крестовой тропы; перешел засыпанный мелкой щебенкой берег и остановился перед водою, тихо протекавшею по мелким камешкам.

– Здорово живешь? – крикнул он голому Пуговкину.

– Очень здорово, как невозможно здоровее, – отвечал с беспечнейшей веселостью лекарь и, показав рукою по направлению к плывущей по реке конной фигуре Ахиллы, вскрикнул: “вот он и фараон!” и опять захохотал самым; заразительным хохотом.

– Вижу, – произнес городничий, к которому в это время подошла Фелисата, распоясала его и, сняв с него халат, оставила в одном белье и пестрой фланелевой фуфайке.

– Гряди, плешиве! – закричал в это время лекарь, болтая по воде ногами.

– Гряду, братец, – отозвался дребезжащий голос, исходивший из тыквы, и в соседство к лекарю подсел приплывший Пизонский.

Лекарь пожал руку дяди Котина и непосредственно засвистал “Хуторочек”. Он сидел на камне, спустя ноги в воду и, подпершись ладонями в бока, спокойно смотрел вниз, как подплывал к ним по дымившейся паром речке Ахилла. ...Но вот у того же места пристал и дьякон. Он соскочил с своего аргамака, сел на край камня, и только что протянул на мгновение свою руку к лекарю, как тот совершенно неожиданно развернулся, дал Ахилле ладонью по затылку весьма серьезную затрещину и опять засвистал свой “Хуторок”.

– Это за что же? – сказал Ахилла, способный скорее сам бить, чем быть битым.

– А за то же, за что и вчера, – не оглядываясь, проговорил лекарь, прерывая свое насвистывание только на такое время, какое нужно, чтобы проговорить эти слова.

– Ведь он тебе, милая, говорил, что он не любит, чтобы его этак трогать! – внушал Ахилле Пизонский.

– Да когда ж у меня такая привычка.

– А ты отвыкай, – отозвался свищущий лекарь.

– Так вот и отвыкнешь сейчас! Дурочка!

– Ну, бит будешь за это!

– Ну, так дурак ты и больше ничего, если ты этим обижаешься! – проговорил дьякон и, развязав шнурочек, которым был подпоясан по голому телу, снял с него конскую скребницу и щетку и начал мыть гриву своего коня, который, гуляя на чембуре, был по самое брюхо в воде и пенил коленами воду.

VII

Между тем на левом берегу, где все еще пребывал медлительный ротмистр Порохонцев, Комарь разостлал ковер, утвердил на нем принесенную скамейку, покачал ее вправо и влево и, убедясь, что она стоит крепко, возгласил:

– Готово–с, Воин Васильевич!

Порохонцев неспешно подошел к скамье, собственноручно пошатал ее несколько раз из стороны в сторону и, еще раз убедясь, что скамья действительно стоит крепко и не повалится, тихо опустился на нее в одном белье. Чуть только барин присел, Комарь взял его сзади под плечи, а Комарева жена, поставив на ковер таз с мочалкой и простыней, принялась разоблачать воинственного градоначальника. Сначала она сняла с Воина Васильевича ермолку, потом вязаную бумажную фуфайку, потом туфли, далее носки, потом, наконец, стала на колени и стащила с него панталоны, а затем осторожно наложила свои ладони на сухие ребра городничего и остановилась, скосив в знак внимания набок свою голову.

– Что? – спросил Порохонцев.

– Пульсы еще, Воин Васильевич, немножко бьются, – отвечала Фелисата.

– Ну; надо подождать, Филиси; а ты, Комарь, бултыхай.

– Да я и то, Воин Васильич, пока бултыхну.

– Ты бултыхай, братец, бултыхай! Ты сплыви разок, да и выйди.

– Не был бы я тогда только, Воин Васильевич, очень скользкий? – и Комарь, улыбнувшись, добавил: – а то опять упадете!

– Ну, вот ври, упаду! Это ты споткнулся, а не я упал. Иди–ка, иди оплыви разок, оплыви, пока я провяну.

Комарь в минуту разделся за спиною своего господина и, бросясь с разбегу в воду, шибко заработал руками.

– Ишь, как плавает твой Комарище! – говорил Порохонцев Фелисате, любясь на ее плавающего мужа.

– Отлично плавает, – отвечала Комариха, по–видимому нимало не стесняясь сама и не стесняя никого из купальщиков своим полом.

Фелисата, бывшая крепостная девушка Порохонцева, давно привыкла быть нянькою своего больного помещика и смотрела на свое присутствие здесь, как на присутствие няньки. Купающиеся здесь мужчины для нее вовсе не были мужчинами, она глядела на них, как глядит на больного парня набожная сельская лекарка. Полы для нее не существовали.

В три минуты Комарь оплыл Голомыс и снова выскочил, подпрыгивая, на берег.

– Ну что, Комарище?

– Что, Воин Васильевич, парное молоко вода.

– Ах, важно, Комарь, важно! Снимай же скорей с меня, Фелисата, рубашку. Стала дура и стоит.

Фелисата сняла с городничего сорочку. Воин Васильевич поднял кверху обе руки и схватил их над головою. Фелисата тотчас приложила руки подмышки Порохонцева и сказала:

– Еще минуточку так постоит, да и можно. Ну, теперь извольте становиться на скамейку.

Городничий осторожно вскарабкался и стал посередине скамьи, а Фелисата крепко опоясала его суконной покрывкой с прикрепленными к ней надутыми воловьими пузырями. Как только эта операция была кончена, голый Комарь подошел к скамье, нагнулся глаголем и, упершись ладонями в колена, проговорил городничему: “Ну,

Божедомы. Николай Семенович Лесков Teskovniko1ai.ru
извольте, Воин Васильич, садиться!” Воин Васильич сел на него верхом и поехал. Ромистр въезжал в воду на Комаре до тех пор, пока вода стала доставать Комарю подмышки, и он, остановясь, объявил барину, что камней уже нет и что он чувствует под ногами песок. Тогда Воин Васильич спрыгнул с его плеч и лег на свои пузыри, а Комарь сильно толкнул его в пятки, и они оба поплыли к Голомысу.

– Воин Васильич, вы все это по-бабьи, – говорил, пловучи с барином, Комарь.

Ротмистр только отвечал: молчи!

– Ей Богу, по-бабьи.

– Молчи!

Они доплыли.

– А кадило? – спросил, усаживаясь на камне, городничий. Комарь бултыхнул снова и вскоре явился с огромною барскою трубкою.

Небольшой камень, возвышающийся над водою ровною и круглою площадью фута в полтора в диаметре, служил теперь помещением для пяти нагих людей, из которых каждый прибыл сюда с континента. Четверо из этих гостей: Порохонцев, Пуговкин, Пизонский и Ахилла, размещались по краям, усевшись друг к другу спинами, а Комарь стоял между ними в узеньком четырехугольничке, образуемом их спинами, и таким положением своим господствовал над группою. Из помещавшихся на этом камне Ахилла и Комарь не сибаритствовали. Ахилла мыл своего коня, а Комарь, как мы уже видели, три раза переплыл пространство, отделяющее Голомыс от берега: раз для того, чтобы определить высоту температуры воды, второй для того, чтобы перевезти сюда своего барина, третий для того, чтобы доставить сюда его трубку. Теперь он стоял в середине группы и намыливал Порохонцеву голову, всячески старясь при этом не пустить ему на лицо ни одной капли мыла.

Прошло несколько минут молчания, и затем городничий, сидя с намыленною головою, спросил:

– А что у нас нового?

– Нового? – отвечал, подернув носом, Пизонский. – Целую ночь с самого вечера, как смерклось, как темно только стало, где-то ниже моста в лозах пара лебедей сели, – и как они всю ночь гоготали! Заря стала заниматься, все они гоготали, и вдруг снялись и двоичкой так и полетели.

– Это, Константин Ионыч, к ссоре, – заметил Пизонскому Комарь, продолжая усердно намыливать баринову голову.

– Нет, это к хорошему дню просто, – подсказал Пизонский.

Комарь запротестовал. Он утверждал, что появление лебедей непременно предвещает ссору, и только в редком случае гостей, и гостей каких-то прилетных, о которых никто и не гадал и не думал.

– Ну уж, вот это, брат, совершенные пустяки ты говоришь, Комарище.

– Ну, как вам будет угодно.

– Вот и сам видишь, что врешь. А ссора, если б только хорошая, это б хорошо бы. А! правда, что ль? Дьякон! Хорошо б было? – новость бы была.

– Да мне что же ваша новость, когда я сам всегда, когда захочу, могу себе сделать новость! – отвечал, разбирая конскую гриву, дьякон.

– А я новость люблю, страшно люблю, – говорил городничий. – Я вчера прочитал газету: везде новости, а у нас сто лет нет никакой новости. Пишут, мужик бабу убил, и убил, говорят, “по свойству своей внутренней конституции”, – вот как расписывают! А у нас тишь, один учитель Варнава за кости с матерью ссорится, и я не знаю даже, по силе ли это его внутренней конституции.

– А оно так, дружок, лучше; гораздо лучше, что тишь-то, – вмешался Пизонский. –

Божедомы. Николай Семенович Лесков Teskovniko1ai.ru

Что нам новости: все у нас есть; погода прекрасная, сидим мы здесь на камушке, никто нас не видит; говорим мы – никто нас не слышит; наги мы – и никто нас не испугает. А придет человек новый, все пойдет разбирать “зачем?” Скажет: зачем они сидят там?

– Спросит: зачем это держат такого городничего, которого баба моет? – подсказал с своей стороны лекарь.

Городничий подпрыгнул и сказал:

– Ах ведь, брат, правда.

Комарь подул себе в губы, улыбнулся и тихо проговорил:

– Скажет: зачем это городничий на Комаре верхом ездит?

– Ах, ах, не говори лучше, Комарище.

– Полюбопытствуют, любопытствуют, что это за кавалерист такой? Что за воин галицкий? – отозвался и кроткий Пизонский, и вслед за тем воздохнул и добавил: – А теперь мы вот сидим, как в раю блаженном. И глянь ты вокруг себя, что мы видим? Сами мы наги, а видим красу: видим лес; видим горы; видим храмы, воды, зелень; вон там выводки утиные под бережком попискивают; вон рыба мелкота целой стаей играет... Аукни ты сила!

Звук этого слова сначала раскатился по реке, потом еще раз перекликнулся на взгорье и наконец втретью несколько гулче отозвался на Заречьи.

Пизонский поднял над своей лысой головой устремленный вверх указательный палец и сказал:

– Тишина эта – сила Господня!

Эхо подхватило и это, и повторило тремя различными тонами.

– Трижды сила Господня тебе отвечает: чего же еще ты желаешь, милушка? – тихо промолвил, ударяя себя по ключицам ладонью, Пизонский. – Чего еще лучше, как жить и окончить в такой тишине? Ты, вон, погляди на нашу бедную просвирилку: как ведь спокойно жила, а вчера опять прибежала и плачет, что мертвые кости ее обижают. Ну вот тебе новость и пала? Поди ты, один раз встревожили эти кости, и вот нет им покоя, и нельзя их управить!

– Ах, да и кстати; я и позабыл: – ну и что же ты, дьякон, сдѣствуешь ты эти кости? – спросил городничий Ахиллу.

– Кости? Нет; где ж мне?.. Нет, я уже сдѣствовал, – отвечал Ахилла.

– Как сдѣствовал? А? Да что ты это нынче солидничаешь?

– Да отчего ж мне не солидничать, когда мне талия моя на то позволяет? – отозвался Ахилла. – Вы с лекарем нагадили, а я ваши глупости исправил, и отлично, и оттого и спокоен.

– Да что же ты сделал?

– Взял Варнавкины кости и зарыл их очень просто – и только. Влез в окошко, сгреб в кулечек и зарыл. И зарыл так, что никто не отыщет. Вот вам и лебеди; вот вам и новость.

– И очень глупая новость, – проговорил лекарь.

– А отчего так глупая?

– А потому, что ты суешься не в свое дело. Человек учится, а ты ему мешаешь.

– Мешаю? Да потому – я власть на это имею и право. Я успокоил всех мертвецов; успокоил мать Варнавкину; успокоил отца Савелья; успокоил его (Ахилла показал на городничего), и просто скажу – водворил спокойствие во всем городе.

– И зато сам ничего не узнаешь.

– Да что мне узнавать-то? Что мне от дурака узнавать-то было? Господи мой, да я сам о себе все отлично знаю.

– Знаешь?

– Да разумеется, знаю. А вот кто у меня их, эти кости, назад украл, если они украдены, – я этого не знаю.

Городничий подпрыгнул и вскричал:

– Как украдены?

– То есть, как тебе сказать, украдены? Я не знаю, украдены они или нет, а только нет их.

– Да ты же сейчас говорил, что ты их схоронил?

– Да я, понимаешь, схоронил, только я боюсь, как я это все неравно во сне сделал.

Городничий начал сердиться и проговорил:

– Да тебя, шута, понять нельзя.

Лекарь залился хохотом, и теперь в свою очередь начал сердиться Ахилла.

– Я, видишь, принес их и положил...

– Ну!

– В телегу ссыпал.

– Ну!

– Хотел, чтобы сегодня утром зарыть.

– Да.

– Ну, и враг меня знает: снилось ли мне, что я их ночью зарывал, а только утром глянул в телегу – одну вот эту косточку нашел.

Дьякон отвязал от скребницы привязанную веревочкой щиколодочную человеческую косточку и спросил:

– Кто ее знает – человеческая это, или так откуда завалилась?

– А ты как думаешь? – спросил лекарь.

– Мне показывается, как будто это человеческий хвостик.

Доктор так и залился:

– Так у тебя, дьякон, стало быть, есть хвостик?

– Что же тут удивительного? Разумеется, есть, – отвечал дьякон. – У всякого человека есть хвостик.

– Покажи, сделай одолжение!

Ахилла обиделся.

– Ну, не хочешь показать хвостика, покажи, где у тебя астрагелюс?

Дьякон посмотрел на лекаря удивленными круглыми глазами и проговорил:

– что-о?

– Где у тебя астрагелюс?

Дьякон еще раз посмотрел лекарю в глаза и, вздохнувши из глубины груди, сказал:

– Бессовестный ты человек, и больше ничего.

– Да ты не увертывайся, что я бессовестный, а покажи мне свой астрагелюс.

– Ну, уж вот после этого ты подлец, – отвечал Ахилла.

– что такое?

– Подлец. После того, как ты смел меня, духовное лицо, такую глупость спросить, – ты больше ничего, как подлец. Разве ты можешь, или позволено тебе духовную особу такую глупость спрашивать – а? Ведь вот я тебе давеча спустил, что ты пошутил со мной, а теперь я вдруг за это слово тебе не спущу, и сейчас лошадь брошу, да окутать тебя начну, – хорошо ли это тебе будет? Я отцу Савелью сказал, что я всю эту вольнодумную гадость, что у нас завелась, выдушу, и я ее выдушу, потому что я уж теперь на это пошел.

– Да пошел-то ты пошел, а ты все-таки покажи мне, где у тебя астрагелюс?

Дьякон вскочил и вскричал:

– Послушай, лекарь, ты после этого мерзавец!

– А где у тебя астрагелюс – все-таки не знаешь, – дразнил лекарь.

– Так ты мне не перестанешь говорить эту мерзость?

– Нет, не перестану.

– А не перестанешь – так пойдем оба в омут! – И с этими словами дьякон схватил одну рукою чембур своего коня, а другою обхватил лекаря и бросился с ним в воду. Они погрузились, выплыли и опять погрузились. Дьякон очевидно не хотел утопить врача: он его подвергал пытке окунанием и, окуная, держал полегоньку к берегу. Но оставшиеся на камне городничий, Комарь и Пизонский, равно как и стоявшая на противоположном берегу фелисата, слыша отчаянные крики лекаря, подумали, что ему приходит последний конец в руках рассвирепевшего Ахиллы, и подняли крик, который, смешиваясь с криком Пуговкина, разбудил множество людей, высунувших в ту же минуту в окна свои заспанные лица и нечесанные головы.

VIII

Крик и шум, поднятый по этому внезапному случаю, пробудил и отца Савелия. Еле вздремнувший часа два, протопоп вскочил, взглянул вокруг себя, взглянул вдаль за реку и еще решительно не мог ничего привести себе в ясность, как под окном у него остановилось щегольское тюльбюри, запряженное кровною серою лошадью.. В тюльбюри сидела молодая дама в черном креповом платье и черной же пасторальке: она правила лошадью сама, а возле нее помещался маленький казачок.

Это была молодая вдова помещица Александра Ивановна Серболова, о которой отец Туберозов с таким теплым сочувствием вспоминал в своем дневнике.

– Отец Савелий! – сказала она. – Я по вашу душу.

– Александра Ивановна, примите дань моего наиглубочайшего почтения! Всегдашняя радость моя, когда я вас вижу. Жена сейчас встанет, позвольте мне просить вас в нашу хибару.

– Нет, я и вас, отец Савелий, попрошу из хибары Утешьте меня: я немножко тоскую.

– Сударыня, время одно утешает глубокие скорби, и благо тому, кому много осталось жить, чтобы время было утешаться.

– Благо тому, мой отец, кто скорбь свою любит и не торопится с нею расстаться. Я не взяла с собой сына, но я бы хотела сегодня поплакать.

– Завтрашний день...

– Год со смерти моего доброго мужа.

– Я это помнил и завтра служил бы.

– Нет, вы отслужите сегодня. Я завтра буду молиться у себя в деревеньке, а нынче, в канун этого дня, дайте мне случай помолиться здесь, перед тем алтарем, где мы венчаны. Теперь час такой ранний...

– Да когда же вы встали, чтобы проехать четырнадцать верст?

– Мне плохо спится: я нетерпелива очень становлюсь, – отвечала улыбнувшись дама и добавила: – я прямо к старушке Омнепотенской. Она ведь иначе обидится, да и я там привыкла у ней. Я зайду к Дарьянову, чтобы он встал и пришел бы со мной помолиться о старом товарище и друге его и моем, умоюсь и через час уже буду в соборе. Позвольте?

– Сделайте милость! – отвечал Туберозов.

Серболова благодарно кивнула ему головою, ослабила возжи, и легкий экипажец ее понесся. Отец Савелий начал спешно делать свой всегда тщательно содержимый туалет, послал девочку велеть ударить к заутрени и велел забежать за Ахиллой, а сам стал перед кивотом на правило.

Через полчаса раздался удар соборного колокола, и через несколько минут позже и девочка возвратилась, но возвратилась с известием, что дьякона Ахиллы нет нигде и что где он – никому не известно.

Ждать было некогда, и отец Туберозов, взяв свою трость с надписью “жезл Ааронов расцвел”, вышел из дому и направился к собору.

Чуть только протопоп скрылся из глаз провожавшей его протопопицы, глазам ее предстал дьякон Ахилла. Он был, что называется, вне себя.

– Матушка! – воскликнул он. – Все, что я вчера говорил и чему радовался, – вышло вздор.

– Ну, я так тебе и говорила, – отвечала Наталья Николаевна, припоминая нечто из вчерашнего рассказа Ахиллы.

– Не то это-с; но почему? – разъяснял дьякон. – Я вчера этого сваренного человека останки выкрал в окно и хотел погребсти, и в кульке снес их к себе и во сне погребал их; но теперь... Помилуйте, что же это такое? – я днесь поглядел, а его уже нету, но я был еще под сомнением, что ночью его схоронил; но бросился вот прямо с купанья к Варнаве: окошки закрыты болтами, а в щелочку вижу – опять, опять он, обваренный этот, весь целиком на крючочке висит!.. Где отец протопоп?

Наталья Николаевна послала дьякона вслед за отцом протопопом.

Шагистый Ахилла догнал отца Туберозова на полудороге и рассказал ему свое похищение костяка из дома учителя Омнепотенского и позднейшее исчезновение этого костяка с собственного его двора.

– Отец Савелий, ведь это что ж – значит есть люди, которые нами потешаются? – вопрошал, идучи с боку Туберозова, дьякон Ахилла.

– Да, брат дьякон, есть люди, которые нами потешаются, – отвечал, думая совершенно о другом, отец Туберозов.

– И это несносно!

– Несносно, диакон, тем, что должно сносить.

– Почему – спрошу – отец Савелий?

– Потому, друг, дабы больше и больше чрез всякий шаг горячий бессилием своим еще

Божедомы. Николай Семенович Лесков Teskovniko1ai.ru
большого смеха достойными не становятся.

– О, нет; я этого, отец протопоп, никогда не помышляю; но как я сегодня расстроен, то я чувствую, что я теперь никому ничего не спущу. Я сегодня, отец протопоп, вскипел на нашего лекаря. Потому я расстроен был, хватясь, что человека у меня назад украли. А тут опять потемнение это, что точно украли, или я схоронил, да запомятовал, а эта кость ошибкою одна в телеге осталась. (Дьякон вынул из кармана и показал известную нам небольшую желтую косточку.) Я зол и не знаю, хоронил я его или во сне это видел, а лекарь... вдруг... Ведь этакая, отец протопоп, наглость...

Дьякон пригнулся к уху отца Савелия и что-то шепнул ему; но как отец Савелий всходил в это время на ступени собора и был несколько впереди Ахиллы, то он шепота дьякона не расслышал и, взойдя на крыльцо, переспросил его:

– Что такое он сказал тебе?

– Покажи, говорит, где у тебя астрагелюс? – проговорил обиженным полуголосом дьякон.

– Ну, ты бы ему и показал?

– Что это такое?

– Да астрагелюс.

Дьякон сделал шаг назад и в изумлении проговорил:

– Что это вы, отец протопоп! Не ожидал.

– Да чего не ожидал-то?

– Слов этих от вас не ожидал. Астрагелюс показать...

– Шут ты! Да что это астрагелюс?

– Я понимаю, отец протопоп, что вы это в насмешку; но все-таки...

– Да в какую насмешку? Это вот эта щиколодочная кость, что у тебя в руке, называется по-латыни астрагелюс.

– Кость! – воскликнул, ударив себя в лоб, дьякон.

– Ну, да.

– Щиколодочная кость!

– Ну, да же. Ну, да.

– А ведь я его двадцать семь раз окунул, за дерзость это считая! Ах я глупец после этого!

– Неоспоримый, брат, глупец, – утвердил без гнева Туберозов и вошел в притвор, где в углу стояла на коленях и молилась Серболова, а на погребальных носилках сидел, сбивая щелчками пыль с своих панталон, Омнепотенский.

Лицо учителя было весело; он глядел с наглостью в глаза протопопу и дьякону и улыбался.

Он очевидно слышал если не весь разговор, который они вели на сходах храма, то по крайней мере последние слова их.

Но зачем, как и с какого повода появляется здесь учитель Омнепотенский, никогда не накладывавший своей ноги в церковь? – Это удивляет и Ахиллу и даже самого Туберозова, с тою лишь разницею, что Ахилла не может отрешиться от той мысли: зачем здесь Омнепотенский, а чинный Савелий выбросил эту мысль вон из головы тотчас, как перед ним запахнулись двери, открывающие алтарь, которому он привык предстоять со страхом и трепетом.

Отпета и скорбная служба. Серболова и ее дальний кузен, старогородский молодой судья Дарьянов, напились у отца Савелия чаю и ушли: Дарьянов в суд, а Серболова к старушке Омнепотенской. Серболова уезжает домой под вечер, когда схлынет солнечный жар. Она теперь хочет отдохнуть. Дарьянов придет к ней обедать в домик старушки Омнепотенской; а отец Туберозов попозже назвался прийти выпить чаю и проводить свою любимейшую духовную дочь.

Где же Ахилла и где Омнепотенский? Учитель исчез из церкви, как только началась служба, а диакон бежал тотчас, окончив ее. Отцу Савелию так и кажется, что эти два рыцаря где-нибудь гонят друг друга, и он уж очень не рад, что Ахилла взялся быть этаким стратигом. Но отец Туберозов устал от бессонной ночи и от тревог своих мысленных и ложится вздремнуть до предстоящей ему прогулки к Серболовой в дом Омнепотенских.

Часть вторая

Отсталые

I

В те самые часы, когда отцу Савелию Туберозову было так немощно, а судье Дарьянову так недужно от их диалога на прогулке, люди, собравшиеся в доме акцизного чиновника Бизюкина, чувствовали себя превосходно. Здесь был не пир, не бал и не заседание, а аримафейский вечер: здесь были друзья, вполне единомышленные, вполне собою довольные, и притом друзья, обрадованные общою радостью до восхищения.

За исключением Омнепотенского, которого мы уже видели, здесь все люди знакомые нам только по слуху, и потому нам необходимо взглянуть в их физиономии. Кроме Омнепотенского, здесь три лица: хозяин, хозяйка и жена Дарьянова Мелания, или Маланья. Важней, видней и представительней всех здесь сам акцизный чиновник. Он как нельзя более репрезентует либеральное ведомство, по которому служит: он прежде всего хорошо одет и хорошо накормлен, потом велик, бел, румян, с умеренной гривкой и с глубокомысленнейшими бакенбардами. Ногти его чисты, зубы его белы, серые глаза дышат благодушием. Это человек, встретив которого, непременно подумаешь: “Тебе, дружок, очень нехудо живется”, – и, подумавши так, и не ошибешься. У Бизюкина нет ни бед, ни горя, ни врагов; он не обременен службой; не боится никакой ответственности; пьет-ест сладко и доволен всеми и всем. Сытое положение ли, или даже прямо самый род службы заставляют Бизюкина называть своими врагами людей, хранящих отеческие предания: людей, содержащих веру, любящих семью и вообще соблюдающих формы отеческой жизни, но это он считал необходимым, так сказать, только для контенансу, [9] не как Бизюкин, а как либеральный чиновник акцизный. Он также и против собственности, но и это опять не потому, чтобы он не любил собственности, а потому, что так принято было относиться к этому в губернаторском доме, из которого Бизюкин взял свою жену, которой он и предан и покорен. Сам он, человек самый белый и непорочный, отливает краснотой единственно только потому, что нельзя же акцизному чиновнику быть без красноватого оттенка. Отчего, почему без этого нельзя – это еще куда не сказалося, но, что как комиссару нельзя быть без панталон, так акцизнику невозможно без вольномыслия, – это все знают. Может быть, это такой хороший подбор, а может быть, тут работает та незримая сила, по законам которой, например, у всех нигилистов такие дубовые и ломовые фамилии, что газета Каткова, назвав которую-то из них, оговаривалась в скобках: “у автора такая фамилия”; а может быть, – и это всего вероятнее, – что акцизному чиновнику без красноты и вольномыслия невозможно обойтись просто от сытости, которая на чиновничью натуру действует, как овес на долго голодавшую мужичью лошадь: жирнеющая кляча лягает того, кто ей засыпает корм под ее лошадиную морду. – Но оставим времени и специалистам решать неразрешимый вопрос этот и будем представлять себе акцизного надзирателя Митрофана Егорыча Бизюкина таким, каким мы его отрекомендовали.

Жене его Дарье Николаевне, или Данке, теперь двадцать семь лет. Она вышла замуж за Бизюкина не по любви, не по принуждению и не по расчету. Мы, разумеется, могли бы заставить ее саму, собственными устами рассказать нам, почему она вышла замуж за Бизюкина; но сама она знает об этом менее, чем кто-нибудь. Ее отец был в очень недавнее время в этой же губернии гражданским губернатором: он был в одно и то же время педант и либерал; набожный христианин и взяточник, но жил с людьми в согласии и в губернии его любили. – “Брал, но благородно брал, – говорят о нем и по сие блаженное время. – Он брал и делал”. Таких у нас еще и хвалили, и берегли, и любили. Но вот ныне царствующий Император сошел ангелом в купель русского Силоамля и возмутил воду, и начались чудотворения: Русь

Божедомы. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru
затребовала правды и бескорыстия от своих деятелей, и благородно бравший губернатор, отец Данки, слетел с места зауряд со многими бравшими неблагородно, то есть с бравшими и не делающими того, за что взято.

Смещенный из генералов в капралы, отставной губернатор обратился в мирного помещика, живущего зимой в городе, летом в деревне, выписывающего книги и журналы, довольно великодушного для своих крестьян и от всей души желающего, “чтобы все в этой обновленной России полетело к черту!”. Сановник этот был давно вдов и воспитывал шестерых дочерей при содействии француженки, в которой, как Фамусов, умел им принанять вторую мать. Француженка эта была религиозная роялистка, потерявшая в революцию право надеяться на какое-то наследство. Она ходила по церквям, знала наизусть русскую обедню, служила молебны и ежегодно уезжала месяца на два в Москву, где имела обычай расставаться со своим девятимесячным бременем. Когда старшие девочки стали подрастать, присутствие в доме этой воспитательницы начало представлять некоторые неудобства. Ее спустили со двора, и воспитание детей перешло в руки овдовевшей тетки, некогда сбежавшей замуж за француза, который ее, как водится, обобрал и бросил. Эта терпеть не могла францию и, порицая французские нравы, питала очень многим в России свойственное убеждение, что непогрешимая мораль со всего света сбежала в Англию, где ее рафинируют и оттуда опять развозят по свету в произведениях высоко нравственной английской литературы. Обманутая старуха веровала, что все, напечатанное на английском языке, позволительно и нравственно; а следовательно, и удобно для чтения вверенных ей губернаторских юниц, и юницы распалились философию Каина, Дон Жуана, Ричарда III, супружества Макбет, Крессиды, Елены, <2 нрзб > и других. О ранней поре их захватила умственная революция, тихо произведенная лучшими людьми России в первые годы царствования Александра II-го: юницы слышали что-то пронесшееся как рокот, слышали, что рокот этот радует всех, кроме тех, чья печаль была им вместо радости. Отца и тетку они видели невеселыми, а все прочие ликовали, и они стали на сторону ликовавших. Старые боги развенчивались, безобразные кумиры снимались, и тихо и смиренно вновь уставлялось, что следовало ставить наново: надо было становиться за дело и идти в новой обстановке. Но Русь по излишней ретивости разбрыкалась, заступила постромки и начала в лицах басню о возах с горшками. “По ямам, рытвинам пошли скачки, прыжки – на славу и... в канаву”. За великой порой пробуждения непосредственно следовала другая пора, – пора шарлатанства словом и делом свободы, пора, которую один современный поэт метко назвал: “комическое время”. В эту вторую пору и совершилось совершеннолетие Данки. Перед ее глазами не открывали уже ни Англии, ни Америки и не толковали про то, что невежда демократ может спесивиться и докучать своим демократизмом хуже, чем иной князь своим княжеством. Все, что так недавно занимало людей, лучшие инстинкты которых расшевелил и пробудил “Русский вестник” Каткова, – в пору Данки почти все уже было брошено и сочтено бесконечно малым и недостойным внимания людей истинного прогресса, – на очереди стояли вопросы другие: женский, детский, то есть достоин ли любить своих детей, вопрос имущественный, вопрос о житье сообща и тому подобные серьезные вопросы “комического времени”. Данка хотела служить делу и, чтобы показать неуважение к своей семье, вышла, как мы знаем из рассказа Омнепотенского, замуж за ничтожного чиновника Бизюкина – вышла уходом и высеченная.

Отец ее все-таки сжалился над ней и при содействии своих старых связей достал ее мужу сытое место по акцизам. С тех пор бегущая Данка живет в Старом Городе, нимало не тяготясь своим глуповатым мужем. Он ей ни нравится, ни не нравится, да она об этом даже и не думает: ей все равно, какой он и кто он: ее занимают другие, высшие вопросы. Она любит суету и думает, что ее все считают опасной, – это ее пассия. Вторая ее слабость заключается в том, что она хочет казаться имеющею секреты, открытие которых могло бы очень многим стоить свободы и даже жизни. Она не пошлая дура от природы, но не понимает прямо ничего.

Употребляя слово ничего, следует оговориться, что слово это не сорвалось с пера, а стоит там, где ему следует стоять. Данка решительно ничего не умеет понимать. Ее можно было удивить всем чем угодно: самые обыденнейшие вещи имели для нее значение удивительных новостей, половине которых она даже не могла верить. Она, например, до сих пор не знает и не может верить, что законоположения, ограничивающие свободу печати, одинаково тяготят над писателями всех направлений и что отстаивать национальные интересы во многих отношениях гораздо труднее, чем служить началам разрушительным. Она думает, что совершает дело страшной смелости, не молясь Богу перед обедом, и что это только она одна такое и может и что за это ее правительство рано или поздно распилит живую. Она не

Божедомы. Николай Семенович Лесков Teskovniko1ai.ru

может верить, что можно не желать революции, не будучи врагом свободы и тем более не будучи нисколько подкупленным агентом; она не поверит, что даже самые просвещенные коронованные лица не считают нынешних форм правления совершенными и вековыми; не поверит, что русскими богословскими философами давно решено, что критическое отношение к священному писанию не противно духу нашей религии или что на русском языке напечатана и свободно продается за два рубля "теория нравственных чувств" Адама Смита, где между прочим читаем, что "перед точным определением права рушатся сами собою притязания представителей власти, притязания, изгнавшие из общества естественную свободу и равенство и почитаемые при всем том у народов правами". Данке неизвестно и неведомо ничто, – ей неизвестно даже то, что сама она никем не преследуема и не гонима и что вообще многие, некогда гонимые, ныне, в силу благоприятствующих для их положения условий, сами сделались гонителями. Ее призвание – суета; ее разговор – словоизвержения, которые можно вести век, никогда ни до чего не договариваясь. Конечный и ясный вывод ей противны: она как бы страшится, что после их ей не о чем будет говорить.

Данка довольно высока ростом, с недурною фигурой и даже с недурным личиком. У нее живой цвет лица, небольшие коричневые глаза с красноватым оттенком, хорошие, густые каштановые волосы, странный ротик почти без следа губ и любопытный нос, – у основания толстый и круто суживающийся к концу в остренькую точку. Нос этот все как будто что-то нюхает; чего-то ищет и во что-то засматривает. Вообще все ее красноглазое без губ личико и подвижная фигурка как нельзя более напоминают поднятого за уши кролика.

Мелания Дарьянова, небольшая молоденькая брюнеточка с отпечатком беспрестанного каприза на хорошеньком личике. Она здесь гость у Бизюкиных и притом редкий гость: она обыкновенно домоседка, но при неудовольствии на мужа перестает быть такою. Тогда она непременно уходит из дома и идет прямо к тем из знакомых, кого наименее любит или наиболее не любит ее муж. Обыкновенно в этом случае местоближищем ей служит дом Бизюкиных, которых она не любит, не уважает и у которых, сидя по целым дням, часто не вмешивается ни в какие разговоры и даже часто вовсе не слышит речей, с которыми к ней обращаются.

– Мелания влюблена в своего мужа, – говорят о ней знающие ее дамы, и они говорят правду. Как Данку Бизюкину не занимал дом, так Меланию Дарьянову не интересовал весь свет и все его законы: она вся стремилась к мужу, который награждал ее за это свободой.

Сегодня Дарьянова у Бизюкиных потому, что муж ее пошел к Серболовой, к которой она его ревнует, хотя знает, что Серболова женщина выше всяких подозрений. Мелания ничего не имеет против Серболовой, – напротив, она чтит ее и даже очень бы ее любила, если бы не любила страстно своего мужа. Она признает все достоинства Серболовой, как признает и значение свободы, но ненавидит речи об этой свободе в устах своего мужа, потому что сама к ней не чувствует никакого позыва и очень ясно выводит, что свобода, о которой воркует ей муж, нужна собственно одному ему. Она горяча, вспыльчива и неоткровенна. Вспылив на мужа, она не умела жаловаться и объясняться; но устремляла все силы мстить ему, и в городе были три лица, которые, зная и Меланию и любя Дарьянова, серьезно опасались, как бы она ему когда-нибудь больно не отомстила. Эти три лица были: протоиерей Туберозов, Серболова и очень солидная жена городничего Ольга Арсентьевна Порохонцева.

Таково было общество, находившееся в доме Бизюкиных вечером того дня, в который учитель Омнепотенский явился туда с своими костями.

II

Общество это, за исключением Мелании Дарьяновой, было необыкновенно оживлено. Сам Бизюкин, жена его и Омнепотенский – все здесь говорили вдруг, все друг друга перебивали и спорили. Повод к этакому шумному выражению чувств подавало не одно сегодняшнее появление Варнавы с его костями и происшедший по сему случаю общественный скандал. Это событие, весьма важное в другое время, теперь было принято наскоро; по поводу его отпустили шутку с дьяконом Ахиллой и отложили его на время в сторону. Была более крупная новость: она заключалась в письме, полученном час тому назад Митрофаном Бизюкиным из Петербурга от одного из старых его школьных товарищей Андрея Ивановича Термосёсова. Письмо это было уже прочитано хозяевами за несколько минут перед прибытием Варнавы, но с его приходом, как только унялась суета, было вновь предложено общественному вниманию

Божедомы. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru
во второй раз. Теперь Данка собиралась читать это письмо вслух, и потому и нянька, водившая за руку маленького Бизюкина, была выслана из зала, а казачок Ермошка отпущен из передней.

– Это так следует, – сказала Бизюкина. – Нянька, конечно, верная женщина, и она меня выходила, а Ермошка глуп, но все-таки черт их знает.

– Осторожность не мешает, – подтвердил Бизюкин.

– На людей полагаться не следует, они за грош продадут.

– Да и без гроша даже, – вставил Омнепотенский, – они и даром на духу у попов все выболтают.

– Ну, за Ермошку в этом случае я, пожалуй, ручаюсь, – отвечала Бизюкина, – потому что из этого мальчика будет когда-нибудь прок. Он Бога не признает и даже яйца у меня в страстную пятницу ел, когда красили.

– Он каналья, – заметил весело муж, – нянька, когда нездорова, посылает его в собор просвиручку вынуть, он пятак в карман, а сам просвиру ножом выколупает и принесет.

– Он молодец, – заключила жена и, вынув из кармана распечатанный конверт с петербургским штемпелем, сказала:

– Это письмо, конечно, не заключает в себе ничего особенного, но оно должно радовать нас потому, что нас давно ничего не радовало. Всем вам известно, что вокруг нас застой, – дел никаких, и повсюду всевластно царствует рутина...

– И попы, – подсказал Омнепотенский.

– Позвольте, – продолжала Данка. – Я сказала: застой и всевластно царствует рутина. Но... но это... но это, однако, замечается не вокруг одних нас, но это замечается и повсюду: литература наша убита...

– Дана!.. – начал было муж.

– Я сказала: литература наша убита, – подтвердила, возвысив голос на одну ноту, жена. – Я говорю об одной честной литературе.

Бизюкин прервал жену нетерпеливым движением.

– Я говорю об одной честной литературе, – повторила еще громче Данка и, услышав, что ее муж тихо проговорил: “но позволь же!”, – воскликнула: – Нечего позволять, и я знаю все, что ты можешь сказать: литература наша убита, я говорю.

– Дана, да я то же самое хотел сказать, что она даже не убита, а уничтожена, – поспешил как можно скорее проговорить акцизник.

– Не уничтожена, а убита: это так, как я сказала, потому что уничтожено то, чего нет, как, например, уничтожено крепостное право, хотя оно *de facto*[10] и остается в виде запрещения труда капиталу; но в существе оно все-таки изменено; да, оно изменено. Так и литература: у нас есть те же деятели; мы читаем почитаемые нами имена, но что они пишут нам, мы этого не понимаем.

– Решительно не понимаем! – не утерпел, чтобы отозваться, Бизюкин.

– Не понимаем, – заметил и Варнава.

– Да; позвольте! Мы этого решительно не понимаем, и это очень понятно. Это очень просто происходит...

– От правительства, – подсказал Бизюкин.

– Что?.. Да, от правительства. Частью от правительства, а частью же оттого, что мы сами...

– Бездействуем.

– Совсем не то. – А частью от того-с, что сами мы (Данка возвысила голос) стоим уже слишком в стороне от настоящей жизни. Да-с! Расстояния имеют свое фактическое значение, – это факт, и это не подлежит никакому сомнению, и потому мы продолжаем говорить, между тем как нам давно надо бы нечто делать.

– Делать! Делать! – подсказали Бизюкин и Омнепотенский.

– Да-с; именно делать. И вот люди поняли это и обратились от литературы к делу, потому что... Позвольте, Омнепотенский, не перебивайте меня!.. Потому что дело гораздо действительнее слов и соловья баснями не кормят, а надобны предприятия. Омнепотенский, я вас прошу меня не перебивать. Надобны предприятия. Сказав это, наша литература кончилась потому, что дальше этого ей по самому существу литературы идти невозможно. Литература сделала свое дело, и теперь надобны предприятия.

– Но какие же-с! – привскочил Омнепотенский.

– Да, какие? Это все очень глухо пишется, – поддержал Варнаву Бизюкин.

– А вот я теперь именно до этого и договорилась, – продолжала Данка. – Решено, что надо слов как можно меньше, а даже лучше, чтобы и совсем слов никаких не было, а больше было бы предприятий.

– Но позвольте... как же?... ведь надо же условиться?

– Я прошу вас не прерывать! – Надо больше предприятий, то есть дела.

– Но какого ж дела?

– Я прошу вас не прерывать. В чем может заключаться предприятие? Мы задаем себе вопрос: в чем предприятия могут заключаться? Вспматриваемся в окружающую нас жизнь, приводим на память наших лучших писателей и приходим к убеждению, что у нас никакие предприятия невозможны.

– Невозможны! – подсказал Омнепотенский. – И я всегда говорил, что они невозможны.

Бизюкин не замедлил поддержать Варнаву:

– Невозможны, – сказал он, – и решительно невозможны потому что...

– За них вешают, – досказал Омнепотенский.

– Я вас прошу не перебивать! – остановила мужчин Данка. – Невозможны потому, что мы, не имея прямого сближения с настоящими современными деятелями, не знали настоящего, что надо делать? Литература, на которую мы в этом случае надеялись, оказывается бесполезною. Даже более: она в этом деле скорее способна приносить вред, а не пользу. Она наши понятия наполнила туманом. Из всех родов предприятия, которые ею рекомендованы, ясней всех мы должны считать намек, сделанный нам в повести “Трудное время”. Здесь автор, становясь на практическую почву, представляет, что герой, уезжая, берет с собой мальчика и уезжает делать предприятие, то есть обучит его и приготовит из него деятеля. Это прекрасно, все другие писатели, предлагавшие предприятия, были еще темнее, и мы полагали, что предприятие – это значит революция...

– Революция.

– Ах, да не перебивайте! Революция... но затем нам дают чувствовать, что решено, что революция глупость и что ее не надо. Факт этот принят. Но рождается вопрос: что делать с этим мальчишкой?

Ответом Бизюкиной послужило всеобщее удивление и молчание: никто не понимал, к какому она свела вдруг мальчишке?

– Разберем этот факт, – продолжала Данка.

– Да ну скорей, Данка! – это скучно, – перебил Бизюкин.

– Прежде всего, – продолжала она, – я полагаю, что мальчика надо учить, и потому я сама учу своего Ермошку: я из него вырвала все предрассудки и... Понька, закрой окно!

– Зачем? – спросил не ожидавший этого перехода муж, которому было скучно и который со скуки вылез по пояс в открытое окно.

– Закрой, повторяю, окно.

– Да что за прихоти, когда здесь так душно.

– Понька, третий и последний раз говорю: закрой!

– Зачем закрывать? Там нет никого.

– Есть.

– Да кто же?

– Гром.

Вдали чуть-чуть прорезались на небе безгромные молоньи; но грома не было ни звука.

– Грома нет никакого, – сказал Бизюкин.

– Я тебе говорю, не либеральничай и закрой, – отвечала жена.

Чиновник пожал плечами, встал и, закрыв раму, сел с неудовольствием у окна.

– Я продолжаю мое педагогическое дело, – начала Данка, – и я его продолжаю среди таких обстоятельств, при коих мое предприятие дальше невозможно. Я говорю “невозможно” потому, что, с одной стороны, опасные предприятия отрицаются, с другой, этот же самый мальчик может меня выдать, и, вы сами видите, я нарочно высылаю его за двери...

– Данка, да кончи! – крикнул Бизюкин.

– И кончу. Но я желаю знать, что будут делать с тем мальчиком?

– Да с каким!.. Какая ты, ей-Богу, скучная!

– С мальчиком, который является в “Трудном времени”?

– Черт возьми... ничего не понимаю! Все мальчики в довольно трудном времени являются?

– Понька, вы глупы и для вас будет небесполезно, если вы этого не станете забывать, что вы глупы. Рязанов увез с собой мальчика. В этом нет никакого промаха...

– Да кто это Рязанов!

– В “Трудном времени”.

– Тпфу, черт их возьми: “наше время”, “трудное время”... миллион газет и ничего не разберешь.

– Понька, вы глупы, – напоминаю вторично... Но на деле мы видим, что в том, что он увез мальчика, нет промаха. Даже само правительство, и оно в этом случае полагало, что оно не совсем бестактно, потому что и оно к этому не придиралось. Увез, и литература этим кончила свое дело; литературы больше не нужно потому, что начинается жизнь. Здесь в моих руках вы видите письмо... Понька, отойди от окна!.. Видите письмо... Вы все видите это письмо? Это письмо от Андрея Термосёсова, литератора... Как он писал Понька, – под каким названием?

– Да я вовсе не читал, что писал он.

- Я спрашиваю, как он писал, а не что он писал? Как он подписывался?
- “Михайлов”.
- Да, да, “Михайлов”.
- Я так и думал, – подсказал, оживясь, Омнепотенский.
- А почему это вы могли так думать?
- Потому что это самое лучшее.
- Конечно. Разумеется, “Михайлов” это самое лучшее. Ну-с: продолжаем: Термосёсов еще прежде был товарищем моего мужа. Нынче Термосёсов более не литератор.
- Не литератор! Он не литератор!
- Позвольте. Он литератор, но он бросил заниматься литературой и едет сюда. Вы это сейчас увидите из этого письма, к слушанию которого я вас должна была приготовить... А ты, Понька, либерал поганый, так и не отходишь! – Это для тебя скверно кончится.
- Вот, господа, письмо Термосёсова: “Ты, как и я, конечно, помнишь, Бизюкин, что мы с тобой расстались недругами по поводу твоей выходки с ста рублями, которых не хотел дать мне, и низкопоклонства твоего при добыче себе места”.
- Сам очень честен! – проговорил Бизюкин.
- Нечего, нечего “очень честен”! В вас, господин Бизюкин, это так и есть “приидите поклонимся”-то.
- А он... с ростовщиком в стачке был, да на товарищей доносил.
- Не врите.
- Да что ты его знаешь, что ль?
- Я по письму вижу, что это честная натура: “...и низкопоклонства в добыче себе места. Но тем не менее я думаю, что это нам не помешает встретиться с тобою дружно. Я скоро увижу тебя и буду для тебя полезен. Я, брат, и сам не тот, что был, и ты меня во многом не узнаешь: моя натура не поддавалась никаким соблазнам: я не мирился ни с какой подлостью и пёр напролом и много за то помялся и потискался, но довел свое дело до конца и теперь из области слова перехожу к действительной жизни. После разлуки с тобою я до сих пор литераторствовал и, сколько мне кажется, не без успеха. Я познал зло, и подлецы будут меня помнить. Я не останавливался ни перед чем и ни перед чем не остановлюсь. Но как тебе, вероятно, известно, мы дали маленькую ошибку: слепо немножко подхватили то, что втолковывали публике наши первые писатели, и втолковывали, что сапоги лучше Шекспира и что всему корень жратва. Это в литературном смысле вышло преглупо; но когда мы увидели, что это глупо, было уже поздно: шельмовская наша публика приняла это злодейски крепко, и нам приходится плохо. Каждый норовит свои пятнадцать рублей лучше прожрать или употребить на сапоги, а журнала не купит. Впрочем, жалеть, конечно, не о чем, потому что время уже не писать, а действовать, и литература более не нужна, ибо, хотя обстоятельства нам и благоприятствуют и мы в нынешнее время можем все писать свободнее патриотов, и, главное дело, сказав, что нам “нужны предприятия”, мы уже кончили и больше раскрывать ничего не можем. Намеками уже всем преподано ясно, что “делать предприятие” значит, что надо подготавливать избиение монархистов и собственников, а прямо сказать это нам все-таки еще некоторое время не позволят...”

Бизюкина остановилась и сказала:

- Видите, какая подлость! Вот отчего все и было непонятно: им не дозволяют раскрыть, что такое предприятие.
- “Правда, – продолжала она свое чтение. – Правда, что и мы достаточно заливаем

Божедомы. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru патриотам горячего за ворот и для этого все-таки надо содержать некий литературный гарнизонышко, чтобы науськивать на патриотов, если они разлиберальничают. Я всегда был этого мнения и доказал, что может быть этим способом достигнуто: при представлении “Расточителя”, что накропал Стебницкий, мы как хватили да как указали некоторые местишки, на другой же день автора потребовали куда следует. “Ничего, говорят, что вам это цензурой дозволено, но мы вас просим исключить эти места”. И понимаешь: цензура пропустила, а мы, мы можем не пропустить, и начальство нас слушает, братец, слушает, потому теперь мы уже, без базаровского хвастовства, сила”.

– А это честно? – перебил Бизюкин.

– А еще бы! Не трогай, – возразила жена и продолжила снова. – “Но это все действует только в Петербурге и то потому, что мы нынче здесь во всех ведомствах имеем своих, а у вас в провинциях, как справедливо пишет корреспондент “Голоса”, “всё подряд метут и честных писателей даже читают менее, чем этих Писемских да Стебницких”. Это-то вот и надо искоренить. Надо, чтобы везде и у вас в провинциях, как и здесь, в столице, развитые люди нашего направления сели на службу...”

– Точно польский катехизис, – перебил тихим замечанием Омнепотенский.

– Позвольте! “Люди нашего направления сели на службу по всем ведомствам и на все влиятельные места по всем ведомствам”.

– Ну, конечно, это польский катехизис!

– Да позвольте-ж-е-е-с!

“Мы решились все это, всякую открытую борьбу бросить и идти верною служебною дорогою к осуществлению своих предприятий: мы идем все на службу. В Петербурге это более не считается позорным, как было в твое время, а считается честью, и все друг другу помогают. Я тебе объясню, почему это так все нынче устроено. На это есть три причины: первая из них та, что есть надо, а на службе сытней, чем в этом писательстве, и тут же есть и разумное основание и справедливость. В самом деле, не вечно же нам все обирать своих, чтоб буар, манже и сортир, [11] да и некого стало и обирать, а потом: медведь на себе носит и своей плотью питает клеща, который к нему пристанет. Мы присосались к этому государству, чтобы его опровергнуть, и оно должно нас и кормить. Вторая причина та, что когда государственные деньги у правительства берут наши, а не патриоты, которые сдуру готовы, может быть, и даром служить из шелудивой любви к шелудивой родине, то за нас будут все, которые хотя и не совсем еще наши, но от службы кормятся, ибо им всяческое бескорыстие в патриотическом духе и непонятно, и противно. Это у нас пункт соприкосновения со всем служащим, и в сем случае все мы “Михайловы”. И наконец, третья и последняя причина нам все силы свои устремить на государственную службу есть та, что на службе всякое нашинское предприятие можно обделать гораздо лучше, чем во всякой литературе. Таким образом, видишь, что я пришел к тому же, к чему ты пошел прежде: я иду на службу”.

– На службу! – воскликнул в удивлении Омнепотенский. – и он... “Михайлов” на службу!

– Да; а что это вас удивляет? Вы слышите: все “Михайловы” идут на службу, да вы и сами разве не служите?

– Я служу, но...

– Но что такое но?

– Но мне даже ни разу и не позволили подписаться полным словом “Михайлов”... я служу по учебному ведомству, стало быть я врежу России... я все равно... что не служу... я веду пропаганду...

– Ну и прекрасно: а вы лучше дослушайте, чем это все разъясняется: “Но разница между мной и тобой та, что я иду на службу по принципу и по убеждению, что это теперь так должно, а ты шел на службу, как бы стыдись, по рутине. Я, конечно, мог бы заняться и частными делами, как у нас уже и очень многие из наших открыли кассы ссуд и наживают хорошие деньги и ведут пропаганду, так как приходящие

Божедомы. Николай Семенович Лесков teskovniko1ai.ru

всегда недовольны и, следовательно, взыскивая с них чувствительные проценты, их наилучше можно в это время поджигать. Если помнишь Постельникова – он это отлично ведет. Он хотя и не бросил литературы, но занимается ростовщичеством и с большой пользой, потому что взялся с тем, чтобы обирать прочих, а своих не трогать, и вел бы это отлично, да только подлец на несчастье: я ему заложил шинель и не выкупил, а он, скот, ее и продал, как и всякий другой бы ростовщик. Таков тоже, если помнишь, и литератор Фатеев: все они наши и занимаются ростовщичеством, но хотя чувство неправомерности в закладчиках и раздражают, но и своих дерут тоже как сидоровых коз, а Фатеев, каналья, еще и на счет купцов и сочинения свои издает и отправляет. Мне эти подлости надоели, да и денег на такое предприятие нет, а потому я определился по найму к Борноволокову, что в ваш город выбран мировым судьей. Я с ним был давно знаком и еду с ним вводить у вас новый суд. Он барин отличный: весь наш и совсем молодчина. Он был драгоманом при одном нашем посольстве и демонстрации против России устраивал. Молодчина! – мировым судьей он еще не то выкинет! Будем, брат, будем делать дела. Я ему сказал про тебя, что у меня есть в Старом Городе приятель, который к Герцену ездил. “Молодчина!” – говорит и просил тебе написать, чтобы ты нас на первые дни как-нибудь приютил у себя или где-нибудь. Я тебя об этом и прошу, а послезавтра мы приедем и пойдем вас и трясти и мести, ты, братец, увидишь в чем штука. “Что делать?” – то Чернышевского это уж и старо, да и брошено; а вот присядем-ко с тобой у столишка, да разопьем бутылочку, так я тебе и расскажу взаправское что делать, которое и можно сделать. – Ответь мне завтра же на первую станцию: по-прежнему ли ты не веришь в Бога, не считаешь родителей и презираешь начальство и в силу этого даешь приют и мне, и тому, кого к тебе привезет твой Термосёсов.

Р. С. Буде знаешь такое делишко против местных благонамеренных, пошепчи кому надо, чтобы без нас не начинали, а впрочем, мы “яко божи”, – мы умеем творить все и из ничего”.

III

Письмо это произвело сильное, хотя и довольно различное впечатление на трех из присутствовавших здесь лиц. Безучастною к нему осталась одна Мелания Дарьянова, которая его не слыхала, потому что ей хотелось домой, и она, надувшись, сидела и ждала, когда придет за ней муж и как она отошлет посланного назад и скажет, что хочет оставаться, пока ей вздумается.

Бизюкин же, жена его и Омнепотенский утратили всякое самообладание: Бизюкин кусал нетерпеливо розовый ноготь левой руки, отплевывался и был не в духе. Его, очевидно, смущали какие-то тяжелые воспоминания и вовсе не радовал ожидаемый наезд Термосёсова с Борноволовым. Данка была вне себя от восторга и, тщательно складывая назад в конверт письмо Термосёсова, собиралась говорить; Омнепотенский уже говорил, но говорил потерянно и так тихо, что его никто не слыхал. Он был похож на того языческого кумира, который по преданиям потерял дар смысла и разума при известии о рождении Мессии: он только поводил глазами и шептал: “Да это что ж?.. Разве же...” Больше этих сомнений у него ничего не выходило. Бизюкина не обращала никакого внимания ни на мужа, ни на Омнепотенского и начала с заявления крупной радости по поводу близкого ожидания наидрагоценнейших гостей.

– Но прежде всего, – сказала она мужу, – ты сядь и пиши и пошлем рано на почту, – или тут всего двадцать пять верст, – я pošлю верхом кучера.

– Кучер мне нужен, – отвечал Бизюкин. – У меня служба.

– Ну мало ли, что нужен! Одно другого дороже: здесь тоже служба. Пиши.

Бизюкин сел к столу и написал: “Я, конечно, не мог забыть, Андрей Иванович, всего, что ты мне когда-то устроил, обобрав меня дочиста в пользу несуществовавшего общества “Безбедных тружеников”, но старым считаться нам уже нечего и попрекать тебя ничем не хочу. Встретиться мне с тобой ничто не помешает, тем более, что в теории твой взгляд я все-таки уважаю и признаю твой ум и талант. Но хотя я и в Бога не верю, и родителей не почитаю, и презираю свое начальство, однако тебе с Борноволовым приют дать не могу, потому что женат, имею детей и ни одной свободной комнаты; а потому извини. У нас на горе есть хороший постоянный двор Власа Данилова, прикажи везти себя ямщику прямо туда, и вам там, пока осмотритесь, будет отлично. Твой Бизюкин”.

Окончив свою записку, чиновник засыпал ее золотым песком и хотел положить в конверт, как вдруг письмо это исчезло из его рук и очутилось в руках его жены. Данка прочитала это письмо и, покачав головой, нимало не церемонясь, сказала: “Эх ты, скотина, скотина! Это ты его уже боишься? Боишься как раб своего господина!”

– Кто это мой господин?

– Да тот, кого ты боишься. Что ты разнежился: “У меня жена, дети”. Да ему что за дело, что у тебя дети и жена? Ах ты дурак! Но нет; ты и не дурак, а ты это подличаешь: пожалейте мол меня: я женат на губернаторской дочери и несвободен в своих поступках. Но нет, брат Бизюкин, я тебе говорю: ты не на ту напал: я не позволю тебе представить меня, какую ты хочешь, – аристократкою!

Она быстро схватила перо и, перечеркнув пером писание мужа, тут же внизу начертала: “Приезжайте! Мы ждем вас и, чем скорее, тем лучше, и во всякое время. К вашим услугам весь наш дом и все, что в нем есть...”

– Ну, что же это за глупость! – воскликнул смотревший через плечо в письмо жены Бизюкин.

– Не беспокойтесь, не глупо, – отвечала она, подписав имя и законвертовывая записку.

– “И все, что в нем есть”... Да тут ты, например, есть.

– Так что ж такое?

– И ты, стало быть, “к его услугам”.

– Ты, Понька, дурак.

– Нет, не дурак.

– Нет, дурак. Разве я стала бы тебя спрашивать, если бы я захотела быть готовою к чьим-нибудь услугам? Я тебе мильон раз об этом говорила, что придет мне такая фантазия, – сделаю и о твоём согласии справляться не стану; а не придет, – не сделаю, и до этого тебе дела нет. Права одинаковы: мужчина не поверяет своего поведения до свадьбы, – женщина имеет право не верить его после свадьбы, и тогда они квиты. Но это не стоит разговора. – Ермошка! Ермошка! Скорее кучера Ивана ко мне!

– Неужто сейчас посылать?

– А что же такое?

– Да так, пустяки: ночь, темень, тучи нависли, дождь каплет, и вдалеке слышен гром.

– Пустяки: мужики в поле ночуют, и то ничего. Ермошка!

– Да полно кричать. Ты сама же его ведь услала, чтобы не был здесь.

– Согласна, что это я, – сказала Бизюкина и бросила письмо на стол.

– Пускай прочистится.

– Да ладно, ладно, уж не визжи, пожалуйста! Давайте, господа, придумаем, с чего бы можно было начать? Мое мнение, с мещанина Данилки-комиссара. Он бьет свою жену страшно: я ее встретила, – несет воду попу и вся в синяках.

– Неужто и протопоп сам дерется! – вскричал Омнепотенский.

– Нет; это муж ее пришел вечером к протопопу на кухню и приколотил.

– А это все мы виноваты! – сказал Бизюкин.

– А чем же мы?

– Зачем мы их сватали? зачем выпихнули Домасю замуж за этого мерзавца? Прекрасно жила бы девушкой; прекрасно б служила, и было бы ей в тысячу раз лучше.

– Ну этого вы, положим, не понимаете и судить об этом не можете, потому что все это довольно сложно. Склоняя Данилку свататься на Домницели, мы имели другую цель: цель эта была политическая, и она достигнута. Мы устроили это затем, чтобы показать, что русский народ ничего против родства с Польшей не имеет и что простые люди женятся на польках. Это было сделано, собственно, в пику Аксакову и Каткову. Вот зачем и выпихнули, как вы выражаетесь, эту Домасю замуж. Прекрасно ль бы она жила в девушках, я не волшебница и не отгадываю, потому что в их быту и любовник все равно так же, как муж, поколотит. Но теперь мы имеем повод заступаться за нее потому, что с Катковым и с Аксаковым кончено, а теперь, добываясь сепарации для Домницели с ее мужем, мы дадим удар мужскому деспотизму и шаг праву женщин, удар браку и шаг свободе женщин. Я не знаю, что за особенное значение в ваших глазах имеет эта Данилкина жена: она в этом случае только наш эксперимент; наш субъект для опытов – да, не больше, не меньше как субъект для опытов. Муж хочет ее определить кухаркой к ксендзу Збышевскому, который ей как польке и, может быть, как хорошенькой, предлагает четыре целковых, когда она живет у протопопа за полтора. Муж сам этого желает, – следовательно, он не ревнив; следовательно, он за свободу женщин; следовательно, за него, а не за нее должны стоять мы. Понятно и то, что ксендз имеет на Домницелию свои виды. Это только показывает, что у него есть вкус и сообразительность: она хороша, и она католичка, следовательно, он на ее скромность может полагаться; но она оказывается глупа и остается у своего Савелия, где их матушка с батюшкой в теплой кухоньке греет. Что же нам за повод, господа, за нее заступаться? Не всякая же, в самом деле, женщина – то же самое, что женский вопрос?

– Моя мать, например? – вставил Варнава.

– Да даже и эта польская нимфа Домася, которая сама своей свободы не хочет?

– Да, с этой точки зрения, я согласен, что она виновата, – сообразил акцизный чиновник.

– Конечно! Она виновата; но он ее все-таки бил, и это есть достойный повод, на который надо обратить внимание мирового судьи. Таким образом, у нас он получит возможность начать стояньем за угнетенных женщин, а после Данилка может перевести свою жену на другое место по своему праву мужа.

– Я на это не согласен, – отозвался Бизюкин.

– Чего-с?

– Я не согласен.

– А ты можешь не соглашаться, но отойди сейчас от окна! Слышишь, отойди от окна!

– Чего мне отходить от окна, когда я грозы не боюсь?

– Отойди!.. отойди, потому что я, я боюсь ... – Она бросилась к мужу, рванула его за сюртук прочь от окна и азартно крикнула: “Прочь! Я не хочу, чтобы у меня в доме завтра мертвец был!” – Вскрикнув это, Бизюкина тотчас же, выпустив мужнин сюртук, бросилась в угол покоя, взвизгнула и задрожала. За ней шарахнулись и столпились сюда же ее муж и Варнава и даже немотствующая Дарьянова, хотя причина ужаса Данки была понятна одной ей. Данка, оправясь, только могла громко сказать: “Ермолай! Ермолай! Ермошка-а-а!” И вдруг на этот отчаянный зов двери передней закачались и затряслись. Сзади за ними кто-то шевелился, царапался и лез, но никак не влезал. Прошла минута, другая, – царапанье не умолкает, напротив, неведомый пришлец берется все плотней и плотней: испуганное общество в зале окаменеет и стоит неподвижно. Незримый все царапается смелей и напирает все бесцеремонней. Минуты становятся ужасны: еще одно мгновение, и чьи-нибудь поджилки не выдержат, Данка даже чувствует, что она первая шлепнется на пол, но ее посетила минута душевной силы: “Возьми в руки образ и выйди”, – шепнула она мужу.

Бизюкин быстро схватил со стены маленькую иконку и отчаянно распахнул двери.

Что-то отлетело и повалилось.

В распахнувшихся дверях при свете можно было рассмотреть, что это Ермошка. Он был заспан, всклокочен и сидел посреди пола.

– Это ты спал, когда тебе велели уйти, – обратился к нему Бизюкин.

– Нет, – отвечал сонный Ермошка. – Я так глаза заплющил, да голову поклат, да и сидел.

– Подслушивал? Подслушивал? – приступила к нему ободрившаяся Данка.

– Да нет, не подслушивал! Я так глаза заплющил, да голову поклат, а прочунял, да думал, что на конике, а не на полу, да ищу краю.

– Иди поскорей посмотри, кто это там стоит против наших окон?

– Где-с?

– Где? Вон там – “где”? У забора напротив. Видишь?

Мальчик стал у темного окна, за ним осмелились стать и хозяйева и Омнепотенский. В густой тьме нельзя было рассмотреть ничего; дождь лил и с шумом катился с крыш на землю; но вот опять блеснула молонья, и все, кроме Ермошки, отскочили в глубь комнаты.

– Видишь! – крикнула Данка.

Ермошка не отвечал.

– Видишь ты, поросенок? – нетерпеливо крикнула, топнув ногою, Данка.

– Вижу, – отвечал Ермошка. – Это комиссар Данилка стоит под голубцом от дождя.

– Данилка!

– Да, Данилка. – Вон, он и бурчит что-то.

– Спроси его, спроси, чего он стоит? Он, верно, подслушивает.

Мальчик высунулся в окно и закричал: “Данило, а Данило! Чего ты тут стоишь?.. А?.. Чего?”

Только что в шуме дождя замер звонкий голос ребенка, с той стороны улицы послышался короткий, но совершенно нерасслышанный здесь ответ.

– Что он сказал? – спросила Бизюкина.

Ермошка усмехнулся и отвечал: нельзя доложить-с.

– Он, верно, пьян?

– Должно быть-с: он ходит что день к ксендзовой старухе, – говорит, что у них на посылках... Ишь, что-то бурчит.

– Спроси-ка его? Опять спроси?

– Да чего ты, Данило, бурчишь? На кого?

– На черта-дьяволыча, – ответил мещанин.

– Что ж он тебе сделал?

– Да как же не сделал? Видишь, дождыще какой порет, что домой не попасть. Сушь была, – надо было в меру молить, а наш протопоп-то ишь какой вытребовал?

Мальчик передал претензию Данилки на протопопа Савелия. Бизюкин расхохотался; но жена его нашла это гораздо менее смешным, чем замечательным, и, обратясь к

Божедомы. Николай Семенович Лесков Teskovniko1ai.ru
Омнепотенскому, сказала:

– Послушайте, Омнепотенский?! Я все-таки вам одним верю больше других. В самом деле: начнем-ка мы с духовенства! Пойдите вы домой с этим Данилкой и... Надо ведь, Господа, в самом деле, чтобы у нас тут хоть на что-нибудь было похоже; чтоб мировой судья прямо мог стать на нашу сторону? Правда? – обратилась она, перервав свою речь, к предстоящим.

– Конечно, правда, – ответил Варнава.

– Так одевайтесь! Скорей, скорей одевайтесь.

Варнава взял в руки фуражку.

– Так и послушайте... того... Да; ступайте, ступайте!.. и например, хотя бы это... хоть этот дождь... Я позабыла, что его ждали и о нем молились, и он как назло и пролил, и сейчас доказать, что он глупо пролил... или постоит... не то... лучше доказать, что он совсем не от того... Доказать отчего он, понимаете, объяснить... Да прощайте, прощайте! Сегодня устройте с Данилкой, а завтра нам может быть много, много дела. Да; завтра, Господа, завтра перед нами... я знаю, что завтра перед нами без всяких недомолвок и цензуры откроется настоящее что делать.

IV

Дом Бизюкиных не пользовался в городе никаким уважением. Несмотря на то, что акцизный чиновник имел относительно очень хорошие средства и, стало быть, мог задавать тон полунцием уездному люду, но никакого этого тона не чувствовалось, да и с самим акцизником никто иначе не говорил, как с легкой насмешкой. Его либерализм был пословицей, жена его была притчей во языцех, собрания у них назывались “акцизною скукой”, дом их считался чуть-чуть не домом неизлечимых сумасшедших. А потому разнесшийся по городу на другой же день после описанного вечера слух, что долгожданный представитель нового, святого правосудия, – мировой судья Борноволоков приедет прямо к акцизнику и остановится в этом сумасшедшем доме, подействовал на старогородцев чрезвычайно дурно: одних это крайне удивило и заставило рассмеяться, другие же сочли себя глубоко оскорбленными таким пренебрежением к общественному мнению. К числу последних принадлежали и наши знакомые уездный начальник Дарьянов и отец Савелий Туберозов.

Протопоп и Дарьянов были удивлены и самым избранием Борноволокова в мировые судьи. Борноволоков был местный, уездный обыватель, но его никто не знал, потому что он никогда здесь не жил, а служил где-то русским посольским чиновником и ходил как изменник с знаменем, возбуждая восстание против России за Польшу. Выбрали его Бог знает почему, – потому, что его брату Николаю Борноволокову, местному вице-губернатору, хотелось приснастить революционного братца к четырем тысячам жалованья. А как он утвержден? – как утверждены многие совершенно ему подобные.

Самое избрание Борноволокова обескураживало уже нетерпеливых ожидателей мирового суда, а очевидное яkastельство судьи с людьми, противными городу, доканчивало разрушение обаятельных надежд.

– “Он их, а не наш”, – сказало людям их сторожкое чувство.

Туберозову весть эту сообщил Дарьянов, а ему рассказала об этом за утренним чаем жена. Дарьянов же, идучи в свое управление, встретился с протопопом, который в это время возвращался домой, отслужив обедню, и рассказал в свою очередь эту новость протопопу.

Протопоп выслушал рассказ самым внимательным образом и не выразил по этому случаю никакого гнева, ни удивления. Дарьянов беспокоился более и сказал: “Неужто же вам в этом ничего не чувствуется и ничто вас в этом не удивляет?”

– Да что ж: ничего нового! – ответил протопоп. – Все по-старому шутки: видно, и на новую воду с старым огнем поплывем, и ничего более.

– Но досадно, как нарочно, первое сближение и прямо как будто колом в нос всем, как будто назло: кто всем презрителен и противен, тем и особое почтение.

– Сердиться за это нечего: свой своему весть подает.

– Нет-с, кто его выбрал?

– Нет-с, как его выбрали? – лучше спросите.

– Да все это просто: того не хотим мы, этот вам не нравится, – валяй назло кого попало: вот и выбрали.

– Ну, и говорить надо оставить, и пусть он вас судит. Хохол купил редьку, да очень уж горькую, так ел ее да приговаривал: “Видели вы, глаза мои, что покупали, – теперь ешьте, хоть вон вылезьте”, – говорите себе и вы то в свое утешение.

– Никак не ждал, чтобы у нас это так вышло!

– Ба! отчего ж так?

– Да так... этакая воистину царская милость: излюбленный суд бессудной земле, и бац... Одна, одна эта выходка: борноволокновское избрание, да его якшательство с шалопаями нашими и... душа смущена, и надежды подорваны.

– Сударь, сударь! Земле российской и сие не ново: наша пословица говорит: “Царь жалует, да псарь разжалывает”. Без школы, сударь, страна, без школы. Куда нас ни пусти, всё норовим либо на кулаки, либо зубы скалить. Что вы с нами поделаете? Да чем здесь стоять, не свободны ль? – зайдемте, – говорить в хате сподручней.

– Нет; благодарю, – у меня много дела.

– А, если дело есть, то дело прежде всего. До свиданья.

Протоиерей подал Дарьянову руку, которую тот удержал, и, улыбаясь, спросил: “Наш вчерашний разговор, конечно, не одолеет нашей приязни?”

– Да, конечно, не одолеет, – отвечал протопоп.

Протопоп сжал руку Дарьянова, и они разошлись.

Савелий скрывал, как он принял весть о близости мирового судьи с неприятнейшими людьми целому городу. Это ему было неприятно более, чем что-нибудь на свете. Чувство понятное и всем нам свойственное, когда видим человека, на которого возлагали наши лучшие надежды, в сближении с людьми, по нашему мнению, вредными этим лучшим надеждам. Это страх, ревность, неохота видеть этого лучшего из боязни, что оно явится не таким, каким ожидалось, и потемнит прекрасный лик свой перед очами людей, которым мы в восторге своем говорили: “Вот оно! вот солнце правды! Глядите, – оно всходит на небо!” – Это издали привезенный заочно сшитый роскошный наряд, получив который, видят его не оправдывающим великих ожиданий: его прячут и чувствуют себя очень неловко от того, что должны его прятать. Перенесенное к вопросам более важным и делам более крупным, – это горячую душу повергает в состояние страшной досады и сбивает человека со всех путей, кроме пути погибельного, пути небрежущего жизнью. Пренебрежение переходит в геройство, – геройство становится не целью, но потребностью. Отсюда равнодушие юношей к огненной печи; отсюда бесстрашная ревность Илии, которому “омерзился зело ходить вослед мерзости”; – отсюда протопоп Аввакум, ревность и сила которого росла и крепла по мере возрастающего в его глазах у людей равнодушия к тому, что сам он считал святою истиной и правдой. На него случайно падает и на нем задерживается внимание Туберозова. – Как долго у русского человека подготавливается этот процесс потери терпения и зато как неотразимо его развитие после расчина. Двадцати трех лет Аввакум со всею энергией своей натуры вооружился против лжи, откуда бы она ни шла, и встретил за это порицание и гонение властей, долг которых был отстаивать истину. Воевода пришел в церковь и “задавил Аввакума до полусмерти”; в другой раз бил его и “откусил перст у руки”; в третий стрелял в него из пищалей, потом разорил его дом и выгнал оттуда с женой и с некрещеным ребенком. – Аввакум становится непреклоннее и придирчивей. Пришли в село “плясовые медведи с домрами и бубнами”, и поп Аввакум не терпит и этого: “он хари и бубны сломал; медведя одного ушиб, другого пустил в поле”. Его, Аввакума, зовут благословить брадобритого боярина Шереметева, а он обличает его за “блудностный образ”, неуломного попа велит бросить в Волгу. Он и

Божедомы. Николай Семенович Лесков Teskovniko1ai.ru

тут уцелел. Про высокую душу и честнейшую жизнь Аввакума достигают вести и до Государя. Царь Алексей проникается уважением к Аввакуму и шлет прямого попа в Юрьев Поволжский, но “дьявол” в образе низкой интриги смущает людей, и мужчины и бабы бьют Аввакума, кто батожем, кто рычагами, и, считая мертвым, бросают его под избяной угол. Государь, щадя Аввакума, берет его поближе к себе и сажает его править с Никоном книги, но не всем дело, как царю, до высокой души попа Аввакума. Его прячут под землю на цепь, “где токмо мыши и сверчки кричат и блох довольно”, и лицемерные слуги патриарха, рисуясь своею покорностью против аввакумовой строптивости, “дерут его у церкви за волосы и под бока толкают, и за чепь трогают, и в глаза плюют”. Но что это всё Аввакуму – всё его собственное радетельство за истину мизерно ему, – перед ним мерцает вдали другой идеал народного попа, – это Логгин, протопоп муромский. Аввакум видел и свидетельствует о том, как расстригал Никон попа Логгина, и свидетельствует его исполнено выпренного восторга и неукротимой ревности поревновать по нем. “Остригши, сорвали с него однорядку и кафтан, – пишет Аввакум про расстрижение Логгина; – но Логгин же разжегся ревностью божественного огня, Никона порицал и через порог Никону в олтарь в глаза плевал и, сняв опояску, схватил с себя и рубашку, и ту Никону в олтарь, в глаза бросил. И в то время была в церкви и царица”. Самого Аввакума только лишь сам Государь умолил патриарха не расстригать: его шлют в Tobольск, и в Tobольске его встретили добро и воевода и архиепископ, да дьяк Струна захотел без вины наказать дьякона той церкви, где служил протопоп. Струна вбежал с челядью в церковь и схватил дьякона на клиросе за бороду. Это ли снести Аввакуму? Аввакум с дьяконом посадили дьяка Струну на пол посереде церкви и “за церковный мятеж нарочито его постегали ремнем”. После этого на Аввакума поднялся весь город и пришла ему такая жизнь, что он “в тюрьму просился, чтобы душу сохранить”. За эту ревность везут его на пустынную Лену; но и это кажется мало, – и шлют его в Даурию к зверю Пашкову, а этому на благо вспало и с дощеника, на котором плыли, согнать протопопа. “О горе!” – возроптал несокрушимый Аввакум.

“Горы высокие, дебри непроходимые; утес каменный, яко стена стоит, – и поглядеть, заломя голову; в горах тех обретаются змии великие; в них же витают гуси и утицы – перье красное, вороны черные и галки серые; в тех же горах орлы и соколы и кречеты и курята индейские и бабы и лебеди и иныя дикие, многое множество, птицы разные. На тех же горах гуляют звери многие: дикие козы и олени, и зубры, и лоси, и кабаны, волки, бараны дикие во очию нашу, а взять нельзя. На те горы выбивал меня Пашков со зверьми и птицами витати, аз ему малое писаньице написал, аще начало: “человече! убойся Бога, Его же трепещут небесные силы, един ты презираешь и неудобство показуешь”, и послал к нему. А и бегут человек с пятьдесят и помчали к нему. Он с шпагою стоит и дрожит, рыкнул, яко дикий зверь, и ударил меня по щеке, тоже по другой и паки в голову, и сбил меня с ног, и, чепь ухватя, лежачего по спине ударил трижды и затем, по той же спине 72 удара кнутом. И я говорил: “Господи Иисусе Христе, сыне Божий! помогай мне”. Да то же беспрестанно говорю; тако горько ему, что не говорю: “пощади”. ко всякому удару молитву говорил, да середя побой вскричал я к нему: “полно бить-то”, так он велел перестать”.

И, кинув Аввакума в лодку, везут его.

“Сверьху дождь и снег, а мне на плеча накинута кафтанишко просто; льет вода по брюху и по спине, нужно было гораздо.. По сем привезли в острог и в тюрьму кинули, соломки дали. И сидел до Филипова поста в студеной башне; там зима в те поры живет, да Бог грел и без платья; что собачка, на соломке лежу; коли накормят, коли нет. Мышей много было, я их скуфьею бил, и батожка не дадут, дурачки; все на брюхе лежал, спина гнила, блох да вшей было много”.

И это все не смущает души протопопа. Идет потом голод, ест он сосенку, вкушает и “кобылятинки”. Надо б смириться; но у Аввакума нет неустойки. Православный сын Пашкова, отправляясь в поход на Монгольское царство, попросил языческого шамана помолиться за него. Аввакум как бы предвидел в этом страсть русских князей и бояр изменять отеческой вере и “завопил к Богу” так, что старый Пашков велел для него “учредить застенки и огонь расклат”, а “Аввакум ко исходу души и молитвы проговорил, ведая, что после того огня мало живут”. Не помеха Аввакуму и ни жена, ни дети, ни любовь и ни нежность душевная. Прощенный и возвращенный назад на Москву, он, видя нестроение дел церковных, только раз раздумался, как страшно вновь ссориться и вновь заставлять семью претерпевать то, что терпели.

“Опечалился, – рассказывает он про себя, – и рассуждаю: что сотворю? проповедаю ли слово Божие, или сокроюсь? жена и дети связали меня! жена же вопроси меня:

что, господине, опечалился? Аз же подробно известих: жена! что сотворю? – говорить ли мне, или молчать? связали вы меня. А она: Господи помилуй! – рекла. Что ты, Петрович, говоришь? Я тебя и с детьми благословляю: дерзай; а о нас не тужи дондеже Бог изволит. Поди, поди, обличай блудню еретическую. – Я ей за то челом и, отряси от себя печаль, начал паки еще и со дерзновением”. Уважавший его царь Алексей приласкал его и сказал: “Здорово, протопоп! Еще Господь велел видеться!” – “жив Господь и жива душа моя, а вперед, что позволит Бог”, – отвечал протопоп Аввакум и засим “видя, яко церковное ничто же успевает, паки заворчал” и на угрозы царя отвечал ему в лицо: “Аще и умрети мне Бог повелит, со отступниками не соединюся. Задушат меня, – ты, Господи, причти меня с Филиппом московским, зарежут, и ты причти меня с Захариєю пророком, в воду посадят, и ты яко Стефана Пермского меня помяни!” и доворчался ворчун до того, что, чтобы покончить с ним разом, его взяли да наконец и сожгли. Сгорел на костре огнем ревности пылавший протопоп, а легкий попел его сожженного праха разлетелся по лицу земли и пал на головы миллионов, которые не усумнились признать его святым, не требуя на то никакой канонизации. Они признали этого мученика святым единою канонизациею своей веры и благоговения к этому одушевленному кивоту, в котором столь величественно явлено миру преобладание несокрушимого духа над податливою на уступки плотью. Истекает два столетия с тех пор, как Аввакум сожжен в 1681-м году в Пустозерском остроге, и два столетия имя его проносилось яко зло всеми людьми, не способными почтить силы духа в погибшем, но непобежденном противнике. Его порицали писатели духовные; его хулили и поносили раблепные историки; к нему прилагали свою заушающую руку даже известные исторические романисты; но невежды хранили чистою его память и сохранили ее таковой до сего дня, когда свободно можно удивляться великому духу этого нетерпеливого ратоборца. Он и ему подобные народные герои, “яже на Москве кнут прияша и предаша души своя в дебрях и пропастьях земных”, ныне совершают великое служение сжившей их со света новой России. Они, эти кнутабойные стратиги, с лучшими людьми земли русской ведут ныне родную неученую Русь посреди всех соблазнов и совращений к той цели, которой ей назначено достичь с отеческою верой и “правдой, по закону святу, его же принесоша с собой наши деды через три реки на нашу землю”. Пока земля русская не устала рождать этаких богатырей вопля и терпенья, до тех пор да процено будет ей даже рождение всех перевертней и предателей. Пусть им, этим лукавым сынам света, брошен будет в жертву борец, пусть и батожка не положат ему дурачки, – как собачка он среди зимы свернется, и на соложке он выпится и, лишенный батожка, скуфейкою иерейскою от докучающей гадины отобьется. Надо сжечь его... но сожженный, он полетит легким попелом, и уста, не знавшие песен хвалы, запоют ему славу.

Наилучший духовный журнал нашего времени недавно сказал: “слово само собою уже становится бессильно: нужны подвиги”; современный поэт восклицает:

“Век жертв очистительных просит!”

Савелий, возвращенный в суровой логике мышленья, постигает всю правду первого замечания и, как человек, полный восторгов вдохновенья, слышит и просьбу, которую шлет его век устами поэта, и ему становится все веселее, все радостней. Он даже счастливо улыбается, подходя к дому, и как будто думает: “О, век мой, алчба твоя будет сыта: тебе будет дан человек, чтобы ты не смеялся безлюдью”.

V

Возвратясь домой в таких мыслях, протоиерей Туберозов удивил и обрадовал жену спокойствием, какого она давно не видала на лице его. Это спокойствие было просто интервал между нервическою возбужденностию, которая очень долгое время обдержала Савелия. Опять самый незначительный повод, и спокойствие это разлетится в клочья, как легкое облако от ветра; но пока оно есть, оно обманчиво. Однако ему ненадолго пришлось и обманывать протопопицу.

Туберозов, возвратясь домой, пил чай, сидя один на том же самом диване, на котором спал ночью, и за тем же самым столом, за которым писал свои “нотатки”. – Мать протопопица только прислуживала мужу: она подала ему стакан чаю и небольшую серебряную тарелочку, на которую отец Савелий осторожно поставил принесенную им в кармане просвирку, и уселся.

Сердобольная Наталья Николаевна, сберегая покой мужа, ухаживала за ним, боясь каким бы то ни было вопросом нарушить его строгие думы. Она шепотом велела девочке Афонаске набить табаком и поставить в угол на подносик обе трубки мужа и, подпершись ручкою под подбородок, ждала, когда протоиерей выкушает свой стакан и попросит второй.

Но прежде чем она дождалась этой просьбы, внимание ее было отвлечено шумом, который она услышала невдалеке от своего дома. Слышны были торопливые шаги и беспорядочный говор, переходящий минутами в азартный крик. Выглянув из окна своей спальни, протопопица увидела, что шум этот и крик производила кучка людей, человек в десять, которые шли очень быстрыми шагами как бы прямо к их дому и на ходу толкались, размахивали руками, спорили и то упирались, то вдруг снова почти бегом подвигались вперед.

“Что бы это такое?” – подумала протопопица и, выйдя в залу к мужу, сказала:

- Посмотри, отец Савелий, что-то как много народу идет.
- Народу как людей, мой друг, – отвечал спокойно Савелий.
- Нет, в самом деле очень уж много.
- Господь с ними, пусть их расхаживают; а ты дай-ка мне еще стаканчик чаю.

Протопопица взяла стакан, налила его новым чаем и, подав мужу, снова возвратилась к окну, но шумливой кучки людей уже не было. Вместо всего собираща только три, не то четыре человека стояли кое-где вразнобивку и глядели на дом Туберозова с видимым замешательством и смущением.

– Господи, да не горим ли мы, отец Савелий! – воскликнула, в перепуге бросаясь в комнату мужа, протопопица, но тотчас же на пороге остановилась и поняла, в чем заключалась история.

Протопопица увидела в окна, что выходили на двор, дьякона Ахиллу, который летел, размахивая рукавами своей широкой рясы, и тащил за ухо мужа туберозовской служанки Домницели мещанина комиссара Данилку.

Протопопица показала на это мужу, но прежде чем протопоп успел встать с своего места, дверь их передней с шумом распахнулась, и в залу протоиерейского дома предстал Ахилла, непосредственно ведя за собою за ухо раскрасневшегося и переконфуженного комиссара Данилку.

– Отец протопоп! – начал Ахилла, бросив Данилку и подставляя пригоршни Туберозову.

Савелий благословил его.

За Ахиллою подошел и точно так же принял благословение Туберозова Данилка. Затем дьякон отдернул мещанина на два шага назад и, снова взяв его крепко за ухо, заговорил:

– Прохожу, слышу говор. Мещане говорят о дожде, что дождь послан после молебствия, а сей (Ахилла уставил указательный палец левой руки в самый нос моргающего Данилки), а сей опровергал это.

Отец Туберозов поднял голову.

– Он говорил, – опять начал дьякон, потянув Данилку за ухо, – что дождь, сею ночью шедший, после вчерашнего мирского молебствия, не по молебствию воследовал.

– Откуда ты это знаешь? – спросил Туберозов стоящего перед ним растрепанного Данилку.

Сконфуженный Данилка молчал.

– Говорил, отец протопоп, – продолжал дьякон, – что это силою природы последовало.

– Силою природы? – процедил, собирая придыханием с ладони крошечки просфоры, отец Туберозов. – Силою природы тоже вот такие пустомели и неучи, как ты, рождаются, но и то силою той же природы на них посылается учительная лоза, вводящая их в послушание и в разум. Где ты это научился таким рассуждениям? А!

Говори, я тебе приказываю.

– По сомнению, отец протопоп, – скромно отвечал Данилка.

– Сомнения, как и самомнения, тебе, невежде круглому, вовсе не принадлежат, и посему ты вполне достойное по заслугам своим и принял, – решил отец протопоп, а встав с своего места, сам своею рукою завернул Данилку лицом к порогу и сказал: – ступай вон, празднословец, из дома моего к себе подобным.

Выпроводив за свой порог еретичествующего Данилку, отец протоиерей опять чинно присел, молча докушал свой чай и только тогда, когда все это было обстоятельно покончено, сказал дьякону Ахилле:

– А ты, казак этакий, долго еще будешь свирепствовать? Не я ли тебе внушал оставить твое заступничество и не давать руками воли?

– Нельзя, отец протопоп; утерпеть было невозможно; потому что я уж это давно хотел доложить вам, как он все против божества и против бытописания; но прежде я все это ему по его глупости снисходил доселе.

– Да; снисходил доселе.

– Ей-Богу снисходил; но уж когда он, слышу, начал против обрядности...

– Да.

Протопоп улыбнулся.

– Ну, уж этого я не вытерпел.

– Да, так надо было всенародно подраться!

– Отчего же, отец протопоп? Святой Николай Ария всенародно же...

Отцу протопопу слово это напомнило давний, но приснопамятный разговор его с губернатором, и он сверкнул на дьякона гневным взором, вскочил и произнес: – что? Да ты немец что ли, что ты с Николаем угодником-то стал себя сравнивать!

– Отец протопоп, вы позвольте; я же совсем не сравниваю.

– То святой Николай, а то ты! – перебил его отец Туберозов. – Понимаешь, ты! – продолжал он, внушительно погрозив дьякону пальцем. – Понимаешь ты, что ты курица слепая; что ты ворона, и что довлеет тебе, яко вороне, знать свое кра, а не в эти дела вмешиваться.

– Да я, отец протопоп...

– Что, “отец протопоп”? Я двадцать лет отец протопоп и знаю, что “подъявый меч, мечом и погибнет”. Что ты костью-то размахался? Забыл ты, что в костью два конца? А! Забыл? забыл, что один по нем шел, а другой мог по тебе пойти? На силищу свою, дромадер, надеялся! Не сила твоя тебя спасла, а вот что, вот что спасло тебя! – произнес протопоп, дергая дьякона за рукав его рясы.

– Так понимай же и береги, чем ты отличен и во что поставлен.

– Что ж, я ведь, отец протопоп, свой сан никогда...

– что!

– я свой сан никогда унижить не согласен.

– Да, я знаю, ты даже его возвысить стремишься: богомольцев незнакомых иерейским благословением благословляешь... – с этим словом протопоп сделал к дьякону шаг и, ударив себя по колену, прошептал, – а кто это, не знаете ли вы, отец дьякон, кто это у бакалейной лавки, сидючи с приказными, папиросы курит?

Дьякон сконфузился и забубнил:

Божедомы. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru

– Что ж, я точно, отец протопоп... Этим я виноват, отец протопоп... но это больше ничего, отец протопоп, как по неосторожности, ей-право, отец протопоп, по неосторожности.

– Смотрите, мол, какой дьякон франт, как он хорошо папиросы муслит.

– Нет; ей-право, ей, великое слово ей-ей, отец протопоп. Что ж мне этим хвалиться? Но ведь этой невоздержностью не я один из духовных грешен.

Туберозов оглянул дьякона с головы до ног самым многозначимым взглядом и, подняв голову, спросил:

– Что же ты, хитроумец, мне этим сказать хочешь? То ли, что, мол, и ты сам, отец протопоп, куришь?

Дьякон смутился и ничего не ответил.

Туберозов указал рукою на угол комнаты, где стояли три черешневые чубука, и проговорил:

– Что такое я, отец дьякон, курю?

Ему опять отвечало одно молчание.

– Говори же, что я курю? Я трубку курю?

– Трубку курите, – ответил дьякон.

– Трубку, отлично. Где я ее курю? Я ее дома курю?

– Дома курите.

– В гостях, у хороших друзей курю?

– В гостях курите.

– А не с приказчиками у лавок курю! – вскрикнул вдруг, откидываясь всем телом назад, Туберозов и с этим словом, постучав внушительно пальцем по своей ладони, добавил, – ступай к своему месту, да смотри за собою. – С этим отец протопоп стал своею большущею ногою на соломенный стул и начал бережно снимать рукою желтенькую канареечную клетку.

В это время отпущенный с назиданием дьякон было тронулся молча к двери, но у самого порога вздумал поправиться от поражения и, возвращаясь шаг назад в комнату, проговорил:

– Извините меня, отец протопоп, я теперь точно вижу, что он свинья и что на него не стоило обращать внимания.

– А я тебе подтверждаю, что ты ничего не видишь, – отвечал, тихо спускаясь с клеткой в руках со стула, отец Туберозов. – Я тебе подтверждаю, – добавил он, подмигнув дьякону устами и бровью, – что ты слепая ворона и тебе довлеет твое кра. Помни лучше, что где одна свинья дыру роет, там другим след кладет.

– Тьфу! Господи милосердный, и опять не в такту! – проговорил в себе Ахилла-дьякон, выскочив раздурманенный из дома протопоба, и побежал к небольшому желтенькому домику, из открытых окон которого выглядывала целая куча белокуренных детских головок.

Дьякон торопливо взшел на крылечко этого домика, потом с крыльца вступил в сени и, треснувшись о перекладину лбом, отворил дверь в низенькую залу. По зале, заложив назад маленькие ручки, расхаживал сухой, миниатюрный Захария в подряснике и с длинной серебряной цепочкой на запавшей груди.

Ахилла-дьякон входил в дом к отцу Захарию совсем не с тою физиономиею и не той поступью, с какими он вступал к отцу протопобу. Напротив, даже самое смущение его, с которым он вышел от Туберозова, по мере его приближения к дому отца Захарии все исчезало и, наконец, на самом пороге заменилось уже крайним

Божедомы. Николай Семенович Лесков Teskovniko1ai.ru
благодущием. Дьякон спешил вбежать в комнату как можно скорее и от нетерпения еще у порога начинал:

– Ну, отец Захария! ну... брат ты мой... ну!..

– Что такое? – спросил с кроткою улыбкою отец Захария и, остановясь на одну минутку перед дьяконом, сказал, – чего егозишься, а? чего это? чего? – и с этим словом священник, не дождавсь ответа, тотчас же заходил снова.

Дьякон прежде всего весело расхохотался и потом воскликнул:

– Ну, да и был же мне пудромантель! Ох, отче, от мыла голова болит.

– Кто же? а? кто, мол, тебя пробирал-то?

– Сам, брат, министр юстиции.

– Какой, какой министр юстиции?

– Да ведь один у нас министр юстиции.

– А, отец Савелий.

– Никто же другой. Дело, отец Захария, необыкновенное по началу своему, и по окончанию необыкновенное. Смял все, стигостил; повернул Бог знает куда лицом и вывел что такое, чего рассказать не умею.

Дьякон сел и с мельчайшими подробностями передал отцу Захарию все свою историю с Данилой и с отцом Туберозовым. Захария, во все время этого рассказа, все ходил тою же подпрыгивающей походкой. Только лишь он на секунду приостанавливался, по временам устранял с своего пути то одну, то другую из шнырявших по комнате белокурых головок, да когда дьякон совсем кончил, то, при самом последнем слове его рассказа, закусив губами кончик бороды, проронил внушительное: – да-с, да, да, да – однако, ничего.

– Я больше никак не рассуждаю, что они в гневе и еще...

– Да; и еще что такое? Подите вы прочь, пострелята! Так, и что такое еще? – любопытствовал Захария, распахивая в то же время с дороги детей.

– И что я еще в это время так неполитично трубки коснулся, – объяснил дьякон.

– Да; ну, конечно... разумеется... отчасти оно могло тоже... да; но, впрочем, все это... Подите вы прочь, пострелята! впрочем... Да подите вы... кыш! кыш! Впрочем, полагать можно, что они не на тебя совсем недовольны. Да, не на тебя, не на тебя.

– Да и я говорю себе то же: за что ему на меня быть недовольным?

– Да, это не на тебя: это он... Да подите вы с дороги прочь, пострелята!.. Это он душою... понимаешь?

– Скорбен, – сказал дьякон.

Отец Захария помахал ручкою против своей груди и, сделав кислую гримаску на лице, проговорил:

– Возмущен.

– Уязвлен, – решил дьякон Ахилла и простился с Захарией и ушел.

И дьякон совершенно этим успокоился и даже, встретясь по дороге домой с Данилою, остановил его и сказал:

– А ты, брат Данилка, на меня не сердись; я если тебя и наказал, то по христианской обязанности моей наказал.

– Всенародно оскорбили, отец дьякон! – отвечал Данилка тоном обиженным, но звучащим склонностью к примирению.

– Ну и что ж ты теперь со мною будешь делать, что обидел? Я знаю, что я обидел, но когда я строг?.. Я же ведь это не нагло; я тебя ведь еще в прошлом году, когда застал тебя, что ты в сенях у городничего отца Савельеву ризу надел, я говорил: “Рассуждай, Данила, по бытописанию как хочешь, я этого по науке не смыслю, но обряда не касайся”. Говорил я ведь тебе этак или нет? Я говорил: “Не касайся, Данила, обряда”?

Данилка нехотя кивнул головою и пробурчал:

– Может быть, что и говорили.

– Нет, ты не ври! я наверно говорил, – продолжал дьякон. – Я говорил: “не касайся обряда”, – вот всё! А почему я так говорил? Потому что это наша жизненность, наше существо, и ты его не касайся. Понял ты это теперь?

Данило только отвернулся в сторону и улыбался: ему самому было смерть смешно, как дьякон вел его по улице за ухо, но другие находившиеся при этом разговоре мещане, шутя и тоже сдерживая смех, упрекали дьякона в излишней строгости.

– Нет; строги вы, сударь, уж очень не в меру строги, – говорили они ему.

Ахилла-дьякон, выслушав это замечание, добродетельно вздохнул и, положив свои руки на плечи обоих мещан, сказал:

– Строг!.. – и, подумав минутку, добавил: – Это правда: я строг; но зато я и справедлив.

– Что же справедливы? Не Бог знает как вы, отец дьякон, и справедливы; потому что он, Данило, много ли в том виноват, что повторил, что ученый человек сказывал? Это ведь по-настоящему, если судить, так вы Варнаву Васильича остепенять должны были, потому что он это нам сказывал, а Данило, разумеется, сомневался только, что, говорит, сомнение теперь, что не то это, как учитель говорил, от естества вещей, не то от молебна? Вот если бы вы учителя опять, как нагдась, оттрясли, – точно это было б закон.

– Учителя?.. – Дьякон развел широко руки, вытянул к носу хоботком обе свои губы и, постояв так секунду пред мещанами, прошептал:

– Закон?.. Закон-то это, я знаю, велит... да вот отец Савелий не велит... и невозможно!

VI

Кроме всех известных уже нам старогородских обывателей, здесь не последнее место занимала жена здешнего городничего Ольга Арсентьевна, с которой нам еще не довелось встретиться, но с которой теперь необходимо познакомиться. Городничему Порохонцеву в настоящую пору лет за шестьдесят – жене его едва минуло тридцать; городничий хил, худ и как бы подорван, – жена его в полном разгаре сил и здоровья. Пара эта, совершенно неровная по летам, ведет жизнь согласную и мирную. Отношения белой, вальяжной и свежей Ольги Арсентьевны к высокому, сухому, немощному плотью, но бравому молодую душою ротмистру Порохонцеву самые добрые; отношения его к ней еще нежнее. Люди эти платят друг другу некие святые долги и по исправном платеже этих долгов вовсе не худо устроили жизнь свою. Ротмистр был рыцарем своей дамы и сделал ей более, чем поднял бы перчатку с арены, по которой носится выпущенная пантера; жена его делала теперь более, чем могла сделать дама, сопутствовавшая своему рыцарю в платье его оруженосца. Порохонцев сохранил ее стыд, все значение которого будет понятно лишь той, кто был близок такому стыду и видел его приближение не в столице, где лишь всем до себя, а там, на тихих пажитях России, где щадят друг друга редко и всякому дело до совести своего ближнего; она оценила это рыцарство и счастливит его одинокую старость тем счастьем, которое может понять тоже только тот, кому уже начинает кивать издали одинокая старость.

Поводом к устройству союза их была маленькая история, начатая весьма обыкновенно, но конченная, как мы уже сказали, рыцарски. Это была следующая история.

У Ольги Арсентьевны есть до сих пор в живых и отец, и мать, и сестра. Отец ее

англичанин Артур Пайкрофт родился в России от отца англичанина и матери англичанки, выписанных из Йоркшира старым князем Праволамским для устройства его обширных имений, введения в них рационального хозяйства и увеличения доходов. Старик Пайкрофт долго возился, реформируя княжеские имения, и в них же и умер прежде, чем достиг увеличения доходов. Ему в должности главного управителя наследовал Артур Пайкрофт, отец Ольги Арсентьевны, рожденный и выросший в России и даже переделанный из Артура в Арсения, а из Пайкрофта в Покрова, и был он для всех, кроме соседей-дворян, умевших выговаривать иностранное имя, Арсентий Иванович Покров. Этот Пайкрофт и жену себе взял уже из русского дома и вел русскую жизнь, да и в душе уж совсем обрусел и из всего английского уберег у себя нечто не наше в характере: он не скоро дружил, и зато не раздруживался. Он для порядка служил и в полку и был в отставке корнет. В полку он сдружился с Порохонцевым, и дружба их с той поры все крепнет до сего дня. Выйдя в отставку и занявшись хозяйством, Пайкрофт по-прежнему жил у старого князя, а потом, по смерти того, стал служить молодому. Прошло так двадцать лет, и тогда в семействе Артура Пайкрофта, состоявшем из жены и двух расцветших дочерей, стряслась мещанская катастрофа. Артур Пайкрофт вручил князю без всякой расписки большую сумму денег, собранных с его имений. Князь проиграл ее и потребовал снова. Произошел спор. Пайкрофт не имел средств ни заплатить вторично требуемую сумму, ни доказать, что она однажды была уже уплачена. Он отдал ее, веря княжескому слову, и это слово обмануло его. Честному человеку угрожало имя вора. Пайкрофт, не сказав ни слова ни дочери, ни жене, отправился к Порохонцеву и открыл ему свое горе. Старики обнялись и друг у друга на плечах разрыдались.

– Дуэль! Едем: я убью его за тебя на дуэли! – решил Порохонцев.

– На дуэли!.. Нет; тогда все скорей поверят, что я вор, – отвечал англичанин.

– А, понимаю! – Ротмистр достал из шкатулки крепости на свой дом и свое имение; дал на них запись первому богатому купцу, у которого нашел кредит, и, разорив себя, отослал Праволамскому деньги.

Семейство Пайкрофт переехало из княжеского имения в город к Порохонцеву, и здесь старик Порохонцев вдруг неожиданно сделался женихом Ольеньки Пайкрофт. Говорили, что она сама предложила ему быть его женою, и это почти так и было. Ольга Пайкрофт заплатила отцовский долг Порохонцеву собою и заплатила так, что Порохонцев с свободной совестью мог принять эту расплату. Это было назад тому четырнадцать лет: тогда Порохонцеву было пятьдесят лет, – Ольге шестнадцать. С тех пор многое уже улеглось и устоялось. Старик Пайкрофт нашел себе другое место; князь промотался и ездит по городам с странствующим цирком; Ольга Арсентьевна состарилась на целые четырнадцать лет и слывет у всех мужчин за женщину очень умную, у женщин за непостижимую, подчас надменную, подчас сухую и всегда довольно резкую. В существе, в самом деле все это в ней понемножку и было. Сделавшись без всяких сборов, недуманно и негаданно женой старого друга своего отца, она скоро оценила все простое величье души Порохонцева и все значение его редкого поступка.

Четырнадцать лет они прожили в счастье. Ольга была счастлива, потому что умела бдеть над собой и не позволять себе домогаться иного счастья. Порохонцев блаженствовал потому, что видел счастливой жену. Ольга Арсентьевна прежде всего зарекомендовала себя мужу уважением к хорошим и терпимостью к худым сторонам его нрава и обычая. Он, женатый, жил, как жил до женитьбы; возился с конями, до которых был страстный охотник; играл в картишки, если были партнеры; надувал, как умел, лошадьми всякого, кто выдавал себя знатоком при покупке, и давал лошадь за полцены, кто покупал без выбора на его слово; держал праздную дворню; водился с барышниками и цыганами; держал у себя казачками своих же побочных детей и заставлял себя мыть и купать прежнюю свою фаворитку Аффимью. Ольга Арсентьевна привыкла все это вменять ни во что, а рядом с тем ни во что же вменять и все доходившие до нее толки и перетолки о ней самой. Ей было все равно, как о ней говорят, что о ней думают и как ее трактуют? Как чистый человек, знающий себе цену, она презирала всякие толки. Она жила сама в себе, не требуя ни от кого сочувствий и раздела мыслей. Так она провела целые десять лет жизни за фортепьяно и чтеньем. Вращаясь почти все это время в исключительно мужском кругу, она незаметно усвоила своему смелому и твердому характеру некоторую мужскую резкость, а уму ясность и развитие, при которых ей были смешны и сентиментальная чувствительность нервных особ ее пола, и их меланхолические страдания. Она была добра, но правосудна и не сентиментальна, что у провинциальных людей слывет за бесчувственность и резкость. Она знала всех женщин

Божедомы. Николай Семенович Лесков Teskovniko1ai.ru

своего города и знала, как которая злословила ее с десяток лет тому назад и не дружила ни с одной из них. На ее взгляд, Серболова была не в меру чопорна, Дарьянова не в меру вздорна и капризна, – все они мало интересны, и интереснее всех для нее была одна почтмейстерша, сорокапятилетняя сплетница, сочинявшая про всех и про все самые невероятные вещи. Ольга Арсентьевна слушала охотнее всех одну ее и говорила, что эта женщина приносит ей бесконечную пользу, служа беспрестанным напоминанием, что никогда не следует верить тому, что человек говорит дурного о другом человеке.

Ольга Порохонцева имеет много английской породы в крови: она высока, стройна, с бледным лицом и большими серыми глазами, глядящими на все с некоторою безобидной холодностью из-под очень черных бровей, которые она, по уверению почтмейстерши, красит, что, конечно, такая же правда, как и все, что можно услышать от почтмейстерши.

Ее общество любят мужчины, и она и сама без всякой женировки предпочитает мужское общество женскому. Она никогда не дала никому заметить, что она скучает, что ей хотелось бы другого места, других людей. Напротив, она вечно в своей тарелке, и с людьми, и без людей. Она любит поколоть в разговоре Дарьянова; любит смеяться с Ахиллой; слушает тихо попа Захария; целые часы готова провести в беседе с Туберозовым и без нетерпенья молчит, когда ее посетит Варнава Омнепотенский. Старик Порохонцев гордится, что его жену зовут умницей и что ее знакомство высоко ценится. В числе особых почитателей ее считаются Туберозов и предводитель Туганов. Туганов прежде всего знал историю ее отца и спрятал назад свою руку, когда ее однажды хотел взять и пожать князь Праволамский. Порохонцева знала это и в душе была очень благодарна Туганову. Потом Туганов увидел ее на уездном рауте. Здесь одна бедная гувернантка-француженка потеряла подвязные волосы, что возбудило над несчастной девушкой всеобщий хохот. Тихая и почти не принимавшая никакого участия в бале Ольга Арсентьевна не улыбнулась, а вспыхнула, подошла к гувернантке, сняла с своей головы подвязной шиньон и, показав его перед всеми француженке, сказала: “Не конфузьтесь, мое дитя. – Здесь у всех точно так же, как и у вас, надеты фальшивые волосы”. – Старый волтерьянец заплодировал и после сказал:

– Да, в этой барыне все не общеармейское, а живьем бьет, – и пожелал с ней познакомиться. Их познакомили, и с тех пор Туганов никогда не упускает случая, проезжая через Старый Город, поклониться его городничихе.

Такова была дама, и таков был дом, где протоиерей Туберозов должны были свидеться с предводителем Тугановым и вновь прибывшим старогородским гостем господином Термосёсовым.

Увидим, как это, при каких обстоятельствах произойдет и что отсюда для каждого из них впоследствии.

VII

День, наступивший после того дня, в который Ахилла в ревности своей о вере устроил публичный скандал с комиссаром Данилкой, был днем рождения Порохонцевой. Этот день всегда праздновался в доме Порохонцевых очень скромно и тихо, но вовсе не праздновать его было невозможно: в уездном городе не принято говорить “нет дома” и не скажешь “не принимают”. В первом случае наведут справки, где же вы и через которую заставу выехали, и уличат во лжи; а второе так просто решительно невозможно. Как это не принимают? и что это такое значит – не принимают? Не принято это здесь, не принимать.

Принимает сегодня и Ольга Арсентьевна всех и каждого, кого удосуживает явиться к ней и принести ей поздравление и “дань своего глубочайшего уважения”, дань, упоминать про которую и до сих пор еще не забывают тонкие приказные из семинаристов. Дом городничего Порохонцева утратил много своего официального значения с тех пор, как в недавнее время от обязанностей ротмистра самые существенные отошли к уездному начальнику Дарьянову, и Порохонцев de facto остался просто полицеймейстером уездного города, но люди его помнят, и теперь за утренним пирогом у них весь город: здесь и протопоп, и Захария, и Ахилла, и лекарь, Дарьянов, и акцизный, и Варнава, и жена акцизного, и почтмейстерша с двумя белеленистыми дочерьми в дальновидном декольте, и тощий почтмейстер с серьгой в левом ухе. Нет только одной Дарьяновой, отсутствие которой, впрочем, беспокоит одну почтмейстершу. Эта полная, животрепещущая дама заметила на лице Дарьянова следы таинственных тревог и не замедлила сообщить, что у него с женой

опять, наверное, была история: а на вопрос, почему она это знает? она отвечала Порохонцевой: “Да как же, душка; вы смотрите: весь как разваренный и глаза, вы видите?”

– Ничего не вижу, – отвечала ей хозяйка.

– Рыбьи глаза! Это верный знак у мужчины, что он расстроен и даже чем именно расстроен. Ах, мерзавка она: я вчера видела их Аксинью... Вы знаете, я сама мать дочерей, которые могут замуж выйти, и сплетен не люблю; но, Боже мой, ведь верить невозможно... Она вторую ночь одна запершись спит в спальне... Да что, и он дурак... Какой это мужчина, чтоб женщине позволил этак... Комедии-то этакие строить! Я говорю Аксинье: “Благодарю, дружок; но больше Бога ради... не говори, не говори; пожалуйста, не говори!” Знаете, как хотите: я сама женщина и имею жалость и сострадание... Помилуйте, мой друг, ведь это ж подлость... ведь через этаких-то вот особ девицы-то и по сту лет сидят на материнской шее... Да, да, вот через них: чрез этих Милитрис Кирбитьевин... “Ах, ах, ах я нетленная!” Тьфу, что такое? вздор!.. вздор твое нетленье! Я женщина...

Но среди этих рассуждений почтмейстерши Порохонцева была прервана восклицанием мужа, который, подойдя случайно к окну, громко воскликнул: “Боже мой! Оля, гляди, ведь это к тебе!”

– Кто?

– А ты посмотри.

Порохонцева, а с ней вместе и все бывшие в комнате гости бросились к окнам, из которых было видно, как с горы осторожно, словно трехглавый змей на чреве, опускалась могучая тройка рослых буланых коней <...>. [12]

VIII

<...> Гости раскланялись и разошлись в разные стороны.

Николая Афанасьевича с сестрою быстро унесли окованные бронзою троечные “арбатские” дрожки Плодомасова, а Туберозов тихо шел за реку вдвоем с Дарьяновым.

Перейдя вместе мост, они на минуту остановились, и протоиерей, оборотясь к реке, спросил:

– А помните ли вы, Валерьян Николаевич, наш последний разговор, который мы покончили на этом месте?

– Это о вашем предприятии? Как же не помнить? Что же вы-таки не отказались его делать?

– Не в том дело-с. А знаете ли вы, что я только ныне от того разговора освежился. Эта старая сказка, которую знал я и двести раз слышал, эти вязальные старухины спицы – только могли успокоить меня от того раздражения, в которое меня ввергли ваши резоны. А что б ведь, кажется, рассказано? самая скучная жизнь, не правда ль?

– Чья? Ах, эта-то, где спички стучали, да карликов для завода женили.

– Да. Не правда ль, скучная?

– Во всяком разе, невеселая.

– Но все же вот жизнь-то, заметьте, все жизнь, а не то, что сухие резоны. – От ней, от хитрой, от нехитрой все человеческой силой, русским духом пахнет и по смерти.

– Старенька песенка, отец Савелий! ведь это все опять к тому, что “древле все было лучше и дешевле”?

– Нет-с, не дешевле; а к тому, что, как вот там себе хотите, только ваши речи и резоны для меня мертвы и часто скучны, а эти прутики старушек, хоть ударяют монотонно, но из них для внуков будет литься долгих саг источник! А человеку,

сударь, как вы хотите, хочется дожить свои дни, не разрывая мира с своей старую сказкой. Но, позвольте, однако, что ж это я вижу? – заключил протоиерей, внезапно воззрившись в быстро несшееся с горы облако пыли, из которого вырезался дорожный троечный тарантас. В этом тарантасе сидели два человека средних лет: один – высокий, худой, черный, с огненными глазами и несоразмерной величины верхней губою; другой – суетливый, выбритый, с лицом совершенно бесстрастным и светлыми водянистыми глазками.

IX

Экипаж с этими пассажирами быстро проскакал по мосту мимо Туберозова и Дарьянова и, переехавши реку, повернул берегом влево.

– Кто бы это? – сказал протоиерей.

– Да это, если я только не ошибаюсь, это Борноволоков – он не переменялся, и я узнаю его. Так и есть, что это он: вон они и остановились у ворот Бизюкина.

– Скажите ж на милость, который из них судья?

– А этот, что слева: маленький, щуплый, как вялая репка. Это Борноволоков.

– А тот-то, другой?

– А это его письмоводитель. Жена слышала его фамилию, да я позабыл... Да, Термосёсов.

– Термосёсов!

– Да, Термосёсов.

– Господи, каких у нашего Царя людей нет!

– А что такое?

– Да как же, помилуйте: и губастый, и страшный, и фамилия Термосёсов!

– Не правда ль, ужасно! – воскликнул, весело расхохотавшись, Дарьянов.

– Ужасно! – отвечал, желая улыбнуться, Туберозов, но улыбка застыла и не сошла с его уст.

С этим протоиереем с Дарьяновым и расстались, оба чувствуя, что повторенное каждым из них несколько раз в разговоре слово “ужасно” село где-то у них под сердцем. Протоиерей, для которого новые суды столь много лет составляли отраднейшую мечту в его жизни, вдруг почувствовал, что он почему-то совсем не радуется осуществлению этой давней мечты. Со вчерашнего дня, с того часа, когда он узнал, что этот первый долгожданный судья, которого он видит наконец на позднем закате дней своих, уже издали постачествует с Бизюкиным и входит в дом, которым ему, по мнению Савелия, следовало бы гнушаться, он чувствует, что даже как бы боится этого суда. Он, зачастую размышлявший по поводу бесправия обиженных в судах, которыми вся Русь была так много лет “черна неправдой черной”; он, представлявший весь трепет, которым обнимутся лукавые сердца при новом суде, вдруг сам вместо радости почувствовал этот самый трепет, когда потная тройка подомчала перед его глазами нового судью к воротам бизюкинского дома.

– Чего этот неуместный трепет? Чего мне-то? мне-то чего их бояться? Чиста моя совесть, и умыслов злых не имею, – чего же?

Но сердце по-прежнему робко трепещет и замирает, как будто чужа подоспевшую напасть.

– Нет! прочь недостойное чувство! Это я стар, я отвыкнул от жизни и все новое встречаю с недостойным старческим страхом лишь по одному тому, что оно не так будто начинается, как бы желалось. Свет не боится тьмы: пусть кто как хочет мыслит, а все идем к свету, все в царство правды входим!

И протоиерей, утешив себя таким рассуждением, пообедал с женой и уснул, посадив

Божедомы. Николай Семенович Лесков Teskovniko1ai.ru

Наталью Николаевну возле себя в кресло и не выпуская целый час из своей руки ее желтую ручку. – Ему было легче при ней, как встревоженному человеку бывает легче в присутствии дитяти.

Не храбрый протопопа вернулся домой и Дарьянов. Он, расставшись с Туберозовым, пошел домой, как будто спеша застать в живых кого-то такого, кого глазам его непременно надобно было увидеть. Он взбежал в свою переднюю почти бегом и, бросив на ясеневый диван свою шляпу и палку, бросился в залу, громко крикнув: “Милушка! Мила! Милена!”

– Что? – отозвалась ему на этот зов из гостиной читавшая там жена.

– Где ты? Иди же скорей: я так долго сидел, так долго не видел тебя, и стало скучно.

– Новость! – сказала, тихо улыбнувшись, Мелания. – А мне так весело.

– Что ж ты здесь делала?

– Читала.

– Брось ты это чтение! Дай эту книжку мне сюда. Дай! Дай!

– Зачем? Что это ты такой?

– Какой? Хороший? да? не правда ль? я об тебе соскучился. Похвали меня. Пай я мальчик?

– Не знаю, – протянула кокетливо Дарьянова.

– Неправда, знаешь, знаешь. Дай ручку мне, – сказал он, быстро выхватив у нее книгу и бросясь перед женой на колени, ревниво обнял ее стан и жадно покрыл поцелуями ее руки.

– Любишь? – чуть слышно спросила его Мелания, тихо шевеля двумя тонкими пальчиками русые кудри мужа.

– Без памяти, Миля!.. А ты?

– Я свободна.

– Любить?

– Что мне Бог вложит в сердце.

Дарьянов быстро встал с колен и, сделав в сторону шаг от жены, проговорил:

– Ты дерево, Мила.

– Да; – сказала жена.

В этом да было столько оброненного печального и грустного, что Дарьянов даже оглянулся на жену. Она была красна, как девочка, которая только что отреклась по неосторожной глупости от дорогой вещи, потому что ждала, что ей предложат эту вещь еще теплей и усердней, между тем как ее уносят за двери.

– Да; – строго сказал Дарьянов.

– Да, да, да, – повторила она, не зная сама, что лепечет.

– В тебе столько же чувства, как в этом столе! – проговорил муж, азартно стукнув несколько раз косточками пальцев по стоящему перед женою столу.

– Иди вон! – тихо, но резко проговорила в ответ на эту выходку Мелания, и Дарьянов, взглянув ей в лицо, не узнал ее. Оно горело не прежним теплым румянцем сконфуженного ребенка, а яркой сухой краскою гнева рассерженной женщины.

– Иди прочь! иди прочь от меня... резонер! – повторила она громко и, быстро

Божедомы. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru
поднявшись с своего места, указала протянутой рукой мужу на двери. – Говорит о
свободе и рвет книги из рук, и стучит на жену кулаками...

– На тебя кулаками? Я стучал на тебя кулаками?!

– Да, да, да! Ты на меня кулаками! Чего вы хотите? Дайте инструкцию, какой быть
мне? Вы отучили меня объясняться в любви и вдруг по капризу: “Стань передо мной,
как лист перед травой”. Минута что ли такая пришла? – Я не хочу такой любви.

Дарьянов посмотрел с презрением в глаза жене и сказал:

– Какое вы гадкое, циническое существо!

Дарьянова подняла с полу брошенную мужем книгу, опустилася в угол дивана и,
поджав под себя спокойно ножки, стала не спеша отыскивать замешанную страницу.

Дарьянов пожал презрительно плечами и, качая головой, проговорил:

– Нет; верно, сколько ни лепи, ничего не слепишь!.. Туберозов прав: это
безнатурщина какая-то кругом.

– Очень нужны мне мнения вашего Туберозова! – уронила, не отрывая глаз от книги,
Мелания.

– Что-с?

Мелания не ответила ни слова.

Дарьянов плюнул и ушел в свою комнату. Повернув за собою в двери ключ, он
повалился на диван, уткнув голову в гарусную подушку, и сделал усилие заснуть.
Его волновало самое неприятное, досадливое чувство: ему было досадно, что не
ладится жизнь; но воля и молодой организм взяли свое, и Мелания Дарьянова, сидя
в своем капризном уголке, через полчаса услышала тихое и ровное дыхание
уснувшего мужа.

Это ее сначала рассердило, через мгновение рассмешило: она встала, отбросила от
себя книгу и, тихо ступая на одних носках, сделала несколько шагов к запертой
мужниной двери. Нет и сомненья, – он спит.

– А-а, мой дружок, так вот что! – подумала себе молодая женщина, отходя от
дверей к стоящему у окна креслу. – Вас ревность кусает! Ха-ха-ха!

Она закрала лицо платком и, сдерживая смех, опустилася в кресло.

– Ревность! Ревность!.. Познакомьтесь-ка с этим приятным зверьком... Он кусает; он
больно, он больно кусает!.. Вы спите?.. Нет, врете, знаем мы, знаем, какой это
бывает сон! О Господи! Да отомсти ж и в самом деле за меня!.. Так вот чем вас
берут, Валерьян Николаевич! вот ваша ахиллесова пята! Хотя это и не любовь, а
самолюбие вас мучит, да все равно, – сочтемся и на этом... Но интересно б знать,
кто этот... счастливцев, который грозит опасностью моему сердцу? Где он?

Она оглянулась с улыбкой кругом и, остановясь глазами на отпрягавшемся у ворот
Бизюкиных тарантасе Борноволокова и Термосёсова, сказала: “Уж не они ли, не эти
ль новые герои разрушат сон мой! Ха-ха-ха! Ведь, говорят, в провинциях всегда
новые люди одерживают победы... О Боже мой, как это глупо! Ха-ха-ха! О, если бы вы
знали, *mon cher walerian*, [13] как вы забавны, как вы досадно смешны!..

Она не удержалась и расхохоталась громким оглушительным смехом. Смех этот
разбудил Дарьянова, и Валериан Николаевич появился на пороге отворенной его
рукою двери. Лицо его было немного помято, волосы взъерошены, глазам своим он
хотел придать в одно и то же время нечто сдержанное и сатанинское.

– Я, кажется, немногого прошу, – начал он, вторя голосом выражению своей
физиономии.

Хохочущая Мелания не слышала, как он взмог, и потому звук мужниного голоса
испугал ее. Она вздрогнула, вскинула голову и, спрятав как можно скорей следы
недавнего смеха, спросила, насупивши брови: “Чего вы? О чем новая претензия?”

– Я, кажется, немногого, – начал Дарьянов. – Я, кажется, могу претендовать на право иметь покой в моем доме.

Мелания встала и, махнув по полу шлейфом, сказала:

– Да кто же вам мешает, – претендуйте! – и с этим она пошла в свою комнату.

– А вы хохочете...

– Что? что?

– Хохочете вы, вот что! Хохочете не вовремя; хохочете, когда я нуждаюсь в минуте покоя! Я вас прошу этого не делать!

Мелания стояла у своих дверей к мужу спиной и, взглянув на него через плечо, еще раз спросила:

– Что? Мне надо спрашивать у вас позволения, когда плакать, когда смеяться?

– Не спрашивать, а вам надо уметь понимать, когда что уместно.

– Ну я так понимаю, как делаю.

– А я вас прошу так не делать.

– А я не хочу.

– А не хотите, так я...

– Заставите меня понимать по-вашему?

– Не заставлю, а скажу вам, что это глупо!

– А мне кажется, что вы сами глупы.

– Мещанка! – прошипел Дарьянов.

Мелания в ответ расхохоталась.

– Чего этот нелепый смех? Чего? чего вы смеетесь?

– Чего? Вы хотите знать, чего я смеюсь? Я смеюсь того, что вы смешны мне с вашей свободой, с вашим равнодушием, с вашей ревностью и с вашим самовластием. Смешны; понимаете, ха-ха-ха... смешны, смешны... ха-ха-ха... Так смешны, что только вспомя, что вы существуете на свете, я не могу не смеяться.

– Но вы послушайте!

– А я не хочу ничего слушать!

– Вы можете все делать, но...

– Все могу.

– Но я в своем доме: вы не вправе нарушать здесь моего спокойствия.

– Мне нет до него дела.

– Так вы этак еще целый сонм друзей сюда к себе приведете, которых я видеть не хочу, и тоже скажете, что вам ни до чего нет дела?

– А мне что за дело, кого вы хотите видеть, кого не хотите? Вы всех не любите, кого люблю я. Я не намерена более стесняться вашими вкусами.

– Послушайте! – азартно крикнул Дарьянов и хотел взять жену за руку.

– У-убирайтесь! – произнесла, отстранив его руку с гримасой, Мелания и сделала

Божедомы. Николай Семенович Лесков Teskovniko1ai.ru
шаг в свою комнату. В это время потерявший тихую ноту Дарьянов вскрикнул:

– Нет, вы выслушаете! – и хотел наступить на шлейф жениного платья; но та быстро откинула рукой этот шлейф и высоко поднятая нога Валерьяна Николаевича, мотнувшись по воздуху, глупо шлепнула о пустой пол подошвой.

– Свободный фразер! – нетерпеливо сорвала ему Мелания и, ступив за порог в свою спальню, быстро заперла за собою на ключ дверь под самым носом у мужа.

Дарьянов был чрезвычайно сконфужен и не знал, как поднять свою ногу; но не менее была переконфужена и жена его, которая, очутившись в своей спальне, встретила лицом к лицу с входящей к ней Порохонцевой.

Мелания была так сконфужена, что, увидя Ольгу Арсентьевну, покраснела до самого воротничка и, кинувшись на плечи к гостье, проговорила: “Ах, chère Olga, мы только сражались!..”

– И, кажется, запираешься в крепость? – сказала шутя Порохонцева.

– Ах, я очень... я очень и очень несчастна, милая Ольга, – Мелания заплакала.

– Все вздор и все сочиняешь.

– Нет, он деспот... его никто ведь не знает, какой он... Оличка!.. душка!.. голубчик мой! сжался!

– Что, Мелания? Что я могу тебе сделать?

Дарьянова сложила отчаянно руки и, простирая их к гостье, воскликнула:

– Открой мне, каким образом ты приобрела себе власть над мужем!

Порохонцева посмотрела на нее и тихо проговорила:

– Позволь мне, моя милая, вместо ответа тебе в глаза расхохотаться, – и с этим она тихо повернулась и стала снимать перед зеркалом свою шляпу.

Х

Порохонцева пришла сюда на минуту по делу, – ей нужны были кое-какие хозяйственные вещи, которыми она хотела позаимствоваться у Дарьяновых для ожидаемых ввечеру гостей; но, сделавшись свидетельницей так называемого сражения, она вынуждена была замедлить свой визит и принять несколько иную позицию. Дарьянова неотразимо стремилась оправдаться перед нею в сцене, которой Порохонцева была невольной свидетельницей, и засыпала ее откровениями. Ольга Арсентьевна делала всякие усилия остановить эти потоки слов, но усилия ее были безуспешны.

– Вы напрасно и останавливаете меня, – говорила ей Мелания, – потому что я вовсе вам не жалуюсь и говорю это не по слабоволию. Я до сих пор никому не говорила про нашу жизнь...

– И хорошо поступили бы, мой друг, если бы не делали этого исключения и со мною, – отвечала Порохонцева. – Что я за судья вам?

– Не судья, chère Olga; но вы умная женщина; вы прекрасно поставили себя с своим мужем: научите меня: как вы этого достигали?

– Я никак этого не достигала, – это само так сделалось.

– Но вы, однако, можете же мне сказать: в чем же, по-вашему, причина, что у нас это не так; что я этого не достигаю?

– Нет, не могу.

– То есть не хотите?

– Нет, я не могу, потому что я ничего не знаю и никого не могу учить. Я сама живу как живется.

- Нет, вы всегда такая хитрая; вы скрываете.
- Что же я скрываю?
- Как вы ссорились с вашим мужем. Я откровенна, я вам это говорю, а вы скрываете.
- Да мы никогда не ссорились.
- Все ссорятся.
- А мы не ссорились.
- Ну так в чем же этот секрет?
- Мы не мешаем друг другу.
- Да; он тоже всем говорит, что он мне ни в чем не мешает; но все это фразы: я плбчу – это ему неприятно; я смеюсь – это его бесит. Это называется свобода! Пусть он лучше мне напишет правила, как я должна жить.
- Полноте, пожалуйста: какие глупости! Какие это можно писать правила?
- Конечно, можно! Я по крайней мере буду знать, чего он от меня хочет?
- Вы просто как кошка влюблены в вашего мужа и хотите, чтоб он беспрестанно вами занимался, – проговорила, улыбнувшись, Порохонцева.
- Я влюблена в моего мужа?
- Да; это *monais ton*, [14] говорят, но мы ведь, слава Богу, не большие барыни, и вы умница, что этого не слушаете.
- Я? Я... Я влюблена?
- Как кошка.
- Поздравляю вас с счастливым сравнением. Это сравнение не идет ко мне: я не кошачей породы.
- А царапаетесь?
- Потому что меня трогают.
- А вы хотите, чтобы он вас не трогал?.. Полноте врать, Мелания! Ваш муж, точно, виноват перед вами, но виноват тем, что дает вам слишком много воли.
- Скажете!
- Он резонирует с вами там, где должен бы просто сказать: “это так должно! Я так хочу”, – вот вы и мучитесь, и сочиняете себе напасти. Вы принадлежите к тем женщинам, которые непременно желают смотреть на мужа снизу вверх, а ваш Валерьян Николаич этого вам не устраивает: вот вы и несчастливы. Вас надо немножко в руках держать.
- Да вы ведь... я в самом деле напрасно с вами и говорю: у вас всегда женщина виновата.
- Конечно, напрасно: я это вам и прежде говорила.
- Вы сами женщина и всегда против женщин.
- Я против тех, кто не прав, кто виноват.
- Женщина против женщин! – воскликнула, презрительно пожав плечами, Дарьянова.
- Мужчины же бывают и обвинителями мужчин на суде и осуждают их, – отчего же

Божедомы. Николай Семенович Лесков Teskovniko1ai.ru
женщине не быть справедливой, Мелания? За что вы отнимаете у нас право быть справедливыми?

– Мне нет до этого дела!

– Как нет дела?

– Так, нет, да и кончено. Женщина поправа, женщина унижена, у женщины нет прав, и я больше ничего знать не хочу.

– И вдобавок ко всему этому вы отнимаете у нее первое человеческое право: не уступать мужчине в чувстве справедливости! Ведь выходит, что я за женщин, – вы против них теперь. Но перестанем говорить об этом: я к вам пришла за делом: будьте милы, ссудите меня кой-чем вот по этой записочке, – я к вам через часок пришлю солдата; а сами дайте мужу ручку, да приходите вечером ко мне.

– Нет, простите, душка: я все пришлю вам, но сама не буду.

– У нас будет Туганов.

– Так что ж такое?

– Он такой умница, – его всегда хорошо слушать.

– Ну, Бог с ним: мне уж надоело слушать умников. – Порохонцева встала и, взявшись за свою шляпу, проговорила:

– Мне будет очень жаль, что я вас не увижу у себя.

– Не сердитесь, пожалуйста, chère Olga.

– Сердиться не имею права, но все-таки досадно. Вы украшение наших бедных пиров.

– Ну, полноте!

– Конечно.

Дарьянова взглянула на себя искоса в зеркало и, проведя язычком по розовой губке, сказала:

– Не льстите, пожалуйста! А впрочем, это все равно: я прошу вас позволить мне остаться дома.

– Ну, как хотите, – отвечала ей, пожимая ее руку, Порохонцева. – Только мужа же своего по крайней мере, пожалуйста, пустите.

– Да разве я его когда-нибудь держу или могу удержать?

– Мелания!.. Разумеется, можете! – воскликнула, смеясь и тряся руку Дарьяновой, Порохонцева.

– Как раз! Чем это? – отвечала, начиная развеселяться, Мелания.

– Умом, любовью, сердцем... красотой! Мелания, вы так богато вооружены, что с вами невозможно бороться.

– Да; смейтесь.

– Кто вам сказал, что я смеюсь? Я вовсе не смеюсь!

– Очень ему все это нужно, моему мужу!

– Ему все это... очень нужно! – проговорила с ударениями Порохонцева и, крепко взяв за обе руки Меланию, еще добавила:

– Хотите властвовать, – не выходите противу мужчины с тем оружием, которым все они владеют лучше нас по грубости своей натуры! Не ветер, друг мой, – солнце срывает епанчу с плеч всадника!.. Тепла, тепла, терпенья, твердой воли больше

Божедомы. Николай Семенович Лесков Teskovniko1ai.ru
уладить жизнь, и жизнь уладится. У вас союзник страшный для мужчины.

– Что это?

– Красота.

– Ха-ха-ха! Какая вы идеалистка, Ольга!

– Идеалистка я!.. Мой друг! Упрек совсем некстати! Нет, я груба, груба до крайности; я вся матерьялизм ходячий, и я советую женщине отстаивать себя тем, что силою самих вещей дано ей в силу, а не... не сочиненьями людей, которые не знают жизни и непричастны ей. – Мужчины!.. ха-ха-ха! Да есть с кем – с ними воевать! Мы победители их с самого начала века! Венец творения, последняя кто создана и кто всех совершенней? – женщина! И нам-то с ними спорить! Нам их бояться! этих грубиянов! Нам плакать!.. – Фуй, какой позор! Пусть сокрушается и плачет тот, кто никому не нужен, а женщина, которая дает и счастье, и покой и красит жизнь мужчине!.. О, мой прекрасный друг: поверьте мне, раз верно понятая женщиною жизнь всегда ее поставит во главе семьи и госпожою жизни, но... pas de rêveries! [15]

Порохонцева поцаловала Меланию в обе ее розовые щечки и вышла, шепнув ей на пороге:

– Идите-ка, прелестная Мелания, к мужу, пусть не брюзжит, не ссорится... Выдерите ему уши да приводите его вечером... чтоб показать мне торжество женщины над мужчиною. Au revoir, [16] – я жду вас вместе с вашим мужем.

XI

В семь часов этого вечера к Дарьянову зашел Туберозов. Протоиерей был одет по-праздничному в новой голубой рясе, фиолетовой камилавке и с крестом на груди.

Дарьянов еще спал, когда пришел протопоп, и потому отец Савелий явился прямо к его жене.

– А я за Валерьяном Николаевичем, – сказал он. – Не сидится что-то мне дома. Думал, зайду за ним да пойдем вместе к Порохонцевой.

– Он, кажется, спит, – отвечала Дарьянова.

– Ну и путь себе поспит. – Рано еще: мужской туалет недолог; а вы что не одеваетесь?

– Да я еще не знаю, пойду ль я? – отвечала Дарьянова.

– Вот так прекрасно! Как это пойдете ль? Разве можно не пойти?

– А если пойду, то я и так могу пойти, не переодеваясь.

– Ну!.. Зачем же так?

– А что, отец Савелий?

– Да отчего ж себя не приукрасить чем возможно? Господь цветы пестрит и наряжает, а вы цветка изящней. Принарядитесь-ка, украсьтесь хорошенько: и я на вас на старости порадуюсь и посмотрю.

– Вот вы какой, отец Савелий!

– Да; а что же? – красота ведь восхитительна, глядя на нее сам молодеешь. Я всякого изящества поклонник. Идите-ка да приоденьтесь.

– Я право, не знаю, идти ль мне? – уронила в раздумье Дарьянова.

– Да чего тут не знать: бейте сбор; идут с гор, стройтесь, сдвиньтесь, в ряд сомкнитесь и отражайте! Ха-ха-ха, смертельно люблю жизнь и цветение. Прекрасна, строга и светлым умом и чистой душой в восторг приводящая женщина, это одушевляет человеческое общество. Собирайтесь, дружок, и пойдете!

Божедомы. Николай Семенович Лесков Teskovniko1ai.ru

Дарьянова тихо как бы хотя и нехотя вышла; а в это время протопоп, которому не ждалось и не сиделось в ожидании Туганова, постучался к хозяину. Дарьянов встал и впустил к себе гостя, но на приглашение идти вместе к городничему отвечал, что ему еще рано и что лучше пока напиться у него чаю и потом идти.

Туберозову не хотелось этого чаю.

– Что ж, посидим лучше там, – отвечал он. – Чего дома-то теперь торчать, да уж и жена-то твоя оделась.

– А-а! и она там будет!

– А что такое?

– Ничего; я так только спросил.

– Спросил так, как будто этого не ожидал ни за что.

– Да почему ж я могу знать, где она захочет быть? Это ее дело.

Протопоп посмотрел своему собеседнику в глаза и, неожиданно вздохнув, сказал:

– Прощай, Валерьян Николаич, я пойду.

Дарьянов подал ему руку.

В это время за дверь в гостиную зашуршало женское платье, и протопопу показалось, что платье это до сего времени было у самой двери и отходило от нее.

Он вышел на крыльцо и, спускаясь по ступенькам, увидел сошедшую с другого крыльца Дарьянову.

Красавица шла шибко, зажав губами накиннутую на лицо ombрельку.

– Готовы? Ну так, стало быть, вместе идем, – сказал Туберозов.

– Нет; я отдумала: я пойду к Бизюкиным, отец протопоп, – отозвалась дама, сиясь улыбнуться.

– Ну-у!

– А что такое?

Протопоп хотел было сказать что-то против этого намерения, но, приподняв шляпу, поклонился и только сказал:

– Нет, я так; – ничего.

Они раскланялись и пошли в разные стороны.

XII

Туберозов пришел в дом Порохонцевых первый. Городничий еще наслаждался послеобеденным сном, а Ольга Арсентьевна обтирала губкой свои камелии и олеандры, окружавшие угольный диван в маленькой продолговатой гостиной.

Хозяйка и протопоп встретились очень радушно и просто.

– Рано придрал я? – спросил протопоп.

– И очень даже рано, – отвечала, смеясь, хозяйка.

– Подите ж, – не сидится дома. Зашел было к Дарьяновым, чтоб вместе к вам идти, да они что-то...

– Что такое?

– Да кто их разберет! Он говорит “рано”, а она хотела к вам идти, да вместо того к Бизюкиным пошла.

- Муж в Тверь, а жена в дверь.
- И вправду. Как тяжело у них всегда. Люблю я и его, и ее, а уж бывать у них тягостно.
- Порознь оба они отличные люди, – тихо рассуждала, тщательно вытирая листок, Ольга Арсентьевна.
- А вместе не хороши, – договорил Туберозов.
- Вместе хоть брось, – докончила, сойдя с подножной скамеечки, хозяйка.
- Да, я тебе, друг Оленька, скажу, что меня эти их нелады даже и тревожат.
- Хорошего ничего нет, отец Савелий.
- Он извертел ее, избаловал, испортил...
- Он мальчик.
- И резонер.
- И резонер, если хотите.
- Чего бы, кажется: на этакую бабочку смотреть, да радоваться...
- Заметьте, что она его еще и очень любит! – вставила Порохонцева.
- Да; еще и любит; а он одно что знает, – все про свободу ей!
- И это врет.
- А она храбрая, да пылкая, ей нужен...
- Командир.
- Что?
- Командир ей нужен, говорю я.
- Ну... я этого не думаю.
- Отчего? Припомните, бывало, говорят, в старые годы бабушки наши из воительниц, воют, пока какой-нибудь гусарский полк не придет. С ума сойдут, повешаются гостям на шею, хорошенько посрамятся, да и за святость потом, – ближнего кости белить.
- Да, именно; хорошо еще, что нынче это...
- Что такое?
- Да все-таки уж, знаешь, больше гордости; сознания больше в женщинах: на гусаров не виснут.
- Как будто не все равно: на других виснут. Чем напугавший вас губан Термосёсов лучше гусара и разве он больше гусара женщину пожалеет?
- И ты права, мой друг; и ты права, моя разумная Олюша.
- Да разумеется: для одного ничего святого не было, и для другого то же самое.
- Но что ж, мой друг... Скажи ты мне... Я все же ведь кутейник, груб, а ты, как женщина, ты это лучше понимаешь: что ж их всех этих женщин тянет к этим шаболдаям? Я понимаю там... любовь... проступок в увлеченьи... но... но это-то скажи, пожалуй... Что это за вкус такой?
- Да просто гадкий вкус, отец Савелий! – с брезгливостью отвечала, приостановив

Божедомы. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru
на минуту свою работу, Порохонцева. – Добрая жизнь надоест. Знаете анекдот про Потемкина, как он, пресытись всем, что ему могла доставить роскошь, вспомнил за столом о ржавой севрюге. Это все равно одно и то же: гадости хочется.

– Скажи, какая ужась!

– Женщина смотрит в глаза всем спокойно, с ней обращаются с знаками уважения к ее полу: ее лаской счастливый, к ее ласке ревнуют; а она предпочитает, чтобы ее третировали en saignée.[17] И... даже, пожалуй, переуступали ее друг другу... да еще... может быть, и с одобрительной за прошедшую службу аттестацией.

– Так так, что в оны дни гусар, что ныне Термосёсов... – проговорил как сам собою Туберозов.

– ...Это все равно в известном смысле, – подсказала Порохонцева. – Тут дело в том, что в моде: шнуром расшитый негодяй иль негодяй нечёса. Забота, цель и хлопоты все в том, чтоб кто-нибудь не стоящий человеческого имени третировал нас канальями в укор тем, для кого мы заключали счастье.

– И знаешь что?.. – заговорил, быстро встав с места, Туберозов. – Я ужасно беспокоен, зачем она сегодня пошла туда?

– Да не все ли равно: не сегодня, так завтра пошла бы? Или вы надеетесь, что с завтрашнего дня она иначе будет жить с мужем?

– Д-да! Я кое-что хочу ему... так понимаешь... тонко... в виде рассуждений...

– Да, ну так за сегодня не беспокойтесь: Бизюкиной сегодня не будет дома. Я сейчас получила от нее записку, где она пишет, что муж ее, если и вернется в город, не может быть у меня, потому что должен остаться дома с их гостем, судьей; а она за то вызывается привести мне этого Термосёсова.

– Так еще хуже ж: Мелаша, значит, там с одними мужчинами будет беседовать!

– А вы мужчин боитесь для нее?

– А что ж?

– Э, полноте, отец Савелий! Сто тысяч самых гадостных мужчин не доведут до того, до чего шутя доведет одна пустая женщина. Женщин надо больше бояться, а не мужчин. Женщина женщине первая дурной путь показывает.

– “Баба бабу портит” – есть пословица.

– Ну видите – даже и пословица есть.

Протопоп подошел к Порохонцевой, взял ее тихо и осторожно обеими руками за голову и, приклонив к себе на грудь, проговорил:

– Ах ты министр-баба! И кротость голубя и мудрость змеи в себе одной соединила! Недаром, недаром, брат, тебя Ольгой назвали! Не скудей! – заключил он, вздохнув; – не скудей и не оскудевай такими дочерьми, земля русская!

И, благословив голову Порохонцевой, протопоп нагнул к ней лицо свое и отечески поцеловал ее в темя.

В эту же минуту под окнами дома послышался в густой пыли топот подкатившей четверки, и Туберозов, глянув в окно, громко воскликнул:

– Пармен Семенович! боярин милый! ты ль это, друг? О будь благословен и день, и час твоего сюда прибытья!

И старик опрометью бросился из комнаты навстречу к выходявшему из экипажа предводителю Туганову.

Часть третья

Новаторы

I

Божедомы. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru

Мы остановились на том, что Туберозов радостно встретил давно жданного им предводителя Туганова у порога пороховцевского дома; но мы должны оставить здесь на время и старогородского протопопа, и предводителя и перенестись отсюда в дом акцизного чиновника Бизюкина, куда сегодня прибыли мировой судья Борноволоков и его секретарь Термосёсов.

Точно так же мы должны возвратиться на несколько часов назад и по времени действия: мы входим в дом Бизюкина в тот предобеденный час, когда перед ним остановилась почтовая тройка, доставившая в Старый Город мирового судью и его <секретаря> Термосёсова.

В это время дома находилась одна Данка. Ожидая нетерпеливо дорогих гостей, она недолго оставалась у Пороховцевой и вернулась домой рано; мужа же ее не было дома: он отлучился ненадолго по службе.

Данка со вчерашнего дня совершенно не знала покоя. Теперь она была озабочена тем, как бы ей привести дом в такое состояние, чтобы внешний вид ее жилища с первого же на него взгляда производил на приезжих самое выгодное впечатление, чтобы все, что в нем ни увидят, как можно выгоднее рекомендовало ее Термосёсову и Борноволокову. Это, как оказалось, требовало немалой обдуманности и сосредоточенности, к которой болтливая Данка была совсем не приспособлена. Ей казалось, что все разбивают ее мысли, все развлекают ее и мешают ей обдумать. Вчера еще игнорировавшая службу мужа, сегодня она настоятельно требовала, чтобы он непременно куда-нибудь уехал.

– Куда теперь ехать? – отговаривался Бизюкин. – Патенты поверены, заводы стоят запечатаны.

– Ну так что же, что запечатаны? Удивительное дело, за что казна этим господам деньги дает! – восклицала Бизюкина. – Вот на дельное на что-нибудь, на полезное, у них никогда денег нет, а лежебокам так есть. Ну мне все равно, впрочем: есть у тебя дело, нет дела, а ты, пожалуйста, отправляйся; а если хочешь быть дома, так знай, что у меня ни обеда тебе не будет, ни чаю не будет, ничего, ничего, и я тебя и видеть не хочу.

Бизюкин подумал, подумал и поехал верст за десять на завод, посмотреть целы ли печати и на своем ли месте висят в шинках установленные свидетельства?

Данка выпроводила со двора мужа с наказом, чтобы он не возвращался до вечера. Фофо Бизюкин ничего против этого не возражал: ему лиха беда была подняться да выехать, а там уж он знает, куда ему завернуть и где “убить время” за зеленым столиком и закуской. Бизюкин любил и подзакусить, и перекинуть картишкой, но не позволял себе последнего удовольствия, потому что жена тщательно отбирала у него все деньги; но уж в этом экстренном случае, когда жена сама его чуть не по шею выгоняет, он может поиграть и в долг. Выиграет, – прекрасно, смолчит об этом; а проиграет... что ж... скажет ей: “Сама же, матушка, меня выгнала! мне деться некуда было, – я поневоле играл”.

Решив все это таким образом в своей голове, либеральный чиновник акцизный уехал, а жена его обошла все комнаты своего дома и стала посреди опрятной и хорошо меблированной гостиной.

– Черт знает что это такое! – воскликнула она вслух и, подпершись ферттом, повернулась кругом на одном каблуке. – Это и у Пороховцевых, и у Дарьяновых, и у почтмейстера, – у всех точно так же. Даже это гораздо наряднее, чем у всех! – у Пороховцевых, например, нет ни одной штучки бронзы; нет часов на камине, да и камина вовсе нет; но камин, положим, ничего, – этого гигиена требует; а зачем эти бра, эти куклы, наконец, зачем эти часы, когда в зале часы есть?.. В зале... а в зале разве лучше?.. Там фортепьяно, там ноты... Нет, это решительно как у всех; это в глаза мечется, это невозможно так. Черт возьми совсем, я вовсе не хочу, чтобы новые люди обошлись со мной как-нибудь скверно за эти мелочи! Я не хочу, чтобы мне Термосёсов написал что-нибудь вроде того, что у Марка Вовчка в “живой душе” умная Маша написала жениху, который жил в хорошем доме и пил чай из серебряного самовара, что, мол, “после того, что я у вас видела, между нами все кончено”. Нет; я этого не хочу. Но, однако же, как? как это устроить?

На память ей приходит, что Наполеон, принимая нашего Государя, устроил ему кабинет совершенно такой же, каков кабинет нашего Императора в его дворце. Такие

Божедомы. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru
же или подобные знаки внимания оказывали и другие коронованные хозяева своим державным гостям.

– Досадно, конечно, что эта мысль принадлежит таким особам, – думает Данка, – а то сама по себе эта мысль прелестная: устроить гостю помещение точь-в-точь такое, какое он имел дома.

– Э! – раздумала она, – да стоит молчать, никто и не догадается, что я Наполеону подражаю; а если догадаются, я скажу, что это по “живой душе”. Одно досадно: не знаю я, как это там у них было дома?.. Какая досада, что я Бизюкина услала: он все-таки мог бы сказать что-нибудь?.. Верно, у них все скверно, – то есть, я хотела сказать прекрасно.. тьфу, то есть скверно.. Черт знает, что такое! То есть, просто верно! Да! Но куда же мне деть все это? Выбросить все это если? Все перепортится; это все денег стоит! Да и что пользы это одно выбросить, когда кругом, на что ни взглянешь.. вон в спальне кружевные занавесы.. Положим, что они в спальне хоть и не побудут.. зачем им в спальню?.. А если? Ужасная гадость, ей-Богу! – Детей? – ну да их не покажут; пусть там и сидят, где сидят; но все-таки.. все выбрасывать.. Нет, лучше же одну мужнину комнату можно отделать. Ведь и Наполеон одну только отделявал. Да, разумеется: чего это все коверкать? Нет, я по-наполеоновски: я одну комнату.. Зачем это там у него бюро, метелки, щетки и прочее, – все это вздор!

– Ермошка! Ермошка! – позвала она громко мальчишку и велела ему перенести все излишнее, по ее мнению, убранство мужниного кабинета в кладовую.

Кабинет акцизника, и без того обделенный убранством в пользу комнат госпожи и повелительницы дома, теперь был совсем ободран и представлял зрелище довольно печальное. В нем оставались стол, два дивана и больше ничего.

– Вот и отлично, – подумала Бизюкина, – По крайней мере эта комната, в которой они будут пока жить, будет совершенно как следует.

Она походила по ней, сделала на письменном столе два пятна чернилами, опрокинула ногой в углу плевательницу и, рассыпав по полу песок, потерла его ногою и сказала:

– Да, ничего; здесь теперь очень недурно. А тут, – размышляла она, переходя в другие комнаты, – тут.. это всё вещи, к которым я привыкла, да и наконец, что ж такое? Ведь я могу же их беречь для того, чтобы в удобное время, когда потребуется, все их пустить?.. Одно, что.. вот есть.. Ах, Боже мой, это-то чуть и не просмотрела!

– Ермошка! Ермошка! скорей тащи долой этот образ и туда его.. Что же ты стал, глупый мальчик!

– Куда же-с его?

– Куда? ну куда? Куда хочешь: в детскую.. к няньке. Нет; не надобно в детскую.. Отдай Поликарпу в конюшню.

– В конюшню!.. Как можно в конюшню-с?

– Ну, ты еще рассуждаешь, что нам можно.

– Да помилуйте, риза.. Поликарп беспреренно пропъет.

– Ну пропъет!.. Вы, православные, с Бога ризы пропиваете.. Отличный народ. – Ну да тащи его скорей оттуда, снимай и неси, я его спрячу в комод.

– Как это глупо, – рассуждала она, запирая в комод образ. – Как это глупо, что жених, ожидая Живую душу, побил свои статуи и порвал занавески. Зачем же рвать, когда он все это мог обратить в пользу дела, да наконец, мог все это прекрасно велеть запереть, чтоб не видели. Какой глупый!.. Эй, послушай, Ермошка, подавай мне сюда занавески!.. Ну так.. свертывай, свертывай и тише, не разорви.. Вот и чудесно. Теперь сам смотри же, чертенюк, одевайся получше!

– Получше-с?

– Ну да, конечно, получше. Что есть там у тебя в комнате?

– Бешмет-с.

– Бешмет, дурак, “бешмет-с”! Жилетку, манишку и новый кафтан, все надень, чтобы все было как должно; да этак не изволь мне этак по-лакейски: “чего-с изволите-с” да “я вам докладывал-с”, а просто: “что, мол, вам нужно?” или: “я, мол, вам говорил”. Понимаешь? Слово-ерсов этих чтоб у меня не было?

– Понимаю-с.

– Не “понимаю-с”, глупый мальчишка, а просто “понимаю“, ю, ю, ю; просто понимаю!

– Понимаю.

– Ну вот и прекрасно. Ступай одевайся, у нас будут гости. Понимаешь?

– Понимаю-с.

– Понимаю, дурак, понимаю, а не “понимаю-с”!

– Понимаю.

– Ну и пошел вон, если понимаешь.

Ермошка вышел.

Бизюкина вошла в свой будуар, открыла большой ореховый шкаф с своими нарядами и, пересмотрев весь свой гардероб, выбрала, что там нашлось худшего, позвала свою горничную и велела себя одевать.

– Вот черт возьми, – размышляла она, поворачиваясь перед трюмо, где была видна и сама, и ее девушка. – Вот если бы у меня было такое лицо, как у Марфуши! Какая прелесть, – даже страшная: Митрофан мой уж этой не соблазнится; а между тем сколько в ней внушительного.

– Марфа! ты очень не любишь господ?

– Отчего же-с?

– Ну, “отчего же-с?” Так, просто ни отчего. За что тебе любить их?

Девушка была в затруднении.

– Что они тебе хорошего сделали?

– Хорошего ничего-с.

– Ну и “ничего-с”, и значит, не любишь, а пожалуйста, не говори ты этак: “отчего же-с”, “ничего-с” – говори просто “отчего”, “ничего”. Понимаешь?

– Понимаю-с.

– Вот и эта: “понимаю-с”. Говори просто “понимаю”.

– Да зачем так, сударыня?

– Зачем? Затем, что я так хочу.

– Слушаю-с.

– “Слушаю-с”. Я сейчас только сказала: говори просто “слушаю и понимаю”.

– Слушаю и понимаю; ну только мне этак, сударыня, трудно.

– Трудно? Зато после будет легко. Все так будут говорить. Слышишь?

– Слышу-с.

– “Слышу–с”... Дура! Я прогоню тебя, если ты мне еще так ответишь. Просто “слышу”, и ничего больше. Господ никаких не будет; понимаешь ты это? не будет вовсе! Поняла? Ну, если поняла, иди вон и пошли ко мне Ермошку!

Бизюкина была совершенно довольна своей распорядительностью.

– Им комната, – размышляла она, – прелестная, совершенно как им следует; зала ничего; гостиная теперь без занавес и без бронзы тоже ничего, да и, впрочем, что же... ведь это же комната для всех, так ее совсем нельзя облупить; а моя спальня... Ну уж это пусть извинят: я так привыкла, чтоб там все было, что есть!.. Теперь еще одно, чтоб здесь... чтоб здесь школу... Эй! Эй, Ермошка!

Явившемуся Ермошке Бизюкина дала десять медных пяточков и велела зазвать к ней с улицы, сколько он может, девочек и мальчишек, сказав каждому из них, что они у нее получают еще по другому пятаку.

Ермошка вернулся минут через десять в сопровождении целой гурьбы полунагих уличных ребятишек. Бизюкина оделила их пятаками и, посадив их на диваны в мужнином кабинете, сказала:

– я вас буду учить. Хорошо?

Ребятишки подергали носами и прошипели:

– Ну дак што ж!

– Хотите учиться?

– Да ладно, – отвечали, поскабливая ногтями бока, ребятишки.

– Ну так теперь валяйте за мною и кто первый выучит, тому пятиалтынный!

– А мы в книжку не умеем читать, – отозвался мальчик посмышленнее прочих.

– Песню учить будете, а не книжку.

– Ну, ладно; будем песню.

– Ермошка, иди и ты садись рядом.

Ермошка сел на краек и застенчиво закрыл рот рукою.

– Ну, теперь валяйте за мною!

– Ну что же, мы будем.

– Валяйте.

Как идет млад кузнец да из кузницы.
Дети кое–как через пятое в десятое повторили.

– “Слава!” – воскликнула Бизюкина.

– “Слава”, – повторили дети.

Под полой три ножа да три острых несет. Слава!
Дети опять повторили.

Как и первый–то нож про бояр, про вельмож. Слава!
Дети повторяли.

А второй–то ли нож про попов, про святош. Слава!
Дети голосили за Данкой зычней и зычней.

– Теперь:

Третий нож наострим...

Божедомы. Николай Семенович Лесков Leskovniko1ai.ru

Но только что Данка успела продиктовать своим ученикам “третий нож навострим”, как Ермошка вскочил с дивана, приподнял вверх голову и, взглянув в окно, вскрикнул:

– Сударыня, гости!

Данка бросила из рук линейку, которою размахивала, уча детей песне, и быстро рванулась в залу.

Ермошка опередил ее и выскочил сначала в переднюю, а оттуда на крыльцо и кинулся высаживать Борноволокова и Термосёсова.

Данка была чрезмерно довольна собою: гости застали ее, как говорится, во “всем туалете”.

II

Борноволоков и Термосёсов, при внимательном рассмотрении их, были гораздо представительнее, чем показались они мельком их видевшим Туберозову и Дарьянову.

Судья Борноволоков был живое подобие уснувшего ерша: маленький, вихрястенный, широкоперый, с глазами, совсем затянутыми какой-то сонной влагой, но между тем живой и подвижный на ходу и в движениях. Глядя на него сначала трудно было поверить, что он, будучи членом дипломатической русской миссии, мог вести интригу и устраивать демонстрации против России. Он скорее казался ни к чему не годным и ни на что не способным; это был не человек, а именно сонный ерш, который ходил по всем морям и озерам и теперь, уснув, осклиз так, что в нем ничего не горит и не светится, но тем не менее он все-таки ерш, и если его невольно взять, так он еще марает и колется.

Термосёсов же был нечто, напоминающее кентавра. При огромном мужском росте у него было сложение здоровое, но чисто женское: в плечах он узок, в тазу непомерно широк; ляжки как лошадиные окорока, колени узловатые, руки сухие, шея длинная, но не с кадыком, как у большинства рослых людей, а лошадиная – с зарезом; голова с гривой вразмет, упавшей на все стороны; лицом смугл, с длинным армянским носом и непомерной верхней губой, которая тяжело садилась на нижнюю, как садится на подоконник ослабевшая в верхних петлях оконная карниза. Глаза у Термосёсова коричневого цвета, с резкими черными пятнами в зрачке. Взгляд его пристален и смышлен.

Костюмы новоприбывших гостей тоже довольно замечательны. На Борноволокове надето маленькое серенькое пальто вроде рейт-фрака и шотландская шапочка с цветным околышем, а на Термосёсове широкий темно-коричневый суконный сак, подпоясанный широким черным ремнем, и форменная фуражка с зеленым околышем и с кокардой; Борноволоков в лайковых полусапожках, а Термосёсов в так называемых суворовских сапогах.

Вообще Термосёсов и шире скроен, и крепче сшит, и, по всему, представляет существо гораздо более фундаментальное, чем его начальник, и фундаментальность эта еще более поддерживается его манерой держаться.

Судья Борноволоков, ступив на ноги из экипажа, прежде чем дойти до крыльца, сделал несколько шагов быстрых, но неровных, озираясь по сторонам и оглядываясь назад, как будто он созерцал город и даже любовался им; а Термосёсов не верхоглядничал, не озибался и не корчил из себя первое лицо, а шел тихо и спокойно у левого плеча Борноволокова. Лошадиная голова Термосёсова была им слегка приспущена на грудь, и он как будто почтительно прислушивался к тому, что думает в это время в своей голове его начальник.

Данка все это видела. Она наблюдала новоприезжих из-за оконной притолки и млела в восторге, который смущало недоумение: который же из этих двух судья Борноволоков и который Термосёсов? По соображениям Данки выходило, что Борноволоков непременно этот большой, потому что он в форменной фуражке и с кокардой. Конечно, это его лишь суровая служебная обязанность могла заставить надеть на себя кокарду, – эту вывеску присяжного человека. А тот вон, без формы, в рейт-фрачке и пестренькой шапочке, – Термосёсов, человек свободный, служащий по вольному найму.

– Да он даже и права, конечно, не имеет носить этого украшения, – рассудила

Божедомы. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru
наконец Данка, вспомнив из вчерашнего мужниного рассказа, что Термосёсов происходит из царскосельских мещан, не кончил нигде курса и нигде не служил.

Данка принимала Термосёсова за Борноволокова, а Борноволокова за Термосёсова, и, не подозревая нисколько своей ошибки, заботилась теперь единственно о том, как бы ей их лучше встретить.

– А как в самом деле их встретить?.. Выйти навстречу?.. Нет; это похоже на церемонию. Ничего не делать, сидеть, пока войдут?.. натянута. Книгу читать?.. Да, это самое естественное, читать книгу.

И Данка взяла первую попавшуюся ей в руки книгу и, взглянув поверх ее в окно, заметила, что у Борноволокова, которого она считала Термосёсовым, руки довольно грязны, между тем как ее праздные руки были белы как пена.

Данка немедленно схватила горсть земли из стоявшего на окне цветного вазона, растерла ее в ладонях и, закинув колено на колено, села, полуоборотясь к окну, с книгой.

В эту самую минуту в сенях послышался веселый и довольно ласковый бас, и вслед за тем двери с шумом отворились, и в переднюю вступили оба гостя: Термосёсов впереди, а за ним Борноволоков.

Данка сидела и не трогалась. Она в это время только вспомнила, как неуместен должен показаться гостям стоящий на окне цветок и, при всем своем замешательстве, соображала, как бы ей его ловчее сбросить за открытое окошко? Мысль эта так ее занимала, что она даже не вслушалась в первый вопрос, с которым отнесся к ней один из ее новоприезжих гостей, что ей и придало вид особы, непритворно занятой чтением до самозабвения.

Термосёсов посмотрел на нее через порог и должен был повторить свой вопрос.

– Вы кто здесь, Бизюкина? – спросил он, спокойно всовываясь в залу.

– Я Бизюкина. Кого вам? – отвечала, не поднимаясь с места, Данка.

– Вы? – Термосёсов взошел в зал и заговорил:

– Я получил на станции ваше письмо, и мы вот по вашему зову и приехали. Я Термосёсов, Андрей Иванов сын Термосёсов, вашего мужа когда-то товарищ был, да размолвили; а это Афанасий Федосеич Борноволоков – судья. Судить здесь будем. Здравствуйте!

Термосёсов во время своей речи все подступал к Данке ближе и, сказав последнее слово, протянул ей свою руку.

Бизюкина подала руку Термосёсову, а другою кладя на окно книгу, столкнула на улицу вазон.

– Что это; вы, кажется, цветок за окно уронили? – осведомился Термосёсов, бесцеремонно свешиваясь за окошко возле самой Данки.

– Нет, это пустое... трава от пореза, да уж она не годится.

– Да, разумеется, не годится: какой же теперь черт лечится от пореза травой. Черт с ней и вправду! Ну так вот вы какая!.. Ну, дайте же рученьки? дайте! Ого-го-го, да вы молодец! Я как прочитал письмо, черт знает как расхохотался, ей-Богу, расхохотался и говорю Афанасью Федосеичу: ну говорю, наши в лесах-то и вертепах живут, да доходят... да, да... доходят... А муж-то ваш где же? дома он?

Бизюкина оглянулась на судью, который, ни слова не говоря, тихо сел и сидел на диванчике, и отвечала, что мужа ее нет дома.

– Нет! Где ж это он? Мы ведь с ним приятели, да маленько повздорили на последях.

– Он мне сказывал об этом, – проговорила, начиная ободряться, Бизюкина.

– Да; из пустяков; но я вам скажу, – я вас первый раз вижу, но я вам откровенно

Божедомы. Николай Семенович Лесков Teskovniko1ai.ru

скажу: ваш муж не по вас. Нет; он не по вас, – тут и толковать нечего, что не по вас. Я Афанасью Федосеичу сейчас же там на станции сказал: “нет; я вижу, мой бывший коллега не по себе зарубил барыню, не по себе”. Это много и говорить нечего, что не по себе. У него место отличное, но сам он, скотина, мальчик, мальчик, – я его знаю: младенец. Ведь это вы ему это место доставили?

– Н-д-а, – вытянула, не зная что и в какой тон отвечать, Данка. – То есть не я, а мой отец.

– Ваш отец, да-да-да... я слышал: молодец! Больше ничего как молодец. Я слышал все там у вас в городе про ваш роман-то. Молодчина вы; ей-Богу, молодчина, и все уладили, и место мужу выхлопотали, и чудесно у вас тут! – добавил он, заглянув, насколько мог, по всем видным из залы комнатам и, заметив в освобожденном от всяких убранных кабинетов кучу столпившихся у порога детей, добавил:

– А-а! тут есть и школка, – ну все как следует. Одна вот эта комнатка и плохандрос: ну, да для школы ничего. Чему вы их, паршь-то эту, учите? – заключил он круто.

Ненаходчивая Бизюкина совсем не знала, что ей отвечать, чему она учит детей, которых она никогда не учила, но словоохотливый Термосёсов сам ее выручил. Не дожидаясь ее ответа, он подошел к ребятишкам и, подняв одного из них за подбородок кверху, заговорил:

– А что? буки арцы аз ра-ра бра; веди арцы аз ра-ра вра? Славный мальчуган! Умеешь горох красть? Что? не умеешь? Скверно: что при дороге посеяно, то на общую долю. Воруй, братец, и когда в Сибирь погонят, то да будет над тобой мое родительское благословение. Там других выучишь. Отпустите их, Бизюкина! что вы? – да право. Что ведь многому не научите; а мало, что знают, что не знают – все один черт. Идите, ребятки, по дворам! Марш, горох бузовать.

Дети один за другим тихо выступили и, перетянувшись гуськом через залу, шибко побежали по сеням, а потом по двору.

– Что ведь все это канитель и вздор, я думаю? Ничего из этого не выйдет, – заговорил вслед им Термосёсов. – Разумеется, как это уж сказано, школы нужны, но в существе вздор. Из наших теперь ни в Петербурге, ни в Москве ни один не учит... да и не стоит. Дайте нам завести школы, какие должно, ну и хорошо, и будем тогда учить, а эти буки-еже-ре-бре, – ну их к черту совсем. Не стоит вам время своего губить, – не советую.

– Я и сама это нахожу, – осмелилась вставить Данка.

– Да, разумеется, да и нечего тут долго думать. Субсидии ведь не получаете?

– Нет; какая ж субсидия!

– Отчего ж: другие из наших берут. От церквей берут. Ну те, которые берут, те и держат; а то ни один и ни одна. Да тут и толковать нечего: завтра пришли и по затылкам их. А что про это говорят-то! Да черт с ними, – что потому проку, что говорят. Вон в Москве Катков с Аксаковым и, черт знает, что ни пишут, и деньги на школы собирают, да прах их побери совсем и с их школами. А эту комнатку, – ее и мне пока ничего дать приютиться. Неприглядно, да я ко всему привык. Вы нам где устроили?

– Где вы захотите, – отвечала совершенно засыпанная словоизвержениями Термосёсова Данка.

– Где захотим? Вот чудесно! Да я не знаю, где Афанасий Федосеич захочет, а мне так хоть под кроватью в спальне у вас, так все равно; но туда, небось, фанфан-то не пустит. Ревнив он?

– Нисколько.

– Ну как, чай, нисколько! Не позволяете разве, так вот этому поверю, а то, где там ему без ревности обойтись? Ско-о-тина он, какую жену подхватил. Ну, да меня не взревнует: мы и сами не сироты.

– Вы женаты?

– Был женат, но теперь разошелся. Да ведь наш Антон не тужит об том: есть штаны – носит, а нет – и последние сбросит. Это ваш сынишка? – отнесся он, указывая на проходившего по комнате Ермошку и, не ожидая ответа, заговорил к нему:

– Послушай-ка, милка: вели нам дать где-нибудь умыться.

– Это не сын мой, – отозвалась несколько сконфуженная Данка.

– А чей же это сын?

– Это сын своей матери.

– “Сын своей матери”? Ха-ха-ха! Афанасий Федосеич, а Афанасий Федосеич! слышали? “Сын своей матери”. Я говорю, что наши, которые в горах-то и вертепах и пропастях земных, доспеют. Правда я вам говорил: доспеют?

– Да, – уронил судья.

Бизюкина первый раз слышала звук голоса этого своего гостя. Это был звук перевязанной на третьем ладу гитарной квинты. Тупо, мягко, коротко и беззвучно: чистой, музыкальной ноты не взять на этом голосе и хрипеть, и понижаться он тоже не станет, а все будет тянуть одно и то же, и одним и тем же тоном.

– Да, – уронил судья, – вы это говорили.

– Не правда ли, говорил! Со мной в Петербурге было много спорщиков да все пошли на дно, – да все на дно пошли, а я вот он. Ха-ха-ха – а я цел и ездю, и опять вот он. Не имею права поступить на службу, но как-нибудь, как могу, бочком, ничком, а все-таки примкнул к службе. Прав не имею, так честные люди есть, и без прав устроят, и без прав обойдуся. – Я этого Варфоломея Зайцева... читали, чай, что-нибудь? Критик он?

– Разумеется читала, – отозвалась Бизюкина.

– Бойко писал Бубка, но всегда вздор. Говорят ему... дружески бывало говоришь: “Бубка! Зачем пишешь вздор?” Не верит.

– А вы знакомы с ним?

– Я?.. лично? Лично нет, не знаком, впрочем, я все равно... знаю. Он на Щедрина осердился! Ха-ха-ха! Чего ж ты сердишься? Маленький ты критик! чего ты сердишься? Щедрин голова; да-с; голова, а ты что такое? От пясти перст и много ли верст, а Щедрин пророк. Что ж такое, что Щедрин правду-то говорит! Да и прекрасно! Я его за это и уважаю. Щедрин написал, что нигилист есть нераскаявшийся титулярный советник, а титулярный советник есть раскаявшийся нигилист, да прибавил, что “все тут будем”, – и верно! И верно-с! Много ли с тех пор прошло, как это сказано, а уж мы все в титулярные советники полезли. На меня сердились, что я был против Бубки за Щедрина, а я был потому, что я дело понимаю. Я прежде сам был нигилист и даже на вашего мужа сердился, что он себе службу достал; а нынче что же я могу сказать, кроме как: молодчина, фанфан! Да чего не служить-то? На службе нашего брата любят; на службе деньги имеешь; на службе влияние у тебя есть, – не то, что там из литературы влияние свое проводи. Да-с; поди-ка ты проводи его, – проводи, а тебя за это в зубец, а тут ты, на службе, тому же самому направлению служишь и патриотам прямо в жилу попадать можешь, – и на законном основании. Так он это, патриот-то, лучше всякого... твоего литературного влияния вспомнит. Да и отчего же нам не служить? Держать мы себя на службе знаем как надо; начальство нами довольны; защита у нас, где понадобится, есть; ни своих старших, ни друг друга мы строго не критикуем, и чего нам не служить? Время было дурацкое, похордыбачили пять-шесть лет, пренебрегали служащими и проповедничали, то за Базаровым тянувшись, то “что делать?” истолковывая, но... над всякою неподвижностью тяготееет проклятие... пора и за разум взяться.

– Да... ведь говорят... в Москве мастерские идут, – заметила Данка.

– Идут?.. Да идут, – ответил с иронией Термосёсов. – А им бы лучше подтверже

стоять, чем все идти. – Ничего они не идут, – заключил он резко, – да нам до этого и дела нет. Это вон барыням, мадам Шлихман с мамзель Гольтепа интересно, – ну пусть они и забавляются. Нас отлично было на этих мастерских объехали. Не спохватись мы четыре года тому назад, так теперь бы уж давно сидели бы все на заднем столе с музыкантами. Пока бы мы там в этих мастерских руки себе выкручивали, а патриоты расселись бы на всех местах на службе и вводили бы царство Василия Тёмного. Нет, нет, спасибо Щедрушке, спасибо. Его не ругать, как этот... Зайцев-то ругал его... а ему, Щедрина-то все мы кланяться должны, что спас, спас от ничтожества, спас целое поколение, которое сдуру как с дубу само так и перлось, чтоб где-нибудь в мастерских перессориться и загдохнуть. Но мой Щедруша молодец: крикнул: “стоп, машина!” – взял и поворотил, и вот все и служим.

– Вы знакомы с Щедриным? – опять осведомилась Данка.

– С Щедриным? То есть вы спрашиваете, знаком ли я с ним лично? – Нет, лично не знаком. Да ведь они, знаете... тоже свои чины у них... Он в большом журнале заправляет, а я в маленькой газетке был... Сравнительно убожество; но я всегда, я прежде всех других открыто исповедывал, что я щедринист. Вы чернышисты, писаристы или антонисты, а я щедрист – потому что вы идеалисты, а я практик. Я в Щедрине слышу практичность, и я щедрист. Их нигилизм есть идеал. Что такое, что они нигилисты? Они идеалисты нигилизма, а мы... которые настоящую суть вещей понимаем, мы не нигилисты, анегилисты мы! В этом находят оскорбление Чернышевскому? Нисколько! Разве я роман “Что делать?” не уважаю или порочу? Напротив, я его очень уважаю, – роман “Что делать?” – хороший роман, даже можно сказать в своем роде единственный роман; но ему было свое время. Было время, он и служил, да. Он свое сослужил, а теперь он уж не годится. В идеале он хорош, для тех, например, кто сути нашей не понимает, для привлечения их он еще годится, но мы... свои-то люди... мы уж выросли и сами свое “Что делать?” знаем. Прежде всего на службу поступить, в титулярные советники идти, – вот наше что делать, силу забирать... А в России... Чернышевский гений, да маху дал... В России сила на службе, а не в мастерских у Веры Павловны. Тпфу, дрянь что такое! Аллюминиевый дворец... Как бы не так! Гроб сосновый трудом-то добудешь, а не дворец из алюминия, а на службе я сейчас служу делу: я сортирую людей: ты такой? – так тебя, а ты этакий? – тебя этак. Не наш ты? Ты собственник, ты монархист? – я тебя приваливаю, придушиваю, сокрушаю, а казна мне за это плати. Нет-с, Чернышевский-то, положим, и хорош, но он в заоблачной теории хорош, и то лишь пока нам были нужны прозелиты, а в земной практике чернышизм ничего не стоит. Даже и прозелитизм-то плох. Где они, его Веры Павловны с мастерскими? Правительство не допускает? – вздор! Нам себе самим ведь нечего лгать, а просто – нет их. Вон польки, – это другое дело, а наши мужа в Сибирь поедут с чужими деньгами провожать, да на половине дороги с каким-нибудь полицмейстером свяжется, а другая мастерскую содержит, а сама себе носильные платья у французенок шьет... Вздор все это и больше ничего; а титулярных советников-то из наших – это не вздор – их теперь сколько хочешь повсюду, и все они дело делают. Благовосветлов-то давал у себя Зайцу орать против Щедрина за титулярных советников, а теперь, небось, этого не скажет! Теперь, небось, после того как его рабочие ходили на него жаловаться, что он дерется, так он и сам согласится, что титулярный-то советник побольше может помочь, чем какая-нибудь Вера Павловна или переплетчик. Так-то-с, господа; так-то, – заключил, передохнув, Термосёсов, – Андрея Иванова Термосёсова не хвалили наши красные петухи; а Андрей Иванов Термосёсов всегда был практический человек и давно все дальше многих видел.

Гость на минуту приостановился. Данка и судья тоже молчали; так прошло с минуту, в течение которой Данка в смущении размышляла: не следует ли ей предложить гостям с дороги чаю или кофе, или все это не годится, и ей следует только молчать и слушать?

Термосёсов вывел ее из этого затруднения: он опять заговорил.

– Вы вон школы заводите, – возгласил он. – Ведь что же по-настоящему, как принято-то у красных петухов, вас надо за это хвалить, а Андрей Иванов Термосёсов не станет этого делать! Андрей Термосёсов несет не мир, а меч, он дело понимает, он говорит вам: бросьте эти школки: они вредны делу. А вам это дико. Дико? А знаете ли вы, что народ, обучась грамоте, станет святыне книги да романцы читать. Вы думаете, вольномыслие пойдет? думаете, что он теорию Бабёфа облюбует? как же? Сейчас, так и держите. Беда нам будет от народа. Отпущу я вора, теперь, в нынешнее время... Ничего! Он просто рад, что его отпустили и только и опять пойдет воровать и собственникам все вред да вред; а нуте-ка пусть

Божедомы. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru

я его тогда, при всеобщей грамотности? А почему вы знаете, что другой не станет размышлять: “что же, мол, это такое? Зачем, мол, суд воров отпускает? чем это кончится? Этак, мол, что мы нашли, то у нас воры и отнимут”. Вот вам и пошли вопросы, вот вам и лишний враг! Грамотность не к разрушающим элементам относится, а к созидующим. Надо прежде разрушить до конца, а потом и учите.

– Но, говорят, революция невозможна, – возразила Данка.

– А? Что такое революция? Да на кой черт она нам теперь, революция, когда и так дело идет как нельзя лучше. Да и тут опять если б к тому пришло, что и революцию сделать, так неграмотный народ сто тысяч раз легче в кучу сбить. Вон мне бабка рассказывала, что в Петербурге при Александре Первом несколько десятков тысяч людей к Казанскому собору собрались из-за того только, что кто-то сбыхал, что поведут попа, который козиной шкурой оброс. С таким народом лафа! А нуте-ка-с при Александре Втором на этакую штуку соберите-ка? Много ли соберете?.. никого. Каждый скот сидит, чай пьет, а сам газету “Сын отечества” слушает. Извольте ему теперь про черта натолковать! Он рассуждает: “это, малой, брехня, – у газеты про то ничего не списано”. А прокламацию ему повесьте: “это, говорит, господские дети на Царя за мужиков злятся, что мужиков отобрал”. Нет-с, уж вы Андрею Термосёсову верьте: это мы их на свою голову читать повыучивали: но это теперь пока еще сотый читает; а что будет, как десятый читать станет? Нет-с: Андрей Иванов Термосёсов свое дело смыслит. В суде мужика как хочешь оправдывай, – вот против этого я ничего. От этого мужик в ярость, в азарт, в дерзость входит, – а учить его... нет-с: учить его не надо: это Термосёсов вам по пальцам доказать может. Вот почему новатор и должен несть не мир, а меч? – потому что вы зашли далеко по пути заблуждений, и отцы-то, чиновники, которых теперь выгоняют, ближе вас были к делу. Чиновник не враждовал с начальством, а свое дело обдывал, и начальство было за него, и он как хотел с этим народом расправлялся... А вы?.. что-с? Вы против начальства пошли, а народ вон Шевченке скрутил руки да к начальству его привел. У вас теперь что шаг, то миндальщина: вдруг решили: детей не бить! А Андрей Термосёсов говорит: бей их! Катай! – они битые вырастают пять раз грубей и свирелей! Сравни-ка битого семинариста с небитым дворянчиком: дворянчик пшик-пшик, да и оселся: сам взойдет в раж да и свеликодушничает, а семинарист... “блажен, иже имет и разбьет младенцы о камень”, – семинарист не пощадит! Вам говорят: магазины, заводы; а Андрей Термосёсов говорит: к черту эти все магазины! Это мещанство; рутина это! На службу иди: власть забирай, силу сосредоточивай. – Вот, матка, вот “что делать?”-то нашего времени! А прозелитизм, – заключил Термосёсов, – нам не нужен никакой прозелитизм: это, что теперь нужно делать – это у всякого у самого в инстинкте есть. А если есть охота вербовать прозелитов, ну можете, тяните за собой хорошего человека, разрушайте предубеждение против службы... Да, впрочем, ничего и этого не надо, сказано: все там будем, и так это и будет.

Термосёсов перевел дух и, изловив Данку за руку, сказал:

– Обновленье, господа, обновленье, – старая рухлядь Чернышевского не годится более. За предприятия в кандалы попадают; а нам нужно властвовать и господствовать, а не сибирских клопов своей плотью питать. Теперь иной путь! Вот вам Андрей Термосёсов – он весь как стеклянный ходит, – все в нем видно и ничего ж с ним не поделаешь. Спроси его: “ты в Бога веруешь?” – Он ответит: “верую!” “Каракозовских мнений не разделяешь?” – не разделяю! “Против начальства злого ничего не мыслишь?” – не мыслю. Напротив, даже очень его хвалю. Что же мне начальство? Я не каткист, или не аксаковец: я всем доволен и рад стараться... А вот...

Термосёсов вдруг приподнялся перед Данкой на цыпочки, вытянулся в струнку и, звякнув каблук о каблук с ловкостью самого лихого военного человека, произнес:

– А вот подойдет шильце к бильцу, так тогда вы и узнаете Термосёсова, да-с! И я хныкать не стану; на “опасное положение” жаловаться не буду, а я сам вам этих благонамеренных и патриотов к Макару телят гонять справлю. Вот как, маточка Бизюкина, надо! Вот как, а не магазины-с! – произнес он внушительно, ударяя Бизюкину ладонью по колену, и, повернувшись к передней, крикнул: “А что ты, мальчуган? Нам умыться готово? Или нет?”

Из передней на этот оклик появился Ермошка и дал ответ, что умыванье готово.

– А, готово! Ну хорошо. – Термосёсов обернулся к неподвижному во все время

Божедомы. Николай Семенович Лесков Teskovniko1ai.ru
разговора судье Борноволокову и, взяв очень ласковую ноту, проговорил:

– Афанасий Федосеич, пожалуйста!.. Или, впрочем, позвольте, я прежде достану вам из сака ваше полотенце..

– Да подано, верно, полотенце, подано, – отозвалась Данка.

– Есть, – подтвердил Ермошка.

– “Есть!” Ишь как отвечает: “есть!” – Термосёсов довольно комично передразнил Ермошку – “есть” – и добавил: Самый чистокровный нигилист! Не можешь ответить “подано-с”. Нет: “Ес-т-ь”. Пошел, подавай умываться.

Ермошка юркнул по мановению Термосёсова в кабинет, где было приготовлено умыванье, а Термосёсов, приподняв Борноволокова слегка за локоть, пошел за ним точно так же, как шел, провожая его от тарантаса: Борноволоков шел несколько впереди, а Термосёсов, на вершок отставая, держался у его плеча.

III

Откровенные и прямодушные приемы Термосёсова и все эти мягкие, ласкающие ноты, которые он умел находить в своем голосе для сообщения своих задушевных мыслей, представляли его человеком, в котором в самом деле нет недостатка не только в чистосердечии, но даже и в довольно просторной болтливости.

Данка совсем не того ожидала от Термосёсова и была поражена им. Ей было и сладко и страшно слушать его неожиданные и совершенно новые для нее речи. Она не могла еще пока отдать себе отчета в том: лучше это того, что ею ожидалось, или хуже, но ей во всяком случае было приятно, что в том, что она слышала, было очень много чрезвычайно удобного и укладливого. Это ей нравилось. Она чувствовала в Термосёсове человека, с которым у нее есть нечто общее от природы; но его ум, его оригинальность, смелость и решительность ее решительно поразили.

– Вот что называется в самом деле быть умным! – рассуждала она, не сводя изумленного взгляда с двери, за которою скрылся Термосёсов. – У всех строгости, заказы: голодай, нищенствуй, работай, на гвоздях спи, а тут ничего: все позволяется, все можно, и человек никого не боится! “Пусть меня боятся”, – говорит он! Какой человек!..

Это вливает в сердце Данки сладость доселе неведомого ей томления. – Этому человеку можно дать над собой и власть и господство. Да, можно.. можно!

Вся прить, которою отличалась Данка перед своим отцом, мужем, Варнавкою и всем человеческим обществом, вдруг оставила ее после беседы с Термосёсовым, и она почувствовала неодолимое влечение к рабству. Она, сама того не сознавая, хотела быть невольницей Термосёсова – его одалиской. Он ей удивительно понравился; она почувствовала к нему “влеченье, род недуга”, и забыла все прошлое. Да и стоит ли все это, мелкое, ничтожное, рутинное или недоумевающее прошлое какого-нибудь внимания, когда есть человек, который так все видит, как Термосёсов, человек, который именно проникает в глубь вещей, а не сочиняет и не фантазирует. О, он неизмеримо нравится Данке. Она чувствует, что этот “он” есть тот он, которому она, как Пушкина Татьяна, могла б сказать:

Ты в сновиденьях мне являлся;
Незримый, мне ты был уж мил,
Твой чудный взор меня томил;
В душе твой голос раздавался!
Как ей досадно на себя, что он знает ее роман, – знает, что она когда-то избрала совершителем своей судьбы Бизюкина и с его содействием довела отца до признания необходимости для нее унижительного в глазах старика брака!

– Ну где же люди, – извиняет она себя. – Где люди в провинции! Я скажу ему это: я скажу: вы знаете моего мужа, но здесь приходится довольствоваться чем попало!.. Но стыдно, стыдно ужасно..

Данка ощутила все губительные следствия сравнений, когда они проводятся между тем, что уже утратило всю прелесть новизны, и тем, что еще окружено всею заманчивостью новости.

Божедомы. Николай Семенович Лесков Teskovniko1ai.ru

– Он говорит, он мещанин. С какой гордостью говорит он это?.. И какой бы это был скандал: “Ушла за мещанина!” Не за учителя, а за мещанина?.. – Просто, просто губернаторская дочь за простого мещанина! Мой старик лопнул бы и как старый горшок расселся б на части! Впрочем, нет; пусть бы он лучше не расседлся на части, – обдумала она через минуту, – а пусть бы он оказал другую услугу. Что из того, что Термосёсов мещанин? Отец тогда имел губернаторскую власть в руках: его боялись... Мещанин завтра же может быть купцом... купец может быть головой в губернском городе... голова может иметь влияние на общество... общественные деньги все у него... Отец сам был бы от нас в зависимости: “дайте денег”, а Андрей не дает...

– Андрей! – прошептала она еще раз ненарочно оброненное ею имя Термосёсова, улыбнулась и, покраснев до ушей, взялась руками за свои пылающие щеки.

Она была очень недурна в эту минуту.

– Андрей! – прошептала она еще и еще. – Андрей!.. Ах, какой он мужчина!.. Какой он... весь прелестный! Какой он весь мужчина!.. Не селадон, как муж, не мямля, как Омнепотенский, – это мужчина... неуступчивый... Он ни в чем не уступит... нет. Это все ясно, ясно, прямо просто как ураган... идет... палит, сжигает...

Она на мгновение закрыла веки и почувствовала, что по всему ее телу разливается доселе неведомый, крепящий холод; во рту у корня языка потерпло, уста похолодели, и все в мгновение ока сменяется палящим зноем лихорадки: в ушах отдаются учащенные удары пульса и, слышно, как на шее тяжело колыхается сонная артерия.

Это симптомы состояния ненормального: это болезнь, которую врачи из немцев называют *Liebesfieber*. Несомненно, что болезнь эта имеет право быть признанною у всех народов и по-русски должна быть названа “любовною лихорадкой”.

В Данке уже не было места ни пеням, ни сожалениям: она стояла смиренная, робкая, прохладная и манящая, как пальма среди пустыни. Теперь в ней не было мечтательной Татьяны. Ее поза, глаза, отягченное страстью лицо и уста, – все шептало: “я должна, я хочу быть любима!”

Если же она не та библейская дочь Шалима, что жалобно пела: “я больна, я уязвлена страстью”, то она чертовка, которая дождалась своего черта, и ей нет исцеления; ей надобен шабаш.

IV

Влюбленная Данка не скрывала от себя, что она без удержки любит Термосёсова и что он имеет над нею всякую власть. Теперь ей вступила в голову другая мысль: полюбит ли он ее? возьмет ли он ее страсть, как она принадлежит ему? А что до нее, до самой Данки, то она готова отдать за его любовь все, и свободу свою и все грядущее счастье, так же легкомысленно, как голодный Исав продал право своего старшинства за чечевичную похлебку Ревекки.

Данке уж милее не те редкостные качества Термосёсовского ума, которыми он пленил ее вначале; ей даже не нужно, чтобы он был наверху той славы, которой достоин, – нет; пусть все так есть, как оно есть, – она женщина, и ей дела нет до его положения. Она не рассуждает, а стремится к нему.

– А он? – Сердце уязвленной страстью Данки замирает при этом вопросе, и она стоит неподвижно на том самом месте, где он с нею стоял у окна, и чувствует, что она целовала бы землю, которую он попирает здесь своими ногами. Любовь как бы издевается над нею, заявляя свои капризные желанья. Любовь одновременно овладела и чувствами Данки и ее воображением. Ее томит любопытство: это опаснее страсти в крови.

– Как он интересен! Как у него все не так, как у всех! Все, что он делал, – он делал иначе, чем все, – все, что он ни станет делать впредь, – все это опять должно быть совсем непохоже на то, как это сделают другие! Но... только где же он? Уже пора же ему умыться!.. Данка уже давно слышала, как из кабинета сквозь закрытую дверь слышалось то тихое утиное плесканье, то ярые взбрызги и горловые фиоритур в роде ббrrг-фрру-ха-а-фрыч. Данка догадывалась, что это сначала мылся судья, а потом Термосёсов. Но все это уже кончилось. Неужто он еще не наговорился с своим этим михрюткой-судьею. Неужто спит?.. Что мудреного: ведь он

Божедомы. Николай Семенович Лесков Teskovniko1ai.ru

устал с дороги. Или он, может быть, читает? Что он читает? Он всех сам умнее... что ему читать? Как бы я, однако, желала теперь, чтобы мне было видно, что он делает? Мне все равно, что бы он ни делал: я хочу его видеть! Да, я хочу.

Данка порывисто шагнула с места и пошла с тем, чтобы подкрасться к двери, как вдруг в это время дверь отворилась и на пороге предстал мальчик Ермошка с тазом, срезь полным с краями мыльной водою. Через голову Ермошки в глубине комнаты видна была маленькая фигурка Борноволокова, который стоял к Данке задом и смотрел в окно. Посреди комнаты прямо перед дверью красовался мясистый торс Термосёсова. Судья и его письмоводитель оба были дезабилье. Борноволоков был в панталонах и белой как кипень голландской рубашке, по которой через плечи лежали крест-накрест две алые ленты шелковых подтяжек, его маленькая, шивоватая, белокурая головка была приглажена, и он еще тщательнее натирал ее металлическою щеткою. Термосёсов же стоял весь выпуклый, представляясь и всею своею физиономиею и всею фигурою. Он был тоже в одних панталонах, но без помочей и в пропыленной рубашке довольно грубого холста. Ворот его рубахи был расстегнут и широко завернут.

В эту прореху видна была мягкая мясистая грудь Термосёсова, заросшая густыми и длинными черными волосами. Далеко, за локоть засученные рукава открывали такие же мясистые и обросшие волосами руки.

На этих руках Термосёсов держал длинное русское полотенце с вышитыми на концах красными петухами и крепко тер и трепал в нем свои взъерошенные мокрые волосы.

По энергичности, с которою Термосёсов производил эту операцию, Данка без ошибки отгадала, что те веселые, могучие и искренние бррры-фрру-хааа-фрыч, которые минуту тому назад неслись из комнаты сквозь затворенные двери, пускал непременно Термосёсов, а не Борноволоков. Это же подтверждала и масса брызг, окружавших Термосёсова, и оставшаяся у его ног деревянная табуретка. Ясно было, что громко брызгал – это Термосёсов, а судья – тот, что прежде свиристел и плескался. Это действительно так и было; первым умывался Борноволоков, а Термосёсов в это время стоял против него рядом с Ермошкой и держал Борноволокову полотенце; а потом мылся сам Термосёсов: вот почему при открытии двери Борноволоков и представился Данке уже полуодетым и опрятным, а Термосёсов полуобнаженным *diab!e m'importe*. [18]

Почти точно таким же, как Данка усмотрела Термосёсова издали, она его вскоре увидела вблизи себя.

Андрей Иванович орлиным оком своим сразу окинул и Данку, опять стоявшую на том самом месте, на котором он ее оставил, и мальчика Ермошку, который, вынося таз, плескал из него через края мыльною водою.

– Ишь, какой дряннице! ишь! ишь! – восклицал он за всяким всплеском и вдруг высунулся в зал, схватил Ермошку за ухо и проговорил: – не плечи, нигилист, не плечи! не плечи, – и непосредственно за этим тотчас же занялся тщательным обтиранием локтя, а Данке сказал:

– Преразбалованный у вас этот мальчишка! Вы его совершенно напрасно таким аркадским принцем во фрак-то одели. Не стоит он этой сбруи! Видите: идет и плещет!

С этим Термосёсов юркнул назад в комнату и через мгновение появился в том же коричневом пальто, в котором взшел с приезда. Теперь на нем не было только ремня, а сак его был на него накинута просто наопашь.

Выступив в зал, Термосёсов запер за собою вплотную дверь в кабинет, где оставался судья, и, постояв минуту над Ермошкой, который вытирал тряпкою пол, дождался, пока он это окончил, и потом, завернув его к двери в переднюю, крикнул:

– Пошел, и не вертись, пока тебя не позовут, – а сам улыбнулся до ушей и тихим шагом пошел на Бизюкину.

Данка чувствовала, что с каждым шагом приближающегося к ней Термосёсова покидают ее последние силы. Она не знала, что он скажет, что сделает, вообще с чего начнет и на чем станет? – И, наконец, на чем может остановиться он, этот он,

Божедомы. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru
который от первой минуты своего появления до этого решительного заключения на замок судьбы, ни на минуту не перестает изумлять ее? – Ему ни на чем, кажется, нельзя остановиться!

– Я одна, – быстро соображала Бизюкина... – Я одна с ним... Кругом ни души!.. Ермошку он выгнал, судьбу он запер. Ах, что-то? ах, что-то теперь станет он делать? Это, впрочем, самое интересное.

По Данке пробежал последний трепетный ток: Термосёсов был возле нее и, улыбаясь, протягивал к ней свою обнаженную до локтя руку.

– Это самое интересное, – впоследствии мелькнуло в голове Данки, почувствовавшей себя безвластной рабыней той всевластной силы, которая теперь в лице Термосёсова коснулась ее плоти и отозвалась в мозге ее костей.

У

Данка стояла как цветок полевой, как лилия долин: раздавят ли ее тяжелой стопой, пройдут ли, взгляда не кинув ей, мимо, или упьются ее прелестью и благоуханием.

Но пройти мимо ее было невозможно, и Термосёсов прямо подошел к ней, сел возле нее, взял ее за руку и, перекладывая эту ручку из одной своей руки в другую, пристально и неотразимо всматривался в сияющие глаза Данки.

Разговора между ними никакого не было. Термосёсов знал, что это очень неудобно для Данки, и нарочно не произносил ни одного слова. Он только наэлектризовывал ее, сминая в своих руках ее руку и глядя в ее коричневые глазки. Так прошло три или четыре очень тяжелые и сладкие, но утомительные для Данки минуты.

Термосёсов наконец назвал ее по имени.

– Послушайте, Бизюкина! – сказал он несколько охрипшим голосом и остановился.

Ему показалось, что его голос звучит как-то подозрительно и что в комнате как будто кто-то ходит.

– Вы, маточка, – продолжал Термосёсов, озираясь и выправляя голос, – вы, однако, как мальчишку-то вашего избаловали: я ему говорю “поросенок ты”, потому что он Афанасью Федосеичу все рукава облил, а он отвечает: “моя мать-с не свинья”. Ах ты... сам ты свинья!.. Это ведь, конечно, вы виноваты? Да? – в вас ложные мысли бродят, эмансипируете?.. сознайтесь? – да? – Да?

Термосёсов удостоверился слухом и зрением, что в ближайших комнатах кроме его с Данкою нет никого, и вдруг совершенно иным голосом и самую мягкою интонацию произнес:

– Так как же, – да, что ли?

Это было сказано так, что не было никакого сомнения, что этот столь непосредственно предложенный вопрос не имеет ничего общего с предшествовавшим разговором о мальчишке, а имеет значение совершенно иное. У Данки похолонуло в сердце.

Термосёсов увидел, что его поняли, и, понизив наполовину голос, еще настоятельнее спросил: да или нет? Да или нет, – отвечайте в одно слово.

Бизюкина промолчала.

– Да? – с легким оттенком нетерпения переспросил кумир.

Места долгому раздумью не было.

Данка вздрогнула, как газель, вскинула на Термосёсова свои коричневые глаза и уронила шепотом: да!

– Прелестно, – воскликнул Термосёсов. – Прелестно, душата моя, прелестно! Я от тебя иного ответа и не ожидал. Давай же сюда руки! Давай обе рученьки свои мне. Вот так! Молодчина!

Божедомы. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru

И он взял и крепко сжал в обеих своих руках руки Данки и, тряхнув головой, впился в нее смущающим пристальным взглядом.

Взгляд этот так пронизал и смущал Данку, что она, не совладев с собою, пригнула подбородок к груди и опустила глаза на пол.

Вышла долгая пауза, которую Термосёсов не обличал ни малейшего намерения кончить, а между тем положение Данки становилось несносней и несносней. Она решила наконец заговорить сама.

– Не хотите ли вы чаю? – спросила она робким, смущенным голосом Термосёсова.

– Нет, душа, – отвечал развязно Термосёсов. – Я до чаю не охотник. Я голова не чайная, а я голова отчаянная.

– Так, может быть, закусить и вина? – предложила Данка гораздо смелее.

– Вина? – отвечал Термосёсов. – Вино не чай – вино веселит сердце человека, в вине, говорят, сокрыта правда, но не хочу я и вина.

– Бойтесь обнаружить правду? – проговорила Данка, совсем осмеливаясь и пытаясь с улыбкой приподнять вверх свои опущенные взоры.

– Нет; я боюсь, но я не того боюсь: я люблю вино и пью его, но оно мне не по натуре: я не знаю в нем меры.

Данка смело приподняла вверх голову и, взглянув в лицо Термосёсову, с восторгом сказала:

– Боже, как вы в самом деле откровенны!

– Откровенен! Да что ж тебя это удивляет?

Данка промолчала.

– Удивляет? – переспросил, встряхнув руки ее в своих руках, Термосёсов.

– Конечно, – отвечала Данка, все более и более чувствующая, что с Термосёсовым жантильничать и миндальничать не приходится.

– Да чего же мне хитрить? что мне скрывать? Я сыт, одет, обут, здоров и всем доволен, а впредь уповаю на всевышнего создателя и глупоту непроходимую моих соотечественников, – чего же мне и с кем хитрить и кого бояться? Я всем доволен, никого не боюсь и потому и прям и откровенен.

– Я признаюсь вам...

– Признайся, признайся. Я все равно, что поп: мне во всем признавайся. Я все прощу: меня полюби, и грехи все простятся!

– Нет, кроме шуток...

– Да и валяй, кроме всех шуток, признавайся!

– Я никогда не встречала такого человека, который...

– Который бы что?

– Который был бы так счастлив и доволен всем окружающим так, как вы.

– А недовольные, брат, теперь к черту, в помойную яму к Каткову, в его собрание редкостей. Недовольные в дыру, яму, а мы ропс-лопс-хлопс, и наверх, а там уж наше дело. А? что? Поняла? Ничего не поняла? Эх, вы! Потемнели вы тут совсем, хорошие книжки-то свои читая! Чем вы недовольны-то? чего вам недостает? чего мало? Нуте-ка, нуте: чем вы, милые дети, недовольны? Что десятка два-три красных петушков у вас взяли, – этим что ль? Эко горе какое! Народится их новых, не бойтесь. А вы не хнычьте по петухам... Пропали, ну и пропали, ну и нечего с тем делать; а вы дух времени разумеете: наша взяла! Мы господа положенья.

- Нигде я этого не вижу, – сказала, осматриваясь, Данка.
- Да где же тебе это хочется видеть?
- Да нигде, и ни в чем я не вижу этого.
- Да негде тебе этого и видеть в этой мурье.
- Ну... я читаю, однако, – не без чувства задетого самолюбия ответила Данка.
- Чит-т-аешь! – протянул Термосёсов. – Да; ну... читай, если есть охота читать. Но и там ты, все то же увидишь и в литературе, если захочешь вникать. Некрасов, уж какой хныкало был, – а хныкает он нынче? – Нет; он нынче не хныкает. Нечего хныкать, – надоели эти хныкалы.
- Да, но есть люди, которые в опасном положении.
- Что за такие опасные положения? Кто вам наговорил про весь этот вздор? Ох уж эти мне литературщики, литературщики! Вздор это все: нет теперь никакого опасного положения для умных людей, потому что умный человек прежде всего должен служить, должен быть во власти. Если кому нравится враждовать с начальством, – это не наш. Пусть патриоты становятся в опасные положения. Ну и отлично! и скатертью им дорога. Это их и дело. Недовольны? – пусть заявляют, чем недовольны: мы им дорогу-то сыщем. Эх вы, слепыши, слепыши! Нынче, дружок, все это иначе. Постные рожки не нравятся, и прочь постную рожку и прочь вериги страданья: Питер любит тех, которые им довольны. Мы много довольны вашей милостью, господин Piter! Ха-ха-ха! Ах ты опять литература, литература! Не проспай вины своей этим нашим ярым писателям. Насеяли, черти, семян: теперь что шаг, то заблуждение. Отлучай от этих опасных положений, от этих якшательств с поляками... Просто мусору наволокли, расчищая tabula rasa! [19] Поляки! Немцев ругали, а с поляками амурь!.. Что такое поляки? – славянский хлам, революционеры, которые целый век в собственной крови и сами купаются, и нас купают... Эко, какой умный народ нашли! Идите по его стопам: веревок на петли для вас на Руси на всех хватит, да и Сибирь просторна. А немцы, которых вы с простоты-то своей ругаете... Они недаром нам учителями нарицаются. Не только нам у них надо учиться, а иные уж и поляки-то ваши хваленые по их следам пошли. Не надо этих ссор с начальством по старой польской системе. Немцы не ссорятся с властями и всего зато и достигают, и молодчины! Мы вот всего каких-нибудь два-три года от “что делать?”-то на настоящее дело оглянулись, да по-немецки за ум взялись, а и у нас уже везде есть свои люди, и теперь тронь нас, – мы сами в рыло дадим, а не хныкать станем. Что тебе лучше нравится-то: самому развернуться да хорошенько приятеля съездить или визжать, что “я, мол, в опасном положении”?
- Разумеется, – проговорила неотчетливо Данка.
- То-то и есть, что разумеется, но и то надо знать, как дать. И в рыло съездать надо не по-польски с гаку, с храпом, да с свистом, а по-немецки, – “на законном основании”. Поняла?
- Поняла, – отвечала Данка.
- Поняла! Ничего ты не поняла.
- Нет, поняла.
- Ну так чем же вы недовольны, чего вы Лазаря-то поете, если ты это поняла?

Данка промолчала.

– Смейтесь, играйте, ликуйте, раститесь, плодитесь и множитесь; населяйте землю и обладайте ею: сие есть на вас мое термосёсовское благословение! Ты мне нравишься: ты бойкий бабенец, бойкий, все поймешь, и я хочу, чтобы ты все понимала... Э! да тебе и недалеко доходить: ты сама монархистка! – заключил он с улыбкой, рассматривая у себя перед самым лицом ее руки.

– Я не монархистка! – торопливо воскликнула, испугавшись, Данка.

– Да; не отпирайся. По ком ты этот траур носишь: по японскому Микадо или по Максимилиану мексиканскому?

– я? Траур? Какой траур ношу я?

– А вот этот, – отвечал Термосёсов, указывая на черные полосы за ее ногтями.

Данка вспыхнула до ушей и готова была расплакаться. У нее всегда были безукоризненно чистые ногти, а она нарочно приложила, чтобы заслужить похвалу, а между тем это стыд и больше ничего как стыд.

– Да я вовсе и не монархистка! – кое-как проговорила Данка, не зная, что она говорит, и стараясь вырвать у Термосёсова свои руки.

– Врешь! Вот тебе, не знаю. Бог знает чем готов отвечать, что врешь, – отвечал Термосёсов.

– Почему вы так думаете? – продолжала, высвобождая руки, Данка.

– Почему думаю? Да потому думаю, что вижу, что ты умная женщина. Кто же ты такая? Республиканка, стало быть? Перестань, брат! – Какая такая республика возможна в России? Народ вместо “республика”-то прочитает ненароком “режь публику”, да нас же с тобой и поприкончит. Это тоже старо... рутина, да и ни на что это и не нужно. Нам все равно, что фригийский колпак, что Мономахова шапка, – абы мы были целы. Поняла?

– Да.

– Что же ты поняла?

Данка затруднялась и, подумав, ответила:

– Я одного только не понимаю.

– Чего?.. Чего не понимаешь – говори прямо: не понимаю.

– Я не понимаю... когда вы говорите мы, от лица какой же вы партии говорите?

– От какой партии? – в России нет партий, а есть умные люди и есть глупые люди: я от умных людей говорю.

– Но этак нет ничего целого... Этак и скликнуться нельзя.

– Скликнуться? Ну, брат, это старо, – мы и сами ноне на переключку своих не сзываем, а чувствуем своих, чувствуем. У нас есть такие, которым с нами на переключку ходить и нельзя: мы их и не требуем и без пароля их знаем. Что их беспокоить: они и так свое дело делают. Всякие, брат, у нас нынче есть, всякие, и слесаря, и цензора, и шильники, и мыльники, и те, что в Бога не веруют, и те, которые в него веруют, и народники и аристократы: свой своему отовсюду весть подает.

Эх, ты, Дана, Дана: заплесневела ты здесь с книжками, но стану я тебя учить, из тебя не женщина, а черт выйдет! Ничего что ты говоришь, что ты республиканка: осторожность – это хорошо. В ваших медвежьих углах ведь и взаправду не знать, как и рекомендовать себя; но послушай меня: брось это все республиканство! Хочешь, я тебе всей царской фамилии фотографические карточки подарю?

– Да у меня есть, – отвечала Данка.

– А! Вот видишь, есть. А где же они у тебя? Спрятаны?

– Спрятаны.

– Небось нарочно... петербургских гостей ждала и спрятала? – запытал он, улыбаясь и слегка привлекая ее к себе.

Данка была изблечена не в бровь, а в глаз и снова спламенела до ушей, но

Божедомы. Николай Семенович Лесков Leskovniko1ai.ru
солгала и сказала, что карточки царской фамилии у нее всегда лежали запертые в
комоде.

– Глупо это, – отвечал Термосёсов. – В рамках они у тебя?

– Да, в рамках.

– Повесь. Давай молоток. – Есть молоток: давай я их все тебе сейчас развешу.

– Гвоздей нет.

– Ну пошли своего нигилиста: пусть купит гвоздей.

– Да, может быть, они и есть, впрочем, – отвечала Данка, наверное знавшая, что у
нее гвозди есть, и в то же время смекавшая, как бы ей высвободить хоть на минуту
свои руки из рук Термосёсова и, пользуясь случаем, вымыть в спальне замеченный
Термосёсовым под ее ногтями траур по японскому Микадо.

Хитрость ее удалась: она выскользнула вон из зала, пробежала гостиную и скрылась
в спальне.

Термосёсов вслед за Данкою перешел в гостиную, оглянул быстрым, но внимательным
взглядом всю стоящую здесь мебель и, надув губу, сел неподвижно в мягкое кресло.

В спальне хозяйки слышался тихий заикающийся скрип педали металлического
умывальника и тихие плески воды. Это продолжалось довольно долго.

VI

Термосёсов по-прежнему неподвижно сидел в кресле, далеко оттопырив свою верхнюю
губу, и над ним воочию совершались самые быстрые и самые странные калиостровские
превращения. Термосёсов, как только он опустился в кресло, тотчас же сделался
как будто каким-то игрищем природы, каким-то калейдоскопом, который она
встрянула для забавы. Термосёсов казался совершенно равнодушным к тому, что он
начал, что ему предстоит произвести и чем он думает все это закончить. В нем
вдруг исчез всякий след энергии, и видны были лень, усталость и тягота. Он чем
больше сидел, тем более старел, старел видимо, старел на целые года в одну
минуту, как Калиостро. О да! Это был или сам Калиостро, или это был крепко и
крепко поживший человек, у которого уже сохнет мозг в костях. Глядя на
Термосёсова, вы теперь видели, что его (если заглянуть в его сокровенную глубь)
не интересуют ничто; что он ни во что не верит и чувствует, что он тлен, ложь,
что он даже, пожалуй, ненавидит даже плоть свою, но питает и греет ее, потому
что нельзя ее не греть и не питать.

Когда судья с Термосёсовым только что вошли, каждому из них на вид можно было
дать не более как лет по тридцати пяти. Судье даже можно было определить
несколько менее, потому что на правах маленькой собачки до века будет выглядеть
щенком; но кентавровидному Термосёсову никак нельзя было дать более тридцати
пяти. Это был мужчина во всем соку, во всей силе, а теперь ему казалось по
крайней мере более лет на десять: он правда еще все-таки оставался кентавром, но
это был не кентавр, еще не знающий устали и прядающий в лансадах под властью
вечно клокочущей страсти, а это был кентавр, которого уже потянуло под гору.
Спросить его самого, он, как все приближающиеся к старости люди, конечно, не
сознался бы, что его потягивает с нагорья, что ему начинает подызменять его
много подержанная физика (да в наш век, болезненный и хилый, физика его еще
далеко не вздор и в нынешнем ее состоянии). Термосёсов, пожалуй, не скрывает от
себя, да и не скрыл бы, может быть, в другую подобную минуту от других, что ему
все надоело и надоело не по-онегински, не по-печорински, а надоело искренно и
притом самым непосредственным образом: по-своему, по-термосёсовски.

Проявляющееся наружу состояние духа Термосёсова уподобляло внутренний мир этого
человека туманному облаку, остающемуся в просвете рамы, в которой показывали
разные туманные картины. Это тусклый, бледно-серый утомляющий квадрат никуда
более негодного света, который безучастно пропустил мимо себя самые
разнообразные явления и ныне ждет, чтоб самого его скорее скрыли под завесу и
подняли колпаки ламп, освещавших залу до начала представления.

В Термосёсове нет ни злобного недовольства своим прошлым, ни негодования на
него, ни искреннего осуждения этому прошлому, ни благотворного самоосуждения

Божедомы. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru
самому себе: нет! В нем во всем всеполное, всеискреннейшее и всецелое презрение ко всему: к людям, к деяниям их, к их высоким и низким идеям, – презрение беззловное, безгневное, равное тупому равнодушию, равное тому, как бы для него весь мир был ни более ни менее, как ноль, возвышенный в квадрат.

Ему были совершенно равны все эти люди, которых он вспоминал в своем сегодняшнем поучительном слове, и все порядки, которые он критиковал и которых касался. Ему все на свете все равно.

У Термосёсова нет ни симпатий, ни антипатий, ни заветных идей, ни антитез для них. Сидя в своем уединении, он как бы нарочно, чтобы дорисовать нам свое душевное состояние, бросил равнодушный и бесстрастный взгляд на снятую со стены бизюкинской гостиной дорогую гравюру с картины Штейбена и тотчас же перевел его на валяющуюся под креслом книжку Ермошки с лубочным изображением Картуша: ни Христос, ни Логгин Сотник, ни Картуш, – никто ничего не будит в душе его. И между тем это не надменность. Нет; он совершенен без надменности, без кичения своим совершенством, – он никого не осуждает, ни от кого не ждет похвал и не потребует себе уподобленья. Он крайнее и конечное развитие мыслителя столь совершенного вида, что его идеи соприкасаются со всем, не боясь царящей в мире скверны: его положения притекают в чуждые моря и приемлют в себя в своем течении чужие потоки, и все это нимало не вредит ему. Он не желает ничем форсировать и подталкивать что-нибудь. Он знает всесовершенную законность своего развития и знает, что по неизменным законам для его вида, как для всего, получившего конечное развитие, должна наступить реакция. Термосёсову не только не нужны последователи: они даже противны ему, потому что, чем больше их, тем скорее раздерут они между собою ризы распираемого ими и метнут жребий о его хитоне, а это будет днем торжества и днем гибели, ибо в день тот потрясется земля, дадут трещины скалы, и открытые гробы устами восставших жильцов своих прогремят легковерному русскому миру нестерпимые укоризны, и тех укоризн не стерпит “живый”.

И тогда исполняются пророки и совершается закон, и мерзость запустения станет на месте храма, в котором торговала истиной фарисейская хитрость.

Совершаются уже последние знамения века: многоречивые оракулы безмолвствуют и на назойливейшее pytanie, как оракул Дельфийского храма в день рожденья Христа, помавая главами, вещают тяжелое: “Рождается тот, кто нас больше”.

Пускай еще по дерзостной привычке старой нахально машет черным знаменем своим над Русью Черномор, пускай и ступою гремит и помелом свой след Яга ехидно замечает, но в роковой тиши сбирается и крепнет русский дух. Мы слышим звон и шелест под землю: то Минин Сухорук проснулся и встает в своей могиле, то звон меча, который вновь берет, и им препоясается Пожарский. Вставай, наш русский князь, и рассеки мечом на разуменьи нашем стянутый чужих хитросплетений узел! восстань, нижегородец Минин, и научи твоих внучат вменить себя в ничто перед величьем Руси! Светильники земли родной! восстаньте вы от Запада и Севера и моря, из стран цветущей Гурии, из киевских пещер и соловецких льдов, и осветите путь встающей духом Руси! Оковы рабства пали, вослед за ними пасть должно и наше рабство духа, и скоро Русь не станет больше тешить гордый Запад убожеством своих сынов. Победный день недалеко. С очарователей совлечены их чародейские покровы. Яга и Черномор уже смятенно мечутся. Их собственная сила их гнетет; нежданное, неведанное чудо их смущает. Дыханьем днешних бурь вздымает спавший русский дух, а встречу ему во всеоружьи правды идет старинной сказкою предсказанный царевич русский.

Вся действующая ложь земли предчувствует это и сугубо волнуется и мятется. Она чувствует, что народился тот, который “болий ея” и будет господином дому. Подобны лукавым рабам, ожидающим близкое возвращение домовладыки, люди лжи, помня все злобы свои, не ждут себе пощады. Но помысел о покаянии им чужд, и вот они, таясь друг от друга, преуспевают лишь в хищении и более не верят ни во что. Они уж видят день своей гибели. Дух Руси скоро свершит завет свой: скоро правда жизни воссияет и враги ее расточатся.

Но если все это предвидит и предчувствует Термосёсов, – зачем он не повернет назад и не держит опако? При его практической разведе у него не стало бы разумения, как совершить эту диверсию?

Да; но душа его, как заглушенная волчцом лядина, не в силах произрасти ни одного

Божедомы. Николай Семенович Лесков Teskovniko1ai.ru
стебля от доброго семени.

Но зачем же он говорит, зачем проповедует и поучает тайнам, которые ему удобнее сохранить тайнами, чтобы не призывать новых участников к разделу последней добычи?

В этих его действиях нет истины, как нет истины в нем самом, но, сея семена лукавства, он творит похоть своего злочинения. Чего нельзя взять и унести, то он сокрушает и портит. Он дорасхищает добро домовладыки, и в том его истина, в том его солидарность со всеми, их же число легион, а имя их тати.

Но вот он снова у дела: колыхнулась дверь из спальни, где умывалась Бизюкина; на пороге показалась полоса юбки ее яркоцветного платья, и Термосёсов быстро поднял с пола свой потупленный взор, встрепенулся и опять смотрит козырем.

Он как старая, некогда парадная кляча, заслышав трубу, не может пастись на пажити, его тянет парадировать в обычных маршах и атаках.

VII

При входе Бизюкиной в гостиную Термосёсов приветливо улыбнулся ей и проговорил:

– Ну что?

– Ничего, – отвечала слегка сконфуженная Данка.

– Ну, цып-цып сюда! – поманил ее, протягивая встречу ей свои руки, Термосёсов.

Бизюкина еще более смутилась, но одолела себя и сделала шаг в сторону Термосёсова.

– Ну, теперь рученьку дай, – попросил Термосёсов.

Данка, не глядя на него, протянула ему свою руку.

Термосёсов взял эту руку и, пощекотав ее снизу в ладонь указательным пальцем, сказал:

– Мылася еси, убелилася еси, очистилась еси... и вот теперь и славная барынька стала!

И он еще раз посильней поиграл пальцем под данкиной ладонью и потом выпустил ее и сказал:

– Ну, где же твои портреты?

Данка, которую не оставляло смущение, во все это время рассматривала давно ей знакомые вещи на ее письменном столике и при последнем вопросе Термосёсова быстро подняла голову и подала в свободной руке несколько фотографических карточек, вставленных в одинаковые бронзовые рамки.

– Вот они, – сказала она, подавая эти рамки Термосёсову.

– Прекрасно. – Теперь молоток и гвозди?

Данка сходила в свою спальню и принесла маленький стальной молоток и бумажку с гвоздями.

– Прекрасно! – сказал, поднимаясь, Термосёсов. – Давай же работать. Я думаю: здесь их, над этой стеной приколотить?

– Как вы хотите, – отвечала Данка.

– Да чего ты это все это время говоришь мне вы, когда я тебе говорю ты? Ведь это только горничные, находясь в связи с барчуками, так разговаривают.

Данке это показалось так нестерпимо обидно, что она готова была заплакать.

– Говори мне ты, – сказал Термосёсов. – Ладно?

– Мне все равно, – прошептала она чуть слышно.

– Все все равно ей! Все равно ей, что где повесить, что как говорить! Ах ты смешная, – воскликнул он. – Все все равно не может быть. – Я вот здесь повешу твои портретики! – указал он на место над диваном.

– Хорошо, – отвечала хозяйка.

Термосёсов взлез на диван, вбил в стену гвоздик и повесил на него одну рамочку.

– Вот это тут будет! здесь середина, здесь и место государевой карточке. – Он посередине, а семейство вокруг, – хорошо?

– Да, – уронила Данка.

– Вот видишь! – продолжал он, развешивая картинки. – А тут государыня... А тут наследник... А здесь князья... Вот, вот так, вот так крестом... А это что такое? Да у тебя тут и министры?

– Да; тут, кажется, некоторые.

– Ну и их рядом под низок: Валуев первый. Так давай его первым и повесим. А это кто такой? Какой-то генерал!

– Зеленый, кажется...

– Зеленый? Ну давай Зеленого: я и не знаю такого. А это кто в очках? Должно быть, Горчаков, смекаю?

– Да.

– Россию отстоял... ну молодец, что отстоял, – давай его сюда повесим. А это кто?

– Подписано должно быть сзади.

– “Милютин”, – прочитал на обороте Термосёсов и добавил от себя: – Не знаю.

– А это? – взял он вновь и прочитал: какой-то “Мельников”, – не знаю тоже. А это... ба-ба-ба и Муравьев!..

Термосёсов поднял вровень с своим лицом карточку покойного Муравьева и пропел: Михаилу Николаич, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте!

– Вы знакомы были с ним? – спросила Бизюкина.

– Я?.. с ним? То есть лично, ты спрашиваешь, знаком ли? Нет; меня Бог миловал, – я не знаком; а наши кое-кто наслаждались его беседой.

– Ну и что же? – любопытствовала стоящая у дивана Данка.

– Хвалят, брат, и превозносят, – отвечал, вздохнув, Термосёсов. – Это второй Петр Пустынник, – он даже в христианство обращал.

– Скажите!

– Да... У нас одна была... так, девушка... Огонь была... чудесная женщина... Взяли ее вскоре после родов... она с дядей своим была в то время в браке, и дитя некрещеное держали, а он как с ней пошел беседовать. “Говорите, – говорит, – мне, родная, всё как попу на духу! Что хитрить! Будемте честными людьми: в Бога не верите, Государя не любите, Россией пренебрегаете?” – Та, брат, ему, как водилось тогда, честно на все это и ответила: не верю, говорит, в Бога, ну и про Царя тоже и про Россию. А он точно игумен скорбящий: “Ну а чем же, говорит, еще грешны?” Да все, matka, таким тоном и распытал и объявляет: “Вижу, говорит, я, что вы, однако, ни в чем сознательно не грешны. Поживите-ка, говорит, здесь немножечко; поживите! Вас там осилили, а здесь вы вздохните да пообдумайте: мы говорить с вами будем, авось вы и в Бога уверуете, и Государя возлюбите, и Россию чтить станете; а тогда и сына окрестим”. Так, брат, все и сделал, так женщину и отбил.

– Сослали ее?

– Кой черт сослали! “Иди, – сказал ей после, – иди, дитя, и к сему не согрешай”, – и отпустил. Замужем она теперь в Петербурге и панихиды по Муравьеве служит. Совсем отбил. Полагали на нее надежды, а она вышла дрянь.

– Да вы же говорите, что все это можно?

– Можно? Я и сейчас скажу, что можно, но надо же это не так, не взавправду... Э! да тебе еще не пришел час это понимать! Возьми-ка его прочь от меня! – заключил он, спускаясь с дивана и подавая Данке портретик Муравьева.

– Не надо его?

Термосёсов сошел, взял Данку обеими ладонями за бока и, посмотрев ей в лицо, сказал:

– Да, не надо!

– Я не понимаю... – сказала Данка и замолчала.

– Чего?

– Да вот... Если все это... надо отыгрывать, как вы говорите... зачем же тогда Муравьева здесь не повесить?

– Зачем?... А затем, что впечатление очень неприятное.

– Чем?

– Да видишь... бяка-бабака-козел-бу!.. – проговорил он Данке, как пугают детей, и добавил:

– Спрячь его лучше подальше; а то...

И Термосёсов сделал гримаску, подобную той, какую сделал Мефистофель, когда ему предлагали укрыться в часовне.

Бизюкина поняла это и отнесла назад карточку Муравьева в свою спальню.

– Ну, а теперь бэзи! – сказал, встречая ее, когда она возвратилась, Термосёсов.

Данка не совсем поняла значение сказанного, но по предчувствию смутилась и прошептала:

– Что?

– Бузи, бузи! – внятнее повторил ей Термосёсов, придерживая ее ладонями за бока и вытягивая к ней хоботком свои губы.

Данка сконфузилась, отодвинула его руки и сказала:

– Что вы это такое!

– А как же? – спросил Термосёсов. – какое же мне будет поощрение?

Бизюкиной это показалось так смешно, что она тихонько рассмеялась и спросила:

– За что поощрение?

– А за все: за труды, за заботы, за расположение. Ты, верно, неблагодарная? “О женщины, женщины”, – сказал Шекспир, – шутя воскликнул Термосёсов и, крепко взяв своей рукою правую руку Данки, расправил ее кисть и смело провел за открытый ворот своей рубашки и положил на нагое тело.

– Правда, горячее сердце у меня? – спросил он.

Данка была совсем обижена и рванула руку, но рука ее была крепко притиснута рукою Термосёсова к его теплому боку.

– Те-те-те-те! Лжешь – не уйдешь! – шая, проговорил ей Термосёсов и обвел свою другую руку вокруг ее стана.

– Чтобы заставляя себе человека служить, надо его поощрять: это первое правило.

Этим Бизюкина была уже так ошеломлена, что только сжалась в лапе у Термосёсова и шептала: “Пустите”, – но шептала словно нехотя, словно в самом деле горничная, которая тихо шепчет: “Ай, сейчас во все горло крикну!”

Термосёсов это и понимал: он тихо сдерживал Данку в своих объятиях, но не употреблял против нее никаких дальнейших усилий, хотя при слабости ее защиты ему поцеловать ее теперь ничего не стоило.

– Мы ничего не берем насильно, а добровольно, наступая на горло, – проговорил он шутя и глядя ей в глаза так близко, что она чувствовала его дыхание и ощущала, что ноги его путаются в ее платье.

– Вы очень дерзки, – сказала она.

– Ни капли: а Андрей Термосёсов прост, вот и все. Вы всё привыкли, чтоб с вами финтить, да о небесных миндалях разводиться, а Андрей Термосёсов простяк. Термосёсов так рассуждает: если ты умная женщина, то ты понимаешь, к чему идет, если ты с мужчиной так просто разговариваешь; а если ты сама не знаешь, зачем так себя держишь, так ты глупа и тобою дорожить не стоит. Так вот тебе на выбор: хочешь быть умной или глупой?

Данка, конечно, желала быть умной.

– Вы очень хитры, – сказала она, слегка отклоняя свое лицо от лица Термосёсова.

– Хитер! Ну брат, выкрикнула слово! Нет, душатка, Андрей Термосёсов как рубаха: вымой его, выколоти, а он, восприяв баню паки бытия, опять к самому телу льнет. А что меня не все понимают и что я многим кажусь хитрым, так это в том не моя вина. Я, вот видишь, не только все сердце свое тебе открыл, а и руку твою на него наложил, а ты говоришь, что я хитрый.

– Вас, я думаю, никто не поймет, – ответила Данка, совершенно осваиваясь с своим положением в объятиях Термосёсова и даже мысленно рассуждая, как это действительно оригинально и странно идет все у них. Точно в главах романа: “оставим это и возвратимся к тому-то”, потом “оставим то-то и возвратимся к этому”, – от любви к поученью, от поученья к любви... и все это вместе, и все это поучая.

И Данке вдруг становится преобидно, что ее поучают. Она припоминает давно слышанные положения, что женщины не питают долгой страсти к своим поучателям и заменяют их теми, которые не навязывают им своего главенства, и она живо чувствует, что она ни за что не будет долго любить Термосёсова, но... тем более он любопытен ей... Тем более она желает видеть, как он все это разыграет при необычности своих приемов.

А Термосёсов между тем спокойно отвечает ей на ее замечание, что его “никто не поймет”.

– Что ж, это очень может быть, что ты и права, – говорит он. – Свет глуп до отчаянности. Если они про Базарова семь лет спорили и еще не доспорились, так Термосёсов – это фрукт покрепче, – станут раскусывать, пожалуй, и челюсти поломают; и моей-то вины опять в этом нет никакой. Я тебе сказал: Термосёсов сердце огонь, а голова отчаянная.

– Ваша откровенность погубит вас, – уронила с участием Данка, согревшаяся животным теплом у груди Термосёсова.

– Погубит? – ничего она не погубит. Некого бояться-то!

– Ну, а он?

Данка кивнула по направлению к покою, где спал судья Борноволоков.

– Судья-то? – спросил Термосёсов.

– Ну да?

– Эка, нашла кого выкрикнуть! – воскликнул, встряхнув Данку за плечи, Термосёсов. – Ничего вы здесь не понимаете! Судья! Ну судья и судья, ну и что ж такое? Читала, в Петербурге Благосветлов редактор возлупи пребокэ своих рабочих, ну и судил судья и присудил внушение. Ольхин судья называется... Молодчина! А поп демидовский барыне одной с места встать велел, – к аресту был за это присужден, и опять, стало быть, мировой судья молодчина.

– Еще бы, – попы! Это первая гадость, – отозвалась Данка.

– Ну вот видишь, так и сотворено! Эх ты! Видишь: сама поняла!

– Да ведь у нас свой точно такой поп есть, с которым никак не справимся.

– Горлодёр?

– Как вы сказали?

– Я говорю: горлодёр, орун?

– Туберозов он называется.

– То-то: орун что ли он?

– Не орун, а надоел и никак не справимся.

– Н-ничего: до сих пор не справлялись, а теперь справимся.

– Никто не может справиться.

– Ничего, мы справимся.

– Он опирается на толпу. Он авторитет для них.

– Н-ничего, это все ничего. Как ты говоришь его фамилия-то, Туберкулов?

– Туберозов.

– Ну, я это попомню. Не высокий ли он, седой?

– Да.

– Ну я его видел, как мы через мост переезжали. Должно быть, скотина?

– Страшная.

– Это я с первого взгляда увидел. Ну ничего: уберем. В цене сторгуемся и уберем: я Ирод, ты Иродиада. Хочешь?

– Что такое?

– Полюби и стань моею.

Данка покраснела и сказала:

– Вздор какой!

– Вздор?.. Э-эх вы, жены, российские жены! Нет, далеко еще вам до полек, – вас даже жидовки опередили. Я тебе голову человека ненавистного обещаю, а ты еще раздумываешь?.. Нет, с такими женщинами ничего нельзя делать! – воскликнул он и внезапно освободил из рук Данку.

Божедомы. Николай Семенович Лесков Teskovniko1ai.ru
Выпущенная Бизюкина вдруг осиротела и, следя глазами за Термосёсовым, с явной целью остановить его, проговорила:

– Я ничего не раздумываю.

Термосёсов тотчас же молча вернулся, обнял Данку и, прежде чем она успела опомниться, накрыл ее рот и подбородок своею большою и влажною губою.

Данка целовалась, но вдруг вспомнила, что все это происходит перед открытым окном, и, рванувшись, шепнула:

– Прошу вас!.. Прошу вас, пустите!

– А что? – спросил Термосёсов.

– Здесь видно все в окна.

– А-а, окна! Ну, мы подадимся, – и он, не отнимая ни своей, ни ее руки с мест, которые избрал им, переставил Данку за косяк и спросил:

– Ты мужа не боишься?

– Я?.. О нет! – воскликнула, качнув отрицательно головою, Данка.

– Молодчина! – поощрил Термосёсов и опять в другой раз накрыл Данку губою и на этот раз на гораздо большее время.

– А вы, – спросила, освобождаясь на мгновение, Данка. – Вы не боитесь?

– Кого мне бояться?.. С чего ты это берешь?

– Но мне... так как-то... показалось, что вы за ним ухаживаете?

– Да; так что ж такое, что ухаживаю? Да ты знаешь ли, зачем ухаживают-то? – затем, чтобы уходить. Я вот теперь за тобой ухаживаю, – добавил он со смехом, – и что ж ты думаешь, я тебя не ухожу что ли? Будь спокойна: ухожу тебя, разбойницу! Ухожу! – и с этим Термосёсов приподнял обеими руками кверху Данкино лицо и присосался к ее устам как пиявка.

Поцелую этому не предвиделось конца, а в комнату всякую минуту могла взойти прислуга; могли вырваться из заперти и вбежать дети; наконец, мог не в пору вернуться сам муж, которого Данка хотя и не боялась, но которого все-таки не желала иметь свидетелем того, что с ней совершал здесь быстропобедный Термосёсов, и вдруг чуткое ухо ее услышало, как кто-то быстро взбежал на крыльцо... Еще один миг, и человек этот будет в зале.

Данка толкнула от себя Термосёсова, но он не подавался; а выговорить она ничего не может, потому что губы ее запаяны покрывающей их толстой губой Термосёсова. Данка в отчаянии крепко щекотнула Термосёсова в бок своими тонкими пальцами. Гигант отскочил и, увидев входящего мальчика, понял в чем дело.

– Это его-то? Тпфу, есть кого пугаться, – сказал он с небольшим, впрочем, неудовольствием. – “Брудершафт, мол, выпили, да и поцаловались”. – Ну так, так: на попа сыграли? – заключил он, протягивая с улыбкою руку Бизюкиной.

– На попа.

– И все у нас условлено и кончено?

– Кончено, – отвечала, слегка смущаясь и подавая руку, Данка.

– На Туберкулова?

– На Туберозова.

– Ну, смотри же!

Термосёсов крепко пожал и встряхнул Данкину руку.

– Держать свое слово верно!

– Верно, – ответила Данка.

– Смотри!.. Каково поощрение, такова будет и служба. Это так и разделено: мужчина действует, а женщина его поощряет. А ты, – добавил он, осклабляясь, погрозив пальцем Данке, – ты, должно быть, бо-ольшая шалунья! Посмотрим же.

С этим Термосёсов выпустил руку хозяйки и решительно пошел к кабинету, где спал или не спал судья Борноволоков.

VIII

Борноволоков не спал еще, когда к нему возвратился счастливый Термосёсов.

Судья, одетый в белый коломянковый пиджак, лежал на приготовленной ему постели и, закрыв ноги легким весенним пледом, дремал или мечтал с опущенными веками.

Термосёсов как только взошел, пожелал удостовериться: спит судья или притворяется спящим? Термосёсов тихо подошел к кровати судьи, тихо нагнулся к его лицу и назвал его негромко по имени. – Судья откликнулся.

– Вы спите? – спросил Термосёсов.

– Да, – отвечал одною и тою же неизменною нотою Борноволоков.

– Ну где ж там да? Откликаетесь и говорите, что спите. Стало быть, не спите?

– Да.

– То есть я вас разбудил, может быть?

– Да.

– Ну, вы извините.

Борноволоков только вздохнул. Термосёсов отошел к другому дивану, сбросил на него с себя свой сак и начал тоже умашиваться на покой.

– А я этим временем, пока вы здесь дремали, много кое-что обработал, – начал он укладываться.

Судья опять уронил только да, с оттенком вопроса.

– Да так да, что я даже, могу сказать, – и кончил: *veni, vidi, vici.*[20]

Не открывая глаз и не рушась на своем месте, Борноволоков опять уронил то же самое да.

– Да. Осязал, огладил и дал лобызание.

– И что ж? – сказал, самую малость оживясь, Борноволоков.

– Городская золотуха и мозоли, – отвечал категорически Термосёсов.

– Это с одной стороны, – проговорил судья.

– Да; а с какой же с другой? “Золотуха и мозоли”, ведь этим все сказано. – Дура большая.

– Да?

– Комплектная дура, хоть на выставку, – проговорил Термосёсов и добавил, – но цалуется жестоко!

С этим Термосёсов скинул ногой сапоги и начал умашиваться на диване, ветхие пружины которого гнулись и бренчали под его блудным телом.

Божедомы. Николай Семенович Лесков Teskovniko1ai.ru

Судья по поводу термосёсовского замечания о свойстве данкиных поцелуев протянул то же самое бесстрастное да и, очевидно, намеревался уснуть.

Но Термосёсов разболтался.

– Я ее и поучил тоже, – сказал он судье.

– Да?

– Вместе и поучил и поухаживал.

– Что же?

– Ничего: мешай дело с бездельем, – лучше с ума не сойдешь. Я ее ухажу, – заключил, покрываясь своим пальто, Термосёсов.

– Да?

– Непременно.

– А Валка?

– Что ж такое Валка? Мы с нею кончили все.

– Да?

– Да, конечно.

– А как она сюда приедет?

– Зачем? Разве она вам говорила?

– Да.

– А ведь она же прачечную открыла. Пустое! Там и корыта, и бук, и всякая штука. Пустое, – она не приедет! И зачем?.. Я ей сказал: я свободен, ты свободна, мы свободны, вы свободны, они, они свободны. Про что нам еще толковать! А хоть если и приедет... – добавил, потянувшись, Термосёсов, – приедет и уедет... А здесь нам, кажется, ввали, что спокойный город и дела мало будет, – дела будет очень довольно... Тут есть у них поп... Вот скотина-то по рассказам: самое ваше нелюбимое: вера, вера, народ и вера и на народ опирается и доносы, каналья, пишет... Э! Да вы, кажется, дормешки?

– Да.

– Ну, в таком случае я сам буду спать!

С этим Термосёсов повернулся лицом к стене, и через минуту и он, и его начальник оба заснули.

Данке не шел на ум отдых. Она в это время стояла в гостиной перед открытым окном и, глядя в светлую даль, целовала веющий ей в лицо ласковый воздух.

Так прошло несколько минут, и глаза молодой женщины беспричинно, по-видимому, замигали и наполнились нервными, истерическими слезами. Она вся еще дрожала от поцелуев Термосёсова и, нетерпеливо поднеся к губам руку, которую тот так долго держал на своем сердце, поцеловала ее сама и вздрогнула.

С улицы ее кто-то назвал по имени.

Бизюкина проворно отняла от губ свою ладонь и, сердито взглянув в окно на неожиданного свидетеля ее восторгов, увидела учителя Омнепотенского.

Бюзюкина бросила ему презрительный взгляд и спросила:

– Чего вы?

– Приехали? – отвечал ей вопросом запыхавшийся на ходу Омнепотенский.

– Ну, а что такое вам, что приехали или не приехали? Ну приехали.

– Ничего, я только услышал, что приехали, и побежал, как кончил третий урок. Что, они спят теперь?

Данка сухо промолчала.

– А они уже видели мои кости? – добивался учитель.

Данка опять промолчала.

– Вы, верно, их и не показали? – спросил Омнепотенский.

– Видели, видели, – оторвала с гримаскою Данка.

– И что же?

Данка опять промолчала.

– И что же, я говорю, они, Дарья Николаевна?

– Да что “что”? Ничего!

– Как ничего?

Данка покусала минуту нетерпеливо губы и проговорила с угрозой:

– Будет вам, погодите, будет!

– Что мне такое будет?

– Пойдите, пойдите, будет!

– Да что вы... чем вы меня пугаете? Что ж мне может быть? – встосковался учитель.

– Что? Вот увидите что, – повторила с тихой угрозой Данка и, повернувшись спиной, заперлась на ключ в своей спальне.

Невинный Омнепотенский ничего не понимал и ничего не мог прозреть, какие ходили здесь бури и какие они понасыпали холмы и горы на место долин, и какие долины образовали там, где лежали бугры и буераки.

Верный самому себе и однажды излюбленным началам, он и не подозревал какой-нибудь изменчивости в людях и особенно такой быстрой изменчивости, какая совершилась в Данке, и входил в дом Бизюкиных с тем кротким спокойствием и с тою короткостью, на которые имел права, освященные временем.

Он теперь имел в виду только одно: чем именно ему угрожает Данка от приезжих гостей?

– Сечь! – мелькает по школьной привычке в его голове; и он принимает это довольно живо, потому что ему часто снится, что его секут, но сейчас же он оправляется и успокаивает себя, что чиновников не секут... Вот разве вешать?... Ну да... вешать! Было бы еще за что?

IX

Надо не забывать, что Омнепотенский был совсем свой человек в доме Бизюкиных, чтобы понять, отчего его нимало не смутил прием, сделанный ему Данкою. Ему было все равно, быть здесь принятым или не принятым, незамеченным или обласканным, он здесь видел себя всегда на месте, поэтому и теперь, не стесняясь тем, что хозяйка заперлась в своей спальне перед самым его приходом, он преспокойно обошел весь зал и гостиную, пересмотрел и перетрогал стоявшие на этажерках старые и давно ему известные книги; подразнил пальцем ручную желтенькую канареечку, дал щелчка в нос нежившемуся на окне рыжему коту и, наконец, сел в то самое кресло, в котором полчаса назад сидел Термосёсов. – Скучно. – Омнепотенский зевнул, встал и пошел на цыпочках по гостиной и по зале... Тоже невесело. Безмолвие кругом; на дворе слышно, как повар сечет котлеты; в кабинете

Божедомы. Николай Семенович Лесков Teskovniko1ai.ru
кто-то играет на носе.

Омнепотенский вернулся в гостиную и тихо-тихохонько потрогал дверь в кабинет, – дверь заперта. Омнепотенский повернулся и вышел в переднюю.

- Ермошка, – спросил он мальчишку, – а что ваши гости?
- А ничего; сплят у бариновом кабинете.
- Оба спят?
- Ой, ой, ой – еще как! – отвечал вольнодумный Ермошка.
- Их тут кормили? – спросил Омнепотенский.

Ермошка покусал зубами нитку, оставшуюся в обшлага его рейт-фрака после оторванной пуговицы, и проговорил:

- Нет; ести им не давали, а так...
- Гм! так чай только пили или кофей?
- Да нет же: и чаю, и кофею не подавали, – отвечал Ермошка.
- Ну так что ж ты говоришь: “так”, “так”?
- Да “так”, что ничего так не подавали!
- Экой дурак, – ругнул невольно Омнепотенский.
- Ну всё дурак да дурак.

Ермошка опять повалился на коник, а Омнепотенский опять возвратился в гостиную. Дверь в данкину спальню по-прежнему была заперта. Варнава тихо постучал замочную ручкой, – ответа никакого. Громче он не посмел стучать, подвинул к окну стул, сел на него верхом, лицом к спинке, сложил на эту спинку руки, а на руки положил подбородок и, глядя в сонную даль жаркого полдня, задремал как петух на насесте.

Так прошло около получаса, прежде чем Варнава проснулся, но ему показалось гораздо долее. Он осмотрелся, вспомнил, что, с одной стороны, перед ним тут запертая дверь в данкину спальню, а с другой, эти новые гости, которые могут ежеминутно взойти, и это показалось ему совсем скверно. Варнава вскочил, почистил рукой физиономию, и при этом он взглянул случайно на шкаф, на котором стоял его костяк, тот самый костяк, из-за которого он вчера перенес столько гонений, из-за которого едва избежал публичных побоев, из-за которого так строго наказан Ахиллой комиссар Данилка и еще строже наказан сам диакон. Костяка этого не было. Варнава заглянул за шкаф, под шкаф, окинул взором столы, углы и вообще все помещения, где мог, по его соображениям, костяк этот находиться, но его не было нигде. Варнаву обдало варом.

– Неужто же он и отсюда мог пропасть? Это тогда черт знает что такое за ловкое мошенничество! После этого не удивительно, ежели в столице обворовывают и режут, можно сказать, под самым носом у всесозерцающей полиции и не находят следов. Кто и каким путем мог сюда пробраться? В окно? Но он сам, подходя к этому дому, видел, что у окна стояла Данка; не мог же вор проскочить около нее, как муха, да и, наконец, кто же этот вор? Понятно, или его собственная варнавкина мать, или дьякон Ахилла, но мать его дома, а Ахилла такой огромный, что он и в окно-то совсем едва ли пролезет. Нет; тут голову совсем потерять можно!

Учитель не выдержал и, забывши всякие церемонии, смело застучал кулаком в комнату Данки.

- Это чего еще? – отозвалась из-за двери Бизюкина, отозвалась голосом не сонным, а простым, спокойным, каким она говорила всегда.
- Поздравляю нас с праздником, – с легкой укоризной ответил Омнепотенский.
- С чем-с?

– Очень хорошо мы спасли наши кости. Их нет.

– Да, нету, – отвечала Данка.

– Как! Так вы знаете об этом?

– Еще бы!

– И так спокойно говорите!

– Да чего же я должна беспокоиться?

Омнепотенский в недоумении замолчал и, стоя здесь же, у двери, кусал себе ногти. А за дверью в комнате Данки происходило сильное движение и какая-то перестановка... Слышно было, что Данка с кем-то говорит, что-то устраивает, вообще о чем-то хлопочет, но вообще во всем, что оттуда слышалось, Омнепотенский не мог уловить такого, чем, по его соображению, Бизюкина должна бы была отвечать на сообщенные им тревожные известия. Это его совершенно поразило.

– Дарья Николаевна, – заговорил он, – вы, может быть, думаете, что я шучу, а я кроме всех шуток говорю: костей нет.

– Да убирайтесь вы вон, – отвечала нетерпеливо Данка.

– Чего-с? – переспросил, приставив ухо к двери, Омнепотенский.

– Убирайтесь, вот чего. В чулане сыпаны все ваши глупые кости.

– Глупые кости! Что такое; что такое за глупые кости? Да позвольте мне наконец хоть взойти к вам!

– Нечего вам здесь делать.

– Как это нечего делать?

– Так, нечего, очень просто нечего.

Удивление Омнепотенского все возрастало и возрастало. Этаким тоном Данка не говорила с ним никогда! Бывала, правда, она иногда груба, резка и неприветлива, но выгонять из дому, отталкивать, вообще чуждаться его, человека с нею единомысленного и имевшего право считать себя с нею на самой близкой ноге, – этой фантазии ей до сих пор еще никогда не приходило, и это первый снег на голову. В бузинном сердце Омнепотенского шевельнулось даже нечто вроде ревности, вроде досады, вроде того и другого вместе. Это было для Омнепотенского чувство совершенно незнакомое и новое, чувство, которого он до сих пор, не будучи близок ни с одной женщиной, кроме Данки, не изведывал: это была боязнь предпочтения. До сих пор он знал к себе прямо враждебное чувство со стороны своих гонителей и врагов; считал неприязненными к себе чувствами чувства своей матери, но это все, в его глазах, было не то. Во-первых, все люди, не посвященные в тайны его стремлений, были в его глазах существа несовершенной, низменной породы, которые судить его не могли, а во-вторых, ему было все равно, что о нем думают как о человеке и какие к нему питают чувства, – ему важно, лишь бы его считали врагом и деятелем, и Данка, которая знала, что он деятель, Данка, которая его отличила и отметила своим вниманием, с которой они в течение стольких лет как бы восполняли друг друга и в этом скучном уездном существовании, и в непрерывной борьбе с одолевавшим их консерватизмом... Эта Данка вдруг топырится, не отвечает ему или, еще хуже, отвечает, но отвечает так, как бы она отвечала не деятелю, а какому-нибудь городничему или Ахилле или даже своему мужу, – это невозможно. Варнава сто раз повторил в себе, что это совершенно невозможно и что приезжие гости ни под каким видом не должны застать их с Данкою в таких противоестественных отношениях. Это надо было кончить. Варнава решил идти напролом: он сильно оперся рукою на ручку замка и всем плечом надавил на дверь. Дверь подалась.

– Это еще что? – спросила его из своей комнаты Данка и, отдернув задвижку, отворила дверь с такою быстротою, что чуть не разбила Омнепотенскому носу.

Божедомы. Николай Семенович Лесков Teskovniko1ai.ru

– Что? Чего и зачем вы сюда добиваетесь? – крикнула она на него. – Чего вам нужно?

– Ничего особенного, Дарья Николаевна, – сказал, вдруг оробев и немножко понизив голос, Омнепотенский, – но ведь должен же я знать, что все это значит, меня запирают, кости мои сваливают в чулан; меня, здесь запертого, могут застать новые люди, и я на первых же порах буду перед ними черт знает в каком дурацком положении.

– Это значит, вы будете в вашем собственном положении, – отвечала Данка, – а кости ваши... они в чулане, я вам сказала, они в чулане, я их выбросила.

– Вы сами!

– Нет, не сама, а Ермошка.

– Да что же это значит? – воскликнул изумленный Омнепотенский.

– Да не могу же я держать всякий хлам в моем зале.

– Это хлам? Это вы называете хламом? Но если это, по-вашему, хлам, то из-за чего же мы с вами так бились и хлопотали, чтобы спасти их.

– Вы бились и вы хлопотали, а я никогда не билась и повторяю вам, что я ничего этого не хочу знать, – резко отвечала ему с гримасою Данка.

Омнепотенский растопырил руки и сказал:

– Извините.

– Ничего, – отвечала Данка.

– Но после этого, стало быть, хлам все, что мы до сих пор с вами делали?

– Да, всё хлам.

– Хлам! ну пусть меня черт возьмет, стало быть, я сам хлам, потому что я этого даже и не понимаю.

– И разумеется, вы не способны к развитию.

– Как? что такое? не способен, это что еще?.. Я? я не способен к развитию? Да вы позвольте, Дарья Николаевна, позвольте, с которых же это пор наконец? и что это такое значит? Вас просто кто-то пришел, увидел, победил?

Данка нашла в этом прелестный повод для того, чтобы рассердиться. Она наговорила Омнепотенскому ряд самых неожиданных дерзостей, которые сыпались из ее уст с такою быстротою и шумом, как сыплется сухой горох из опрокинутой мерки, и, наконец, истощив весь запас брани и ругательств, позвала свою горничную и, не обращая никакого внимания на стоящего в изумлении Омнепотенского, стала сама, с помощью горничной, привешивать на окна спальни белые пышные шторы на розовом дублюре.

Это были шторы, которые издавна составляли предмет зависти многих дам Старого Города, которые были уверены, что такие шторы могут быть только в домах настоящих грандесс. Это были шторы, на которые ходили смотреть с улицы как на чудо роскоши и совершенства. Шторы, в которых все знали каждый шнурок, каждое колечко и каждую кисточку тяжелой бахромы. Наконец, это были те самые шторы, которые, прежде всех других предметов роскоши, находившихся в доме Бизюкиных, смущали вчера самое Данку и смущали до такой степени, что она, начиная приводить свой дом на демократическую ногу, при известии о прибытии Термосёсова и Борноволокова, первым делом сочла снять и убрать при помощи Омнепотенского эти шикарные шторы. И вдруг сегодня... суток нет... одна лишь ночь всего прошла, и она же, та же самая Данка, собственноручно выставляет эти роскошные вещи на всеобщую видимость!

Все это становилось неразгаданным иероглифом над пониманием Омнепотенского, но пониманию его Данка нынешний день как бы нарочно решила давать самые

Едва только кончилось вешание штор, как из тяжелой кованой укладки, которая вчера сокрыла все лишние вещи, на свет божий полезли всякие другие лишние мелочи. На стенах снова разместились снятые картины и разместились в такой же тщательной и разумной группировке, в какой они не размещались даже до сих пор прежде. В группировке, в которой все-таки сказался в Данке и остаток прежнего вкуса, и даже покорность требованиям искусства в освещении. Вслед за картинами встал у камина роскошный экран; на самой доске камина поместились черные мраморные часы с звездным маятником; столы покрылись новыми, дорогими салфетками: лампы, фарфор, бронза, куколки и всякие безделушки усеяли все места спальни и гостиной, где только можно было их ткнуть и приставить. Все это придавало данкиной квартире вид ложемента богатой содержанки, получающей вещи зря, без толку и переполняющей ими свою гостиную, в стремлении ближе уподобить ее будюару большой дамы.

Омнепотенский, разумеется, не одобрял этого убранства. Он не одобрял его, конечно, не с той стороны, что это портит комнату, но не одобрял со стороны тех самых воззрений, которые вчерашний день были внушены ему самою же Данкою и потом усвоены им себе в течение целых двенадцати часов с такою прочностью, что он не мог от них отделаться ни на минуту. Поэтому, когда Данка велела снять чехлы со своей мебели и, начав передвигать диван в уголок против камина, потребовала в этом случае помощи самого Омнепотенского, он не мог более удержаться и сказал:

– К чему же все это делается?

– К тому, что так удобнее и красивее, – отвечала Данка и тотчас же потребовала, чтобы за диваном был поставлен вынесенный вчера маленький трельяж с зеленым плещом. Затем она с сосредоточеннейшим вниманием *femme demi-monde*[21] начала устраивать перед камином самый восхитительный уголок, из лучшей своей мягкой мебели. Здесь должна была быть ее *causerie*. [22] Прямо перед камином она поставила кушетку “*au pied de ma femme*” [23] и с удовольствием взглянула на тот подножный валик этой мебели, на котором должен был сесть он и опереться своей усталой головой на ее колени.

Правда, что теперь еще лето, что теперь не топят каминов, но *tant mieux et tant pis* [24] (Данка теперь постоянно думала по-французски), теперь сады, леса, ущелья и горы. Теперь не имеет всей цены эта кушетка, но зато впереди, в длинные вечера ненастной осени как будет хорошо здесь, как прекрасно.

Данка в эти минуты забыла, что Термосёсов поучатель и что она не собиралась долго возиться с ним, а как влюбленная женщина, стоящая еще у преддверия храма своей любви, мечтала, что у этой любви не только есть своя весна, но будет и жгучее лето и в свою пору настанет и своя осень. Осень и бури!.. Вот и естественное освобождение. Его ушлют или он умрет... Что лучше: ушлют или умрет? Впрочем, среди жаркой, самой жаркой любви – и то, и другое прекрасно! К счастью Омнепотенского, он не видал, кому принадлежали данкины думы, и это в самом деле к счастью: быть забытым женщиною, которую, как бы то ни было, мы по-своему любим, это тяжело; но еще видеть, как эта же женщина заботится об другом, как она наверстывает в своих о нем попечениях небрежность, которую допускала в своих чувствах к предмету своей прежней любви... о, это несносно. Чтобы не видеть этого, Гейне, специалист в делах любовных, завещает:

Или в другую влюбляться опять,
Или с дорожной сумою
Отправиться в горы гулять,
Где орлиные крики услышишь
И орлиный увидишь полет.

Но Омнепотенский, как мы уже сказали, не чувствовал никаких терзаний, потому что не видал, что полтора часа тому назад происходило здесь у Данки с Термосёсовым, а Варнава того и не подозревал, чего не видел. Он просто был смущен несоответственностью поступков Бизюкиной ее принципам и недоумевал, а между тем Данка, окончив убранство своих комнат, вышла в свою спальню и через несколько минут предстала очам растерявшегося учителя в таком ослепительном блистании красоты и великолепия, в каком ее Омнепотенский не видал никогда. На Данке было совершенно модное платье из яркого поплина, в котором пестрели все семь цветов шотландской клеточки. Платье это было не по сезону, и Данка, конечно, это понимала и знала, но зато она ни в чем не была так хороша, как в этом ярком пестром

Божедомы. Николай Семенович Лесков Teskovniko1ai.ru
платье, обделанном кругом по лифу, подолу и по широкому разрезу армянского
рукава широкою косою, сплетенной из алого атласа. На голове у Данки, причесанной
со вкусом и с искусством, была черная кружевная звездочка, очень эффектно
приколота двумя большими шпильками из голубой матовой бусы.

Увидя теперь Данку, сомнительно, чтобы Термосёсов нашел удобным сказать о ней,
что это только одна золотуха да мозоли, и только лишь один бестолковый
Омнепотенский мог не заметить, насколько возвысились ее внешние достоинства... Он
не сказал ей по этому поводу ни одного слова и в то время, когда она, выйдя в
гостиную, стала перед зеркалом, чтобы оправиться, – заговорил с нею в совершенно
неподходящем минорном тоне.

– А я, Дарья Николаевна, сегодня ужасно расстроен.

Дарья Николаевна внимательно смотрела в зеркало и наводила язычком слегка
напомаженные розовою помадою губы и вовсе не обнаруживала никакого намерения
отвечать Омнепотенскому.

– Вы помните, как третьего дня вы научили меня, чтобы я растолковал Данилке, что
дождик идет по естественной причине?

– Ну-с, – вдруг отозвалась Данка.

– Так вот, я это растолковал, а из этого черт знает что вышло. Я вам говорю, до
чего сильно это духовенство у нашего глупого народа, это просто невозможно
представить. Данилка лучше это исполнил, чем даже мы предположить могли, потому
вы знаете эту нашу мещанскую биржу.

Данка промолчала.

– Вот где мещане над рекою на берегу валяются, знаете, напротив туберозовского
дома... Данилка там и завел об этом разговор, как вдруг отгадайте же вы, кто
является...

– Очень мне нужно ломать голову, отгадывать? – презрительно отозвалась Данка и
отправилась в свою спальню за коробочкой пудры. Только что она возвратилась
назад и стала в прежней позиции с этим снарядом против зеркала, как Варнава
продолжал.

– Является-с этот свинья Ахилла и, представьте вы, – за ухо Данилку и повел к
Туберозову... Сделайте ваше одолжение, это в девятнадцатом столетии-с, в 1867 году
за два дня до введения мировых судов?..

– Да; очень нужно мировому суду все эти ваши глупости!

– Да как же-с, нужно? И какие же это глупости, когда вы сами меня заставили все
это сделать? Нет... вы, Дарья Николаевна... что-то я даже не знаю, как вам и
сказать... Вы это шутите, смеетесь или просто говорите?

– Послушайте, – перебила его Бизюкина, – вы знаете, что я вам давно собиралась
сказать: идите домой.

– Вы это серьезно говорите?

– Серьезно.

– Таки совершенно серьезно?

– Таки решительно, решительно серьезно.

Омнепотенский раскрыл рот и прошептал:

– Это уж из рук вон!

Он решительно не знал, как ему отнестись к этому неожиданному обороту, которое
приняло дело. В первую минуту он видел в этом нарушение приятельских отношений,
что кое-как еще можно было простить, и оскорбление его сана гражданского борца,
чего простить невозможно; но через другое мгновение Варнава домыслился, что это,

Божедомы. Николай Семенович Лесков Teskovniko1ai.ru
верно, что-нибудь такое, политическое, нужное для пользы дела, и спокойно ответил:

- Да, я пойду, только мне, признаться сказать, хотелось бы узнать, чем вы мне угрожали, и познакомиться...
- С кем вам знакомиться?
- С ними, - отвечал, качнув головою по направлению к кабинету, Омнепотенский.
- Вовсе вам этого не нужно, - отвечала Данка.
- Отчего же это не нужно?
- Вы только будете совершенно напрасно сконфужены...
- Что же вы, верно, думаете, что я перед ними совсем уж дурак?
- Вы не знаете, о чем надо думать и как говорить.
- Неправда-с, знаю. Это вы одни меня с толпой и со всяким в одну кашу мешаете.
- Ну вот нам и нечего говорить! - перебила его Данка. - Тем, что вы сказали, уже все кончено: вы думаете, что надо жить аскетом, а я вам говорю, что надо жить, как все.
- Это вы говорите!
- Да; это я говорю.
- Я ничего, ровным равно ничего не понимаю.

Проговорив это, Омнепотенский сделал кислую мину и, вздохнув, добавил:

- Но если я вас могу собою конфузить, то я уйду. - Он протянул одну руку к шляпе и тихо пошел к двери, ожидая, что Бизюкина все-таки его остановит; но она его не остановила.

Пройдя через зал и вступая в переднюю, Омнепотенский услышал знакомый ему скрип кабинетной двери, и вслед за тем громкий заспанный голос кликнул:

- Мальчуган!

Омнепотенский не удержался, сделал шаг назад и глянул тихонечко в щелку. Перед ним стоял Термосёсов в белье и полосатых носках. Заспанное лицо Андрея Ивановича было теперь еще выразительнее, и верхняя губа его еще круче спускалась маркизой на нижнюю.

Фигура и лицо Термосёсова так понравились Омнепотенскому, что он забыл все неприятности, причиненные ему недавним приемом Данки, и, проходя по улице мимо окна, у которого она стояла, добродушно крикнул ей:

- А я видел!
- Ну что же? - спросила она.
- Одного видел, - отвечал Варнава. - Этот чудесный.
- Я думаю, что чудесный, - неохотно уронила, отходя от окна, Данка, а учитель пошел своею дорогой.

Данка отошла на середину комнаты и с крепко бьющимся сердцем ожидала, что поведет теперь, воспряв баню паки бытия, Термосёсов.

Х
Андрей Термосёсов делал свой туалет очень скоро, нельзя было успеть сосчитать двести, как он в полном наряде и в добром здоровье взошел в данкину гостиную и, взяв бесцеремонно хозяйку за руку, сказал ей:

– Отлично соснул. А ты, душата моя, спала или нет?

– Нет, я не спала, – отвечала, храбрясь, но робея, Данка.

– Ну, здравствуй, – продолжал Термосёсов, еще раз пожав ее руку, и, принагнувшись, поцаловал ее в губы так смело и свободно, как будто бы теперь он имел уже на это полное и неоспоримое право.

Данка, до сих пор только переносившая поцалуи Термосёсова и млевшая под ними, на этот раз сама ответила ему таким же поцалуем, – поцалуем без увлечения, без страсти, а так, казенным поцалуем, каким она тоже как бы обязана была отвечать ему.

– А мне всё, всё слышалось, что ты здесь как будто с кем-то говорила, – начал Термосёсов, садясь около Бизюкиной так, что ноги ее очутились между его широко расставленными ногами.

– Да, тут был один... заходил ко мне, – застенчиво сказала Данка.

– Кто такой?

– Так... один учитель.

– А, учитель. Что же ты его не задержала? Мы б с ним познакомились. Чему он учит?

– Математике в уездном училище учит.

– Математике? А какая же в уездном училище математика, – там арифметика.

– Все равно, – отвечала Бизюкина.

– Совсем не все равно... А что же, человек он хороший?

– Нет... да, он ничего, он тут все ссорится у нас.

– С Туберкуловым?

– И с ним, и с разными, но глуп.

– Так что же ты его не задержала? Ах, брат, какая же ты разинька! Я уж, лежавши, кое-что попридумал насчет твоего Туберкулова, но все-таки от учителя-то я еще бы кое-что поприхватил. Ведь он хорошо его знает?

– Конечно.

– Ах, какая же вы вертопрашная. Этак пива не сварить с тобой.

Данка смешалась:

– Но вы напрасно на него рассчитываете, – сказала она. – Я забыла вам сказать, что он глуп.

– Да что ж такое глуп, весь мир глуп. Дураки, брат, отличные люди и подчас преполезные, а ты вороти-ка его, если можно.

Изумление Данки возрастало.

– Ей-Богу, вороти, что? Ты, я вижу, что-то хитришь: ты, может любила его, а? Да говори мне все, как Муравьеву, – ведь я все вижу. Ну что ж, я тебя ревновать что ли стану? – рассуждал Термосёсов, – да мне что такое? Вороти, сделай милость.

Данка встала и вышла в залу, чтобы послать Ермошку в погоню за Омнепотенским, и через несколько минут мальчик и учитель, за которым он был послан, шли уже быстрыми шагами по тротуару назад к дому Бизюкиных.

– Вот и он, – сказала Данка, увидев прошедших под окном Ермошку и

Омнепотенского.

– Очень тебе благодарен, – отвечал Термосёсов и, погрозив хозяйке пальцем, добавил, – а сама покраснела? А! а! ишь как горит! Ах вы, нетленные, нетленные! Чего ты себя выдаешь: что, на тебе метина что ли положена? – И с этим Термосёсов зашагал через залу навстречу Омнепотенскому.

Данка была в превеликом затруднении: оказалось, что она ничего не знает, что, собственно, ей кичиться перед Омнепотенским ровно нечем, что ее собственный курс развития, так сказать, еще в самом начале и что она делает непрерывные промахи. Неофитка задумалась над тем, как действительно это трудно и сколько нешуточных затруднений надо преодолеть, прежде чем придется достичь какого-нибудь совершенства.

XI

Термосёсов встретил Омнепотенского на самом крыльце. Стоя на верхней ступени, он подал Омнепотенскому свою руку, словно размахнул лист какого-нибудь фолианта.

– Термосёсов, – сказал он, рекомендуясь, – негилист из Петербурга, а впрочем, отвсюда, откуда хотите, везде сый, вся исполняй, Андрей Термосёсов, будемте друзьями. Вас выгнала сейчас наша хозяйка, а я ее уговорил за вами послать. Побалакаемте.

– Я сам негилист, – отвечал Омнепотенский, смотря на Термосёсова, как подсолнечник смотрит на солнце.

– Полноте, пожалуйста: сами на себя клеветать. Нигилисты это сволочь. Я вам сказал, что я негилист, а не негилист. Надо все признавать кроме гили. Современное движение в расколе даже происходит, а вы еще всё на негилизме полагаете пробавляться... Этак нельзя! Ваша фамилия Омнеамеамекумпортенский.

Учитель удивился.

– Омнепотенский, – сказал он.

– А мне больше нравится Омнеамеамекумпортенский, *omnia mea tecum porto*. Знаете латинское: “все свое с собою ношу”, отличная, настоящая пролетариатская фамилия. – Я вас буду так звать.

– Как вам угодно, – отвечал Омнепотенский.

– Вы, я вижу, очень покладливый парень, – одобрил Термосёсов и, обняв учителя, повел его в данкину залу. Данка и Варнава, встретясь друг с другом, не поклонились, а оба потупили глаза: Данка с замешательством, учитель с укоризной.

– А мы с ним уже и познакомились, – начал рассказывать хозяйке Термосёсов, – он чудесный парень. “Я, говорит, негилист”. Вы тут, говорят, войну ведете?

– Да; иногда... повоевываю, – отвечал Варнава.

– А кстати, расскажите, что здесь больше такое: кто в сем граде обитает; чем дышит, на что собирается? Садитесь-ка вот сюда в уголок, я вот здесь прилягу, на диванчик, а вы вдвоем мне почирикайте.

Термосёсов сам привалился на диван, а около себя посадил обоих *causeur'ов*[25] и оставил их рассказывать.

Введение к рассказу было просто: взявши левой рукой за локоть Данку, а ладонью правой ударивши по ляжке Омнепотенского, Термосёсов сказал:

– Ну как в каждом городе, есть прежде всего городничий...

– Есть, – отвечал Варнава.

– Большая свинья и дурак, – подсказала Данка.

– Я так и думал, – заключил Термосёсов. – Женат?

Божедомы. Николай Семенович Лесков Teskovniko1ai.ru

– Женат, – отвечал Варнава.

– А жена его?

– Дура, – заключила Данка.

– Дурак и дура, значит, целая фигура, – заключил Термосёсов. – Дальше: они бездетны или имеют взрослый приплод?

– Бездетны, – отвечал Варнава, – он возится с лошадьми.

– И с цыганами, – добавила Данка.

– А впрочем, он добрый человек, – вставил Омнепотенский, – он мне мертвого человека подарил.

– Как мертвого человека подарил?

– А для скелета. Мы с Дарьей Николавной его сварили, и у нас есть скелет.

– Вот подлец-то, – воскликнул Термосёсов.

Учитель и Данка посмотрели друг на друга, к кому относилось это восклицание? Термосёсов это заметил и пояснил:

– Я говорю, городничий-то подлец, человека дал сварить.

– Я совсем в этом не участвовала, – отказалась, заворачивая в сторону мордочку, Данка.

Омнепотенский промолчал. Поощренная его молчанием, Данка, указав на него, добавила:

– Это вот он один все, он один и пользуется этим скелетом.

– Молодчина, – воскликнул Термосёсов, – только зачем вы всё это делали? Это ведь больше ничего, как шарлатанство естественными науками, – это теперь давно брошено.

– Я больше для того, чтобы духовенство злить.

– Ну вот! – Стоит их злить? Какие-то вы всё, посмотрю на вас, репы: все бы вам задирать да ссориться. Это все надо вести гораздо проще. Ну, продолжайте: еще кто тут?

– Уездный начальник Дарьянов.

– Дурак, – подсказала Данка.

– И шпион, – ответил самым спокойным тоном Омнепотенский.

Термосёсов после этого слова взглянул на Омнепотенского острым, пронизательным взглядом, каким он с самого приезда сюда не смотрел еще ни одного раза.

– А вы почему это знаете, что он шпион?

– Как почему, он сам сказал.

– Да, – протянул Термосёсов, – сам: – ну это, батюшка... Да, впрочем, при каком же это случае он вам сказал сам?

Омнепотенский передал известный нам разговор его в саду с Валерьяном Николаевичем и Серболовою и заключил:

– Я это выпытал.

– Молодчина, – похвалил Термосёсов, – двух сразу открыл! – и острый взгляд его мгновенно уступил место веселой улыбке.

- Нет-с, не двух, а я их несколько открыл здесь. Тут и Ахилла диакон шпион, – тоже сам проговорился, – и Туберозов.
 - Ай да молодец, сколько он их открыл! – крикнул Термосёсов, хлопнув с насмешкой по плечу Омнепотенского.
 - И это еще не все-с. Почтмейстерша – тоже, она письма распечатывает!
 - Распечатывает!
 - Да-с; это всем известно.
 - Молодая она?
 - Нет, у нее дочки взрослые.
 - Замуж сбывает?
 - Они дуры, – сказала Данка.
- Термосёсов тихо крикнул, как будто в нем, как в каком-то механизме, соскочила какая-то отметка, и продолжал дальше:
- Ну, а еще кроме, кто тут водится? Лекарь, разумеется, есть?
 - Есть, да дурак, – отвечала Данка.
 - Больше лгун, – несмело проговорил Омнепотенский.
 - Как лгун, на кого он лжет?
 - Он все на себя, – отвечал Омнепотенский. – Вот еще недавно... он физиологии не знает и говорил, будто один человек выпил вместо водки керосину, и у него живот светился насквозь. Ну разве может живот светиться?
 - Ну а из дам, что у вас попригоднее?
 - У нас всё франтихи, – отвечал Омнепотенский. – Ни одна ничем не занимается, кроме Дарьи Николавны.
 - А ты молодец, что не обчекрыжила волосенок, – заметил Термосёсов Данке, – в Петербурге это брошено, но у вас в губернском городе пропасть я видел. Не знают, дуручки, что нынче ночные бабочки этак нигилисточками ходят. Ты не делай этого!
- Омнепотенский был немало сконфужен этим переходом Термосёсова с Данкою на “ты” и со скромностию, стремящеюся закрыть чужую ошибку, заговорил:
- Есть здесь Меланья Ивановна Дарьянова, Валериана Николаевича жена, она, впрочем, только очень хороша собой.
 - Да у вас вкус-то хорош ли? – спросил Термосёсов.
 - Это все говорят.
 - Любит, чтобы за ней ухаживали?
 - О, еще бы, – отвечала с презрением Данка, – в том все ведь и заботы.
 - любит?
 - Страшно.
 - А мужа любит?
 - я ее об этом не спрашивала, – сказала Данка.
 - Не спрашивала! А ты как думаешь, если я за ней вздумаю поухаживать? Ты мне

поможешь?

Данка почувствовала, что она с величайшим удовольствием плюнула бы в лицо своему просветителю, но – удержалась. Омнепотенский же глядел то на Бизюкину, то на Термосёсова, как остолбенелая коноплянка, и в матовых голубых глазах его светились и изумление, и тихий, несмелый упрек Данке.

Термосёсов же, получив определение всего общества, в котором ему предстояло ориентироваться, немедленно прервал столбняк Омнепотенского, сказавши ему:

– Ну, а расскажите же мне теперь, из-за чего же вы тут воюете и как вы воюете? – и получил от Омнепотенского подробное описание его ссор, побед и поражений. Термосёсов потерел и помял в пальцах свой нос и сказал:

– Да; так вот он каков, этот Туберкулов!

– И представьте, у него такое твердое положение, что я вот вам еще расскажу, что было третьего дня вечером и сегодня. – И Варнава рассказал свою историю с Данилкой и потом историю Данилки с Ахиллой и добавил:

– Вот извольте видеть, ничего нельзя сделать. Сегодня же они опять все за Туберозова. Я сейчас шел к Дарье Николавне мимо мещанской биржи, это у нас так называется место, где мещане на берегу валяются, – так они меня просто чуть не съели. Вы, говорят, Варнава Васильевич, нас всегда так. Ребят, говорят, наших в училище смущаете, их за это порют, а теперь Данилу до такого сраму довели... Ну и начинай опять все наизново.

– Все наизново, брат, все наизново, – сказал Термосёсов. – А оттого-то у нас так ничего и не выходит, что преемственности нет, а всё как в Кайдановской истории: каждый царь царствует скверно; наследник воцаряется мудрецом и исправляет ошибки, а сам опять все поведет еще хуже, и так все до последнего. Но пора все это взаимное исправление бросить. У тебя, Дана, есть дети?

– Есть, – отвечал за нее Омнепотенский.

– Мальчуганы или девчурки?

– Два мальчика, две девочки, – отвечал Омнепотенский.

– Эк ты плодovitая какая! Гляди, воспитывай просто, без Песталоцци и всех этих педагогических авторитетов: пороть да приговаривать: служи, каналья, служи да выслуживайся. Пока еще вся премудрость в этом.

– Но девочкам еще негде и служить, – заметил Омнепотенский.

– Да, ну чего нет, про то и не говорим, а кто может, те все должны.

– Только позвольте ж, – с неизменным почтением и робостью заговорил Омнепотенский, – что же... служить разумеется... это понятно, но ведь чем же от этого дело подвинется?

– А вот оно как подвинется. Ты сколько лет воевал с этим своим Туберкуловым: много? А что взял? – ничего.

– Потому что невозможно.

– Нет, потому что уменя да власти не было, а я тебе скажу, что возможно.

– Нет-с; невозможно.

– Фу ты черт возьми, вы меня просто разохочиваете пойти на эту вашу менажерю. Где бы это мне поскорее посмотреть на них в сборе, в настоящем параде?

– Нынче к этому есть отличный случай, только нельзя им воспользоваться, – сказала Данка.

– А какой это случай? – осведомился Термосёсов.

- Рождение нынче нашей городничихи.
- Ну.
- Там все будут.
- И туберкулов?
- Непременно.
- Там будут и Плодомасов, и Туганов, – вмешался Омнепотенский.
- А это что за гуси?
- Туганов – предводитель с огромным влиянием на дворянство и ссорится с губернатором.
- С губернатором! – воскликнул Термосёсов.
- Да-с, с здешним губернатором, – отвечал Варнава.
- А... – протянул Термосёсов. – Ну так что ж, пойдем туда?

Данка была в затруднении и после многих колебаний выразила, что она решительно не знает, как ввести на сегодняшнее вечернее собрание Порохонцевой незнакомого и только что прибывшего человека и еще, если бы это был сам судья Борноволоков... Ну и так и сяк; почтенная должность, да и новинка, а то письмоводитель!.. Положим, что этот письмоводитель, конечно, гораздо важнее всякого судьи, по крайней мере, он таким представлялся Данке. Но непросвещенная чернь уездная поймет ли это и оценит ли?

Термосёсов с делаящею ему честь прозорливостью понял затруднение своей хозяйки и сказал ей:

- Ты, пожалуйста, не стесняйся, я эти правила игры-то сам знаю, что так неловко. А ты напиши ей, что к тебе приехали гости. Что судья нездоров с дороги и хочет покоя, а я скучаю, что ты, как любезная хозяйка, бросить меня одного не можешь и потому не можешь прийти. Увидишь, что часу не пройдет, как получишь ответ, что и тебя зовут и меня вместе с тобою. Вот и будет и ловко! Садись пиши.

Данка встала и беспрекословно исполнила его просьбу, а через полчаса, проведенные Термосёсовым в дальнейшем продолжении экзамена его новых учеников, Ермошка явился с письмом от Порохонцевой, которая, как будто по приказу Термосёсова, действительно приглашала Дарью Николавну пожаловать к ней вечером вместе с ее новым гостем, г. Термосёсовым.

- А что? – воскликнул Термосёсов, когда ему прочитали записку. – Эх вы! А еще всё понимать хотите? Вас надо учить и золою золить, и бэчить, и мэчить, да как придет время вас из бука вынимать, так вот тогда вы станете что-нибудь понимать.

- С этим он решительно встал и, направляясь к выходу из комнаты, сказал Данке:

- А ну вели-ка давать обедать, а то недалеко уж и до вечера.

За обедом не произошло ничего замечательного: судья пришел молча, ел молча и молча ушел; Термосёсов поучал и замолк, Омнепотенский жаловался. Так все и кончилось, а после запоздавшего обеда тотчас настало время идти к Порохонцевым.

XII

Обед Данки так запоздал, что сама Бизюкина едва успела принарядиться для порохонцевского вечера. Она и два ее кавалера – Термосёсов и Варнава – вышли втроем ровно в восемь часов вечера. Бизюкин еще не возвратился домой, а судья Борноволоков, в маленьком пиджаке и серых гарибальдийских шароварах с синими лампасами, остался один в своей комнате и тотчас по уходе Термосёсова сел писать письма.

В группе, отправившейся на вечер к Порохонцевой, предводителем была не Бизюкина и уж, конечно, никак не Омнепотенский. Вел этих людей Термосёсов. Он был теперь довольно опрятно одет, гладко причесан, имел на голове синюю полувоенную кепку и

Божедомы. Николай Семенович Лесков teskovniko1ai.ru
шел бодро, важно, держа правой рукой за руку Данку, а левой Омнепотенского, и говорил:

– Смотрите же, весть себя по-умному, а не по-глупому, как можно умнее и только не портите мне, а я уж вам покажу, как надо делать. Там, стало быть, будут все те, о которых я слышал.

– Все, кроме комиссара Данилки, – отвечал Омнепотенский.

– И тот будет, он всегда у них на посылках, – поправила Данка.

– Ну вот и прекрасно: ориентируемся, осмотримся и

Ура на трех ударим разом,
Недаром же трехгранный штык
Ура оттянет за Кавказом,
Ура смирится пашалык.

Перед лихой тройкой этой дорога мало-помалу исчезала, и наконец во всем мирном великолепии тихого летнего вечера выплыл перед ними неизящный казарменный дом старгородского городничего. Двери парадного подъезда дома, обыкновенно запертые, были теперь отворены настежь, и из окон второго этажа неся веселый говор множества гостей; кто-то пел куплеты, и чьи-то головки и головы поминутно выглядывали из окон и свешивались вниз за подоконник. В городническом доме ждали петербургского гостя, и он вступил сюда невозмутимо и спокойно, втроем с надеждою на трех ударить разом и с хладнокровием, которое не позволяло заподозрить в нем никаких коварных намерений.

Но как бы там ни было, наконец они сейчас встречаются: многоумный Савелий, вольтеррианец Туганов, непомерный Ахилла и против них он, который и столь мал и столь велик; он, чье имя Термосёсов.

Но прежде чем описывать их встречу, вернемся на минуту ко всеми оставленному судье.

XIII

Лишь только Термосёсов с Данкою и Омнепотенским скрылись из виду, как сонный и развинченный судья Борноволоков внезапно оживился. Выйдя в залу, он заглянул в гостиную, в коридор, в спальню Данки, даже в переднюю, где помещался Ермошка, и, убедившись, что ни в одной из этих комнат никого нет, присел к окну и зажег папиросу. Он курил эту папиросу неспеша и, по-видимому, с большим наслаждением: он ее не тянул, а муслил, муслил долго и даже опять как будто начал засыпать, но вдруг неожиданно вскочил, бегом пробежал в кабинет, вынул из чемодана складной бювар и, достав из него лист почтовой бумаги, начал быстро и с одушевлением строчить следующее письмо:

“Позавчера, перед самым выездом моим из губернского города к месту назначения, где я должен буду судить миру, я получил ваше письмо, Алла Николаевна. Конечно, вы можете не сомневаться ни в чем, в чем положено одному в другом не сомневаться. Брат мой у губернатора и нынче в той же силе, что было, – такой же он и службист, и богомол, и постник, ядущий единые акриды. К участию в обществах благотворения и к устройству их у него охота та же самая. Организация в их обществах еще слепая, но в одно, которым заведует брат, именно в “Общество обремененных”, мне удалось ввести через него кое-что из порядков петербургского общества “Непокрытых”; но надо смотреть и быть очень осторожным. Я попал сюда вовремя и как бы нарочно к случаю: месяц, что я, выехав из Петербурга, прожил в своем губернном городе у брата, я перезнакомился со многими из властных лиц и открыл один очень опасный союз. Не могу, впрочем, сказать, как велико это общество, но оно чрезвычайно опасно. Группируется это здесь престранно.. около одного заведенского попа, человека не без образования, но крайне вредного. Он прежде был ревностный участник всех сборов и обществ, но с год тому вдруг отстал и написал книжку “Суть дела”. Здесь он представляет деятельность общества, не достигающего целей и даже профанирующего их, и между прочим в одном месте прямо написал, что “эти общества, сами себе требующие пособия, суть современная меледа и выдуманы как бы для того, чтобы отвлекать добрых и благородных людей русских от помышления серьезного о нестерпимых нуждах страны. Все это, – продолжает он, – представляет комедиантским отведением глаз от настоящего дела, с целью направить внимание и благороднейшие порывы вникающих в общественные нужды людей на бесплодную вздорность. А кому это нужно?” И тут, не отвечая на свой вопрос

прямо, делает, однако, вот какую вылазку (чего ни за что не вообразите даже) – делает прямой намек на нас. “Слыхали, – говорит, – мы, что два петербургские общества на собираемые посредством лотерей русские деньги оказывают вспоможение общей революции и полякам”. Здешний цензор, как только поступила к нему эта рукопись, доставил ее к брату моему, а этот, – христианнейшие чувства и гордость которого возмущались приведенной оценкою членов благотворительных обществ, и сочинение это запрещено. Цензора этого фамилия Баллаш – не граф, а просто Баллаш. Он не богат, и ему хочется получить хоть небольшую аренду и попасть в Польшу. Устройте, пожалуйста, через вашего благоверного старца и то и другое. Это вам не будет стоить никакого труда, а цензор нам постоянно пригодится. За патриотами надо смотреть в оба; а следовательно, надо и беречь, и ласкать тех, кто поставлен для этого присмотра. Пожалуйста, прошу вас, поощрите этого цензора Баллаша. Чинов ему не надо: чины и звания у него есть, а денег, денег ему нужно, и пусть ваш старик откуда хочет откопает их: ему нет ничего невозможного, кроме невозможности вас не слушаться. И кроме того и другая просьба, которую он тоже исполнит, если вы его хорошенько проберёте и не дадите ему целовать себя, пока все сделает. Дело вот в чем: здесь Термосёсов! Довольно этого или нет? Ну, так слушайте: он здесь, он при мне, и мне нет никакого средства сбыть его. Сей бесценный ваш секретарь и делопроизводитель ваших обществ после открытия недочета в лондонской кассе странствовал всюду; обобрал Соньку Торгальскую, которая ему попала в руки в Петербурге, и, бросив её, теперь взялся за меня во имя ваше. Дело вот какое: он вынудил меня взять его к себе в письмоводители. Я ему давал денег, чтобы он ехал назад в Петербург, но он ни за что не хочет больше литераторствовать и говорит то же, что и все: “служить и служить”. Вы всё были рады отдать, чтобы освободиться от Термосёсова, – то же самое и я, но я принишу жертву, и он у меня теперь. Сбыть его и провести невозможно: он умен и практичен как черт, и в две недели, что он со мною, я уже забыл, что я человек, и чувствую себя щенком, прикованным к медведю. Он и служит делу, и смеется над ним, и даже угрожает ему: одним словом, я не знаю, кто он? Когда я сказал ему о воровстве из нашей лондонской кассы, он слушал, ничего не смущаясь, и вдруг распахнул окно на площадь и как можно громче зашел:

“Господа!

Все сюда!

Я все тайны знаю”.

Народ сунулся, а он спрашивает меня: не шепнуть ли им, что общество “Радушье” с своих лотерей деньги полякам отдает? Я обомлел; но он спросил: или, говорит, черт с ними, – скоро на место поедем? Я отвечал – да, и тогда он, показав людям язык, окошко захлопнул. Надо знать, что это не Петербург и что, закричи он здесь на базаре из окошка, – тут городские не спасут. Прошу вас: устройте Термосёсова как можно скорее на службу. Он мещанин и не имеет прав служить, но ваш муж все может. Вы этим и старца своего сбережете, потому что ему неловко быть замешанным с нами, а узнав про вас, и его не похвалят. Между же тем Термосёсов на службе ни себя, ни вашего превосходительства не уронит. Термосёсов рожден для службы и ко мне так неотступно почтителен, что я в две недели, что он со мною, едва выбрал эту единственную минуту, чтобы сообщить вам свое несчастье и просить его скорее спрятать. Термосёсова отлично приставить, например, к тому, кого нужно доехать, и он даже будет очень полезен... Я, оставаясь с ним в одной комнате, только лежу с закрытыми глазами, а не сплю, – он, если нужно ему, зарежет. Спасайте от этого асмодея и себя и вашего Борноволокова”.

Судья сложил письмецо, положил его в конверт, запечатал и надписал: “Ее превосходительству Лалле Петровне Коровкевич-Базилевич. С-Петербург”. Обозначив улицу и номер дома, судья налепил марочку, положил письмецо в карманчик, взял свой аглицкий шлычок, осторожно сошел с крыльца и вышел на улицу. У первого встречного мужика, который ему попался на углу, он спросил:

– Где здесь почта?

– Что-о? – спросил его с удивлением мужик.

– Почта где, почта, я вас спрашиваю про почта?

– Не разумею, про что говоришь, – порешил мужик и пошел прочь.

Божедомы. Николай Семенович Лесков Teskovniko1ai.ru
Борноволоков отнесся к проходившей мещанке. Та со всею предупредительностью утомленной молчанием гражданки указала, куда и как надо идти, чтоб отыскать почту.

– На почту, – поясняла она, – почту, милостивый государь, потому у нас прозывается почта, а не почтан.

Борноволоков поблагодарил.

Почта была отыскана, но это черт знает, что за почта. Где же здесь ящик? Вывеска есть, что это почтовая контора, а ни подъезда нет, ни ящика не видно. Борноволоков подошел к воротам. Двор пустой, обширный, заросший травой, а вот он и подъезд: высокое, высокое дощатое крыльцо с серым тесовым навесом. На этом крыльце вон он и ящик. Борноволоков качнул головою и подумал: “необыкновенно, как это удобно”.

Он сделал несколько шагов на двор и остановился: он увидел, что на крыльце у ящика лежала огромная черная собака, которую сосали шесть разношерстных щенков.

– Экий порядок, – подумал Борноволоков, испугавшись собаки, и уже хотел потихоньку возвратиться назад, но, обернувшись, увидел, что на него наступает сзади рослая белоголовая корова.

– Это черт знает что такое! Эта откуда взялась?

За воротами ли она стояла, или взшла с улицы, но, очевидно, она была очень заинтересована Борноволоковым и прямехонько шла на него, качая в такт каждому своему шагу белую голову и глупо светя своим бессмысленным взглядом. Шаг один, еще – и она забодает.

Борноволоков знал, что коровы бодаются, но почтмейстерская корова его не ударила: она только сдернула с него за ленту его шотландскую шапочку и стала со вкусом ее пережевывать.

Положение Борноволокова было самое затруднительное: у него, как говорится, впереди была оплеуха, а сзади тычок: тут пес, там корова. Из этого положения вывело его появление на дворе придурковатой бабы, почтмейстерской коровницы.

– Матушка! – закричал ей Борноволоков. – Подите сюда, подите!

– Вы чего? – не спеша запытала баба.

– Вот письмо мне нужно в ящик, – отвечал Борноволоков.

– Кладите, это можно, можно, – разрешила баба.

– Да я... собаки боюсь.

– А!.. Наша собака ничего... она не на всякого...

– Все-таки возьмите, пожалуйста, письмо, и вот моя шапка... видите? – Он печально указал на корову, которая уже смяла во рту всю его шотландку.

– Ах ты, жевака этакая подлая! Тпружи, подлячка, тпружи! – закричала она на корову, вырвала у нее изжеванный колпачок и, подав Борноволокову, проговорила:

– Эт-та такая тварь: все сжует; кого достанет. Намнясь у пьяного казака на шапке весь <1 нрзб > кант съела, да ведь что ж ты с ней <1нрзб > делать... а собака ничего... Она редко кого кусает.

– Ну а как она меня-то именно и укусит? – сказал, гневлясь и разбирая остатки своего колпачка, Борноволоков.

– Нет, она только кто ей не понравится; а вы ее так по имени: Белка, мол, Белка! Белка! Да хлеба, – она и ничего.

Судья нерешительным шагом подошел к ящику, опустил письмо и, сбегав назад с почтового двора, и плюнул, и проговорил:

– Вот это называется полагаемся на здравый смысл нашего народа!.. Скажите, пожалуйста: заехав сюда в эти трущобы, извольте осведомляться, как какую собаку зовут, да еще заботиться о том, чтобы ей понравиться! Вот тебе и “проще, говорят, жизнь в провинции”. Как раз проще! В Петербурге я... да что ж: я самого Коровкевича-Базилевича не знаю, как зовут, да и знать не хочу, а... Да, впрочем, и очень рад и очень хорошо еще, что я этой собаке понравился, а то мне бы не скрыть своего письма от Термосёсова. Я буду впредь носить с собой в кармане булку для этой Белки и уж добьюсь до того, что совсем ей понравлюсь. Это необходимо.

Судья вернулся в пустой дом Бизюкина в то самое время, когда Термосёсов с Варнавой и Данкою входили с торжественностью в апартаменты городничего Порохонцева.

Часть четвертая
Сеятели и деятели

I

Прежде чем Термосёсов и компания пришли к Порохонцевым, Туберозов уже более часу провел в уединенной беседе с Тугановым. Они сидели двое в небольшом кабинетце хозяина и переговаривали обо всем, но результаты этой беседы, по-видимому, не приносили протопопу давножданного утешения.

Туберозов жаловался Туганову на то самое, на что он жаловался уже читателям в своем дневнике, напечатанном в первой части этого романа, а Туганов сам был расстроен досадами, вытекавшими из того же источника, но понимал дело иначе, чем Туберозов, и потому слушал его неохотно.

– Я, – говорил Туберозов, – ждал тебя, друг мой, страшно и даже до немощи. Представь себе: постоянно оскорбляемый, раздражаемый и расстроенный, я столь расвирипел, что каждую малую глупость нынче услышу и дрожу от ярости и трепещу от страха, дабы еще при одной таковой – не вырвался из своей терпимости и не пошел катать всех их, каналов, как они заслуживают.

– Ну вот, стоит с кем связываться! – отвечал Туганов.

– Друг! – заговорил, взявши за руку Туганова, Савелий, причем голос его принял то тихое осторожное выражение, которым честная женщина решается иногда высказать нанесенное ей кровное оскорбление. Это тон, в котором слышится: “пусть слышат и пусть не слышат”. – Ты говоришь “не стоит”. Согласен с тобою и не обижаюсь, но знаешь, знаешь... если тебя... каждый день... как собачонку... узы, узы, кусай...

Старик не удержал слезы и, вздохнув судорожно полной грудью, заговорил громче:

– Этак ведь, друг мой, семьдесят лет прожил и все думал, что увижу что-нибудь лучшее, и что же вижу? Сознаюсь, и откровенно сознаюсь, что много вижу лучшего, но... не для меня! То есть извини, пожалуйста; я не так выразился: не то что не для меня, а не для того, что мне всего дороже: не для освобождения и возвышения духа. Оковы рабства пали, а дух убитый не встает, а совесть рабствует. Скажи, пожалуйста: какое это такое наше время, когда честный человек только рот разинет, ему в самый же рот и норовят плюнуть, а смутьяны всякие как павлины гуляют и горгочат, и всему этому якобы так быть надлежит?

– Комическое время, – отвечал Туганов, поворачивая в руках круглую золотую табакерку.

– Школы, школы стране нет! – заговорил вдруг, весь оживившись, Туберозов.

– А ты тургеневский “дым” читал? – неожиданно перебил его Туганов.

– Читал.

– Что ж? Как?

– Что ж? да все правда.

– Да я думаю, что правда. Эко генералы-то, какая прелесть! Его там теперь, как приедет, принимать не будут... Я про Тургенева говорю.

- Да, – отвечал, не слушая, Туберозов.
- И ничего, таки ровно ничего в сокровищницу цивилизации и знаний нашей рукой не положено.
- Ну... государственный смысл... здравый смысл народа...
- Это, брат, не для мира, а для себя, да и то не заработано, а пожаловано.
- Да и школы нет! Нешколенный медведь только ломит, – ответил Туберозов.
- Да ведь тот же Тургенев тоже отлично сказал, что “русский человек и Бога слопаёт”, – он его и слопает.
- Ну... Русь не безумна: один безумный говорит: “несть Бог”.
- Да, да, Соломон-то, брат, жил поужнее нас с тобой. – Туберозов посмотрел на Туганова и спросил в некотором смущении и сказал:
- Это к чему же, позволь спросить?
- А к тому, что вера-то... нежная очень вещь...не по климату она нам, оттого и плодов ее нет.
- Пармен Семеныч, это слово жестоко!
- Да что же, душа моя, делать: я ведь это и не в раздражение и не в упрек никому! Ты смотри, у южных народов, у итальянцев или испанцев, – фантазия богатая и веры много; а у северных народов скудно на то и на другое, они и реальнее и меньше верят.
- Но тогда все-таки, если это уж так, то зачем же одной рукою креститься, а другою черту поцалуй посылать... – сказал обиженный Туберозов.
- Тоже реализм: “Богу служи и черта не гневи”. Я с детства помню, когда народ жарче молится? Когда говорят “о великой и богатой милости”. Хлеб, тулупы, да теплые избы на уме у него.
- Ты забываешь про раскол: его душили и жали за веру; а они ведь русские тоже.
- Да что ж раскол? Раскол упрямство, а вот перейдет он через ваши руки и тоже реалистничать начнет.
- Ну если вы всё это так признаёте, зачем же хитрить? На что шарлатанить? Этот же твой “просо-хлеб” объезжает губернию, сам в соборы заходит да благословения принимает, а тут же Варнавок признаёт необходимыми на свете.
- Эти Варнавки, это их европеизм, это он их всё донимает. Европейцами хочется, чтобы их звали.
- А я думаю, – это просто... измена.
- А я думаю, – еще гораздо проще: это глупость.
- Во-от!
- Да, конечно. Из-за чего кто станет изменять? Вздор! Выгод им нет изменять, а так это вот на европеизм они уловлены, а не понимают, что этот европеизм для нас сегодня и вред, и глупость.
- Вот, вот, вот! и я тебе скажу, Пармен Семенович, что мне приходит в голову... что я себе решил, что против этого пора и ополчиться.
- И что же ты сделаешь, как ополчишься? – спросил Туганов.
- Да что, брат, сделаю? Конечно, я далеко стою в углу из которого меня нигде не видно; но ведь не умрешь, так и не оживешь, – один пропадает, является другой на

Божедомы. Николай Семенович Лесков Teskovniko1ai.ru
его место, – вот где надежда!

- Да, да, да! Вот тебя куда потянуло: пострадать захотелось?
 - Порадеть душа жаждет.
 - Ты, отец Савелий, маньяк.
 - Ну еще что измысли!
 - Да, конечно, маньяк. Ты цел сидишь, так тебе хочется, чтобы тебя стерли.
 - Пускай меня сотрут, – что за беда такая?
 - Да и сотрут, – сказал Туганов.
 - Да и что же, братец, во мне: я уж и стар, и хил... жены, конечно, жалко.
 - Подожди лучше покуда, – сказал Туганов.
 - Нельзя, дружище: в народе шатость большая.
 - Оставь эти тревоги! у народа в сборе страшный умище, а что хаос велик, – ну, – из хаоса свет создан. Береги себя: шверноты <?> своих берегут, и нам друг другом не надо транжирить. Дьявол хочет сеять нас как пшеницу, и поодиночке, брат, и рассеет, а ты держись своего и надейся, на что царь надеялся, свободу подписывая. Понадеемся на смысл народа. Погоди, он сам в премудрой тишине идет к хозяйству над собою. Его amis du peuple, [26] эти первые сметили и ударились к тем, для которых в просе виноград возят. Они будут чиновалить да подслуживаться, а земский ум складываться да крепнуть, да тогда и посмотрим кто кого. Дай срок и не торопись теперь под их суд попадать, – не поцеремонятся они.
 - Не согласен, – сказал протопоп. – Правда кривде сроку давать не обязана.
 - Ну свернут твоей правде голову.
 - Мне разве, – сказал Савелий, – а не правде. Я в то верую, что правда запечатленная святее выжидающей и крепче.
 - Да тебе что, неотразимо уж хочется пострадать?
 - Я порадеть желаю.
 - Да как же ты будешь радетьствовать? Что ты, собственно, хочешь делать?
 - Не посердись, брат, я еще пока все это содержу в секрете... Так, не то что не хочу сказать тебе, не то что суеверие, а так... привык я... что если одобрения не предвижу, то боюсь отговора и люблю все про себя содержать, пока сделаю. Одно скажу: хочу порадеть, как присягал и как долг мой предписывает мне.
 - Ну что ж, не я же стану тебя отговаривать долг свой исполнять! Порадей! – отвечал Туганов. – А теперь, – продолжал он, поднимаясь, – будет нам с тобой здесь секретничать как с акушеркой. Пойдем к хозяевам, я долго ведь не посижу, часок, не более, да и в дорогу. Эх! – крикнул он, – обломал мне этот Петербург бока: мычься, мычься по всем, да выслушивай, что сам сто раз лучше их знаешь, и возвращайся опять домой, с одним открытием, что “просо-хлеб”... Надоело уж, брат. Кажется, рассержусь, брошу все и не стану служить.
 - Нет, ты послужи, – отвечал, поднимаясь вслед за ним, Туберозов. Ответ этот он произнес грустно и пошел за Тугановым бодрясь, но чрезвычайно обескураженный.
- Ему было досадно: он совсем не того ждал от Туганова. Болезненно настроенный всеми так долго раздражавшими его мелочами, он жаждал уяснения себе своих недоразумений от Туганова, и все это разрешилось приведенным нами разговором... разговором, который хотя прямо не оскорблял Савелия, но из которого все-таки выходило, что заботы его и беспокойства не что иное, как нетерпеливая суета и сам он маньяк.

Божедомы. Николай Семенович Лесков Teskovniko1ai.ru

В таком состоянии духа Туберозов об руку с Тугановым вышел из своего уединения и предстал гостям Порохонцевой.

II

Термосёсов с Варнавой и Данкой пришли к Порохонцевой в то время, когда Туганов с Туберозовым сидели в маленькой гостиной.

В это время гости располагались в доме Порохонцевой следующим образом: несколько уездных учителей, барышни, лекарь и еще кое-кто по мелочи расхаживали в зале, присаживались, приподнимались, пробовали петь, пробовали играть. Лекарь, по обыкновению, лгал: нынче он рассказывал, как, еще будучи студентом, вылечил одной генеральше зубы. Разговор этот шел по поводу жалобы одной из дам на зубную боль и по поводу выраженного сомнения в том, что зубная боль может быть когда-нибудь излечена, “пока сама пройдет”. Лекарь с этим не соглашался.

– Это пустяки, – говорил лекарь, – я в одну минуту могу вылечить и очень многих в Москве в одну минуту и излечивал. Были такие больные, что уж ко всем ездили. Черт знает, каких профессоров не перепробовали: и Захарьина, и Иноземцева и всех, всех до последнего, – а потом – ко мне – я и вылечу... Я такой рецепт знаю, – одну каплю капну и сейчас пройдет.

Какой-то скептик догадался заметить, что ведь и профессора тоже, вероятно, могут знать этот рецепт.

– Ну нет, – я его в старых книгах нашел, – отвечал лекарь.

– Симпатия, верно? – спросила почтмейстерша, одиноко сидевшая у двери, которая вела из зала в гостиную, откуда чрезвычайно удобно было одним ухом слушать разговор, который вели в зале, а другим разговор, который вели в гостиной.

– Нет. Это скорей для многих антипатия, а не симпатия, – отвечал, весело замотав русской головою, легкомысленный лекарь. – Это капли, но если их Захарьину или Иноземцеву в руки дать, они с ними тоже ничего не сделают.

– Отчего же так? – позволили себе усумниться несколько голосов.

– Да так. Если нижний зуб болит, так может лечить и Иноземцев, и Захарьин, а верхний они не могут.

– Отчего же они верхнего не вылечат? – спросила сама больная.

– А потому что это надо осторожно. Надо капнуть, а если капля с зуба сольется – смерть. А Захарьин, спросите его, разве он знает, как на верхний зуб капнуть?

– А вы знаете? – полюбопытствовала дама.

– Разумеется, знаю. За что ж бы мне и диплом дали, ежели б я ничего не знал? Мне в Москве одна генеральша говорит: “Можете мне на верхний капнуть?” Я говорю: “Могу. А вы, – спрашиваю, – можете меня слушаться?” – “Батюшка! – говорит, – что хотите, на все согласна”. Я взял ее за ноги, в углу кверху ногами поставил и капнул, и стала здорова сейчас.

Некоторые дамы были этим скандализированы, другие просто смеялись, третьи сказали: “Фуй, как это можно!”

– Да вы чего это кричите: “Как это можно!” Я знаю уж, как это делать: я ей платье платком обвязал возле ног.

– Да ну этак, конечно, ничего, – отозвалась со своего наблюдательного поста почтмейстерша.

В это время и вошли в залу: Термосёсов, Бизюкина и Варнава Омнепотенский. Хозяйка случайно встретила их у самого порога и тем вывела Данку из затруднения: как репрезентовать обществу Термосёсова.

Данку теперь занимала другая забота: как поведут себя Омнепотенский и Термосёсов перед Тугановым, перед которым сама Данка, зная его силу и власть, страшно робела.

Между тем Порохонцева, пожав руку Данке, приветливо протянула другую свою руку Термосёсову и сказала:

– Сердечно вам благодарна, что вы не поцеремонились и пришли по приглашению Дарьи Николаевны, а вам, Дарья Николаевна, бесконечно благодарна, что вы дружески привели к нам нашего нового согражданина.

Данку удивило, что Термосёсов в ответ на это поклонился очень низко, улыбнулся очень приветливо и даже щелкнул каблуками с совершенной ловкостью военного человека. Если б в эту минуту заглянуть в глубину данкиной души, то мы увидели бы, что Бизюкина гораздо более одобряла достойное поведение Омнепотенского, который держал себя, следуя своей рутине: стоял, не кланялся, будто проглотил аршин, и едва мыкнул что-то в ответ на сказанное ему приветствие.

Случайно ли, или в силу соображения, что вновь пришедшие гости – люди более серьезные, которым неприлично хохотать с барышнями и слушать лекарские рассказы, – Ольга Арсентьевна провела Термосёсова и Омнепотенского прямо в ту маленькую гостиную, где помещались: Туганов, Плодомасов, Дарьянов, Савелий, Захария и Ахилла.

Бизюкина могла ориентироваться, где ей угодно, но у нее не достало смелости проникнуть в гостиную вслед за своими кавалерами, а якшаться с дамами она не желала и ограничилась тем, что села у другой притолоки той самой двери, у которой помещалась почтмейстерша. Сидя у притолоки, эти две дамы представляли нечто вроде двух полусидячих львов, каких древле ставили в Москве на парадных подъездах.

– Хотите подслушать? – сказала Данке с улыбкою почтмейстерша. – Здесь все слышно, о чем они там говорят, а ваше место еще лучше моего, – я здесь нарочно присела, чтобы меня не было видно, а вы смотрите, навскось, – видно.

Чтоб отделаться от почтмейстерши, Данка стала смотреть. Гостиная была узенькая комнатка, в конце ее стоял диван с преддиванным столом, за которым помещались: Туганов и Туберозов, а вокруг на стульях – смиренный Бенефисов, Дарьянов и уездный предводитель Плодомасов. Ахилла не садился, а стоял сзади за пустым креслом и держался рукою за резьбу, украшавшую его спинку.

Данка видела, как Термосёсов, войдя в гостиную, наипочтительнейше раскланялся и... чего, вероятно, никто не мог бы себе представить, – вдруг подошел к Туберозову и попросил у него благословения.

Больше всех этим был удивлен, конечно, сам Савелий: он даже не сразу нашелся, как поступить, и дал требуемое Термосёсовым благословение с видимым замешательством. А когда же Термосёсов хотел поцеловать его руку, он совсем смутился и, опустив одним сильным движением свою и термосёсовскую руку книзу, крепко сжал здесь внизу эту предательскую руку как руку наилучшего друга.

Так же Термосёсов пожелал получить благословение и от Захарии. Смиренный Бенефисов благословил негилиста ничтоже сумняся и, сам ничтоже сумняся, ткнул ему прямо к губе свою желтую ручку.

Термосёсов направился за благословением и к Ахилле, но этот, шаркнув ногой, сказал, что он дьякон. Они оба с Термосёсовым одновременно друг другу поклонились и пожали взаимно друг другу руки.

Ахилла предложил Термосёсову сесть на то кресло, за которым стоял: но Термосёсов очень вежливо отклонил это и поместился на ближайшем стуле возле отца Захарии.

Омнепотенский же, верный законам рутинной школы своей, отошел от этого кружка как можно подальше и сел напротив отворенной двери в залу.

Таким выбором места он, во-первых, показывал, что он не желает иметь общения с этим миром, а во-вторых, он видел отсюда Данку и она могла видеть его и слышать, что он скажет, а он собирался никому ничего не спустить и задать кое-кому добрую трепку.

Вступление Термосёсова с Омнепотенским в эту комнату и благословения, которые

Божедомы. Николай Семенович Лесков teskovniko1ai.ru
первый из них принимал от священников, – взяло относительно очень немного времени, и прерванный прибытием их разговор продолжался снова.

Рассказывал что-то Туганов, и при входе новых гостей хотя не переменял темы своего разговора, но, очевидно, старался балагурить, избегая всякого так называемого тенденциозного разговора, способного возбуждать страсти и раздражать их.

III

– Да, – говорил он, – так мы и побеседовали вчера на прощанье с вашим владыкой.

– Не бедного ума человек, – вставил довольно равнодушно свое замечание Туберозов.

– И юморист большой. Там у нас есть цензор Баллаш – препустейший старикашка, шпион и литератор. Узнал он, что у вашего архиерея никогда никто не обедал, и пошел пари в клубе, что он пообедает. Старик узнал об этом как-то. Баллаш приехал к нему и сидит, и сидит, а тот ничего. Наконец в седьмом часу не выдержал Баллаш, – прощается. Архиерей его удерживает: “откушаемте”, – говорит. Ну, у того уж и ушки на макушке: выиграл. Еще часок его продержал, а там и ведет к столу. Стал перед иконой да и зачитал, – читает, да и читает молитву за молитвой. Опять час прошел. “Ну, теперь подавайте”, – говорит. Подали две мелких тарелочки горохового супцу с деревянными ложечками, да и опять встает: “Возблагодаримте, – говорит, – теперь Господа Бога по трапезе”. Да уж в этот раз, как стал читать, так цензор не дождался, да и драла. Рассказывает мне это вчера и тихо смеется. “Ничего больше, – говорит, – не остается, как отчитываться от них”.

– Он и остроумен и нрава веселого и живого, – опять сказал Туберозов, словно его тяготили эти анекдотические разговоры.

– Да; но тоже жалуется, как и ты: все скорбит, что людей нет: “я, говорит, плыву по обуревающей пучине на расшатанном корабле с пьяными матросами. Помилуй Бог, на сей час бури хорошей: не одолеешь бороться”.

– Слово горькое, но правдивое, – отвечал Туберозов, взглядывая исподлобья на Термосёсова.

Термосёсов был весь слух и внимание.

– Да, впрочем, и у него нашлись исключения, – продолжал Туганов. – Про ваш город заговорили, он говорит: “там у меня крепко: там у меня есть два попа: один – поп мудрый, другой поп благочестивый”.

– Мудрый – это отец Савелий, – отозвался Захария.

– Что такое? – переспросил, не вслушавшись, Туганов.

– Мудрый, что сказали владыко: это отец Савелий.

– Почему же вы уверены, что это непременно отец Савелий?

– Потому что... – начал было Бенефисов и тотчас же сконфузился, потупил голову и замолчал.

– Отец Захария по второму разряду, – отвечал вместо его дьякон Ахилла.

Туберозов укоризненно покачал Ахилле голову.

– Благочестно; – заговорил, смущенно глядя себе в колена, Захария, – они приемлют в том смысле... Не к благочестию, а потому что на меня никогда жалоб никаких не было.

– Да это и на отца Савелия никто не жаловался, – вмешался опять Ахилла.

– Да; да я сам ворчлив, – проговорил, выправляя из-под красной орденской ленты седую бороду, Туберозов.

Божедомы. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru

– Ты беспокойный человек, – отозвался с улыбкою Туганов. – Этому у нас страшно не любят.

– У нас любят: хоть гадко, да гладко.

– Именно: пусть хоть завтра взорвет, только не порть сегодня пищеварения, не порть, не говори про порох. Дураки и каналы – все лучше, а беспокойных боимся.

Говоря это, наблюдавший за Туберозовым Туганов имел в виду, не раздражая его упорным ведением одного анекдотического разговора, потешить его речью более живого содержания и рассчитывал дальше не идти, а тотчас же встать и уехать.

Но это так не случилось. Омнепотенский давно рвался ударить на Савелия и только сторожил удобную минуту, чтобы впутаться и начать свои удары.

Минута эта наконец представилась.

– Да в духовенстве беспокойные – это ведь значит доносчики, – вдруг неожиданно отозвался Омнепотенский. – А религии если пока и терпимы, то с тем, что религиозная совесть должна быть свободна.

Туганов не поостерегся, он не встал сию же минуту и не уехал, а ответил Омнепотенскому.

Это опять было сделано для того, чтобы предупредить вмешательство в этот разговор раздраженного Туберозова: но это вышло неловко.

– В этом вы правы, – согласился с Омнепотенским Туганов. – Свобода совести необходима, и очень жаль, что ее нет еще.

– Церковь несет большие порицания за это, – заметил от себя Туберозов.

– Так чего же вы и на что жалуетесь? – живо обратился к нему давно ожидавший его слова Омнепотенский.

– В сию минуту – ни на что не жалею, а печалюсь, что совесть не свободна...

– Это для всех одинаково.

– Нет: вам, например, удобнее мне плевать в мою кашу, чем мне очищать ее от вашего брения.

– Не понимаю.

– Не моя вина в том. Дело просто и очевидно: вы свободно проповедуете кого встретите, что надо, чтобы веры не было, а за вас заступятся, если пошептать, что надо бы, чтобы вас не было.

– Да, так вот вы чего хотите: вы хотите на нас науськивать, чтобы нас порезали!

– А вы разве не того же хотите, чтобы нас порезали?

– Господа, позвольте, – вмешался Туганов. – Вы, молодой человек, – обратился он к учителю, – не так понимаете отца протопопа, а он горячится. Он как служитель церкви негодует, что есть люди, поставляющие себе задачей подрывать авторитет церкви и уничтожать в простых сердцах веру. Так ведь, отец Савелий?

– Совершенно так.

– И конечно, ему очень досадно, что людям, преследующим свою задачу вкоренять неверие, дело их удается.

– Больше и легче, чем мне удастся моя задача воспитывать в том же народе христианские принципы, – подсказал Туберозов.

Омнепотенский улыбнулся и отвечал:

– Что ж, – стало быть, народ не хочет вашей веры.

- Он ее не знает, – прошептал про себя протоиерей, а громко ничего не ответил.
 - Он находит, что ему дорого обходится ваша вера, – продолжал поощренный молчанием Туберозова Омнепотенский.
 - Ну, однако, никак не дороже его пьянства, – бесстрастно заметил Туганов.
 - Да ведь пить-то – это веселие Руси есть – это национальное, славянофилы стоят за это. Да и потом я беру это рационально: водка все-таки полезнее веры: она греет.
- Туберозов вспыхнул и крепко сжал в руке рукав своей рясы. Туганов остановил его, тихо коснувшись до него рукою и, взглянув на Омнепотенского, сказал:
- Ну это вы очень ошибаетесь.
 - Я гляжу на это с точки зрения рациональной, а не идеалистической.
 - И я также гляжу с рациональной, – отвечал Туганов: – вера согревает лучше, чем водка: все добрые дела мужик начинает, помолившись, а все худые, за которые в Сибирь ходят, – водки напившись. Вы, вероятно, природный горожанин?
 - Да, – отвечал Омнепотенский.
 - Да; ну тогда это вам нельзя ставить и в суд, а вы спросите любого сельского жителя: кто в деревне лучший человек? – почти без исключения всегда лучший сын церкви: лучший христианин, лучший прихожанин.
 - Впрочем, откупа уничтожены экономистами, – перебрисился вдруг Омнепотенский. – Они утверждали, что чем водка будет дешевле – тем меньше будут пить.
 - Что ж, экономисты ведь такие же люди, как и все, и могут заблуждаться.
 - А между тем они с уверенностью отрицали всякую другую теорию, которая не их.
 - Это тоже общий недостаток всех теоретиков, а в такие форсированные времена, какие мы переживаем, ошибаться и нетрудно.
 - Старые времена очень хороши были, – с язвительностью заметил Омнепотенский.
 - Всегда добро было перемешано со злом, и за старые времена ратовать не стану. Уже они тем виноваты, что все плохое в новом режиме приготовлено долголетним старым режимом.
 - Новые люди стремятся вперед.
 - И очень шибко, – согласился Туганов, – шибче, чем это может быть полезно: они порвали связь с прошлым, с историей, и... с осторожностью. Это небезопасно.
 - Для кого-с?
 - Прежде всего для них самих.
 - Отчего для них?
 - Да их могут уволить.
 - Шпионы?
 - Нет, просто мошенники.
 - Мошенники-и!
 - Да. Они ведь всегда заключают узурпациею все сумятицы, в которые им небезвыгодно вмешаться замаскированным. Вот здесь и погибель всего. И это сделает не правительство, не партийные враги, а просто всё это пошашаут мошенники, и затем наступит поворот.

Вышла маленькая пауза. Омнепотенский бросил тревожный взгляд на Бизюкину, но ничего не прочел в ее взгляде. Его смущало, что Туганов просто съедает его задор, как вешний туман съедает с поля бугры снега. Учитель искал поддержки: он взглянул в этом чаянии на Термосёсова, но Термосёсов даже как будто с умыслом на него не смотрит; как будто просто дает почувствовать, что ты, брат, совсем особая сторона, и я тебя и знать не хочу.

Варнава понял, что надо было или прибавлять энергии и идти отчаяннее и смелее, или просто бросить все и ретироваться.

Он выбрал первое.

IV

– По моему мнению, – сказал он, – что бы кто ни говорил, а все-таки нынешние времена гораздо лучше прежних.

– Еще бы. Бессудная земля лежала как блудница, лишённая права свидетельствовать за себя, а нынче она судит себя своей совестью.

– Да суд-с... Что ж, суд всего не устроит. Устроит все...

– Более широкая свобода, – подсказал Туганов, видя, что Омнепотенский оробел.

– Да-с, – смело ударил Омнепотенский.

– Ну да, да, да: к ней всё и идет.

– А вы знаете ли, что свобода не дается, а берется. Кто вам ее даст?

– Да порядок, или лучше сказать, беспорядок вещей убедит, что ее надо дать для общей пользы.

– И выходит, что все это, за что стоят консерваторы, может отлично лопнуть, – совсем неожиданно сказал Омнепотенский.

– Да, к сожалению, это не представляется невозможным, – опять не противоречил ему Туганов.

– И тогда опять лучшие люди будут гибнуть.

– Да, как и всегда бывало, – отвечал Туганов.

– Ну и выходит все-таки, – сказал Омнепотенский, – что все, как оно есть, так вечно оставаться не будет.

– Про то же тебе и говорят, – отозвался из-за стула дьякон Ахилла.

– А вам про что же говорят, – поддержал дьякона в качестве единомышленника Термосёсов.

– Я говорю, что радикальное тут надобно лекарство, – отвечал всем зараз сконфуженный Омнепотенский.

– Конечно, радикальное. Пармен Семенович вам про то и говорят, что радикальное, – внушал Термосёсов, нарочно как можно отчетистее и задушевнее произнося имя Туганова.

– А это радикальное лекарство не опека, а опять-таки...

– Опять-таки свобода, – досказал, поднимаясь с дивана, Туганов, – и свобода, почивающая на том доверии, которое имеет Государь к народу, разбивая его вековое рабство, не боясь всех пуганий.

– Однако, как это скучно толковать с ними, – шепнул он, выходя из-за стола, Туберозову, но не получил от него никакого ответа, а снова был атакован Варнавой.

Божедомы. Николай Семенович Лесков Teskovniko1ai.ru

- Позвольте, мне кажется, вам, верно, не нравится, что теперь все равны.
- Нет-с, мне не нравится, что не все равны. – Омнепотенский остановился и, переждав секунду, залепетал:
- Все, все должны быть равны.
- Да ведь Пармен Семенович вам это и говорят, что все должны быть равны! – отгонял его от предводителя Термосёсов. – О чем вы спорите? Вы сами не знаете, о чем вы говорите.
- Чурило ты! – отозвался к Варнаве Ахилла.
- Ах оставьте, сделайте милость, я не с вами и говорю, – отрезал Ахилле Омнепотенский. – Я говорю, что все должны быть равны.
- Да с вами именно об этом никто и не спорит, – успокоил его Туганов.
- Вам, верно, Англия нравится, – метнул ему Варнава. – Эти перелеты Омнепотенского более не сердили Туганова и даже показались ему вдруг очень забавными.
- Да, мне очень нравится Англия, – отвечал он.
- Вот видите: я это отгадал! – воскликнул Омнепотенский. – Она именно в том, верно, вам нравится, в чем мы на нее похожи.
- Но там же-с лорды есть, лорды, лорды.
- Да, там это старо и подгнивает уж, а у нас недавно свои новые лорды заведены.
- Наше дворянство тоже не новость-с.
- Да-да, что же дворян считать: они уже выведены в расход и похерены.
- А вам, конечно, и досадно, и жаль, что исчезли сословные привилегии.
- Нет, мне жаль, что они не исчезли, а даже вновь создаются: исчезли лорды грамотные, теперь безграмотные учреждены.
- Кто же это такие, это привилегированное у нас сословие? – спросил Омнепотенский.
- Мужики.
- Что-о-с! Да в чем же заключаются их привилегии?
- А в чем заключаются привилегии лордов?
- Не знает, – громко буркнул Термосёсов.
- Позвольте-с!
- Да ничего, – не знаешь, – отозвался Ахилла.
- Наши мужики имеют свой сословный суд, которого кроме их никто не имеет.
- Да вот вы как! – отвечал Омнепотенский.
- А вы как?
- А вы же как? – смеясь, отозвался в ноту Туганову Термосёсов.
- Я имею об этом свои суждения, – отвечал раскрасневшийся Омнепотенский.
- Да разве, разве обо всяком предмете можно иметь несколько суждений? – ядовито обрезывал его Термосёсов.

Божедомы. Николай Семенович Лесков Teskovniko1ai.ru

– Одно будет справедливое, другое – несправедливое, – проговорил Дарьянов.

– Ведь правда-то одна бывает или нет? – внушал Варнаве дьякон.

– Между двумя точками только одна прямая линия проводится, вторую – не проведете, – втверживал Термосёсов.

– И прямая всегда будет кратчайшая, – пояснял Дарьянов.

Туганов в душе смеялся над этой дружной поддержкой, которую встретило его последнее шуточки ради сказанное замечание, а Омнепотенский злился.

– Да это что ж? ведь этак нельзя ни о чем говорить, – кричал он. – Я один, а вы все вместе говорите. Этак хоть кого переспоришь. А я знаю одно, что ничего старинного не уважаю и что теперь надо дорожить всякими средствами, чтобы образовать народ.

Омнепотенский сильно подчеркнул слова всякими средствами, а Туганов, как бы поддерживая его, сказал:

– Да это даже так и делается: у меня в одном уезде мировой посредник школами взятки брал.

– Ну да-с, как же братки взял.. Нет-с!

– Уверяю вас, брал, да я его и не осуждаю: губернаторы, чтоб отличаться, требуют школ, а мужики в том выгоды не находят и не строят школ. Он и завел: нужно что-нибудь миру, – “постройте, каналы, прежде школу”. Весь участок так обстроил.

Туганов встал и, отыскав хозяйку, извинялся перед ней, что все попадает из спора в спор; и сказал, что он торопится и хотел только непременно ее поздравить, а теперь должен ехать. На дворе зазвенели бубенцы, и шестерик свежих почтовых лошадей подкатил к крыльцу легкую тугановскую коляску; а на пороге вытянулся рослый гайдук с английской дорожной кисою через плечо.

V

Туганов и Плодомасов через минуту должны были уехать, но Омнепотенский не хотел упустить и этой минуты: он отбил от терзавших его Термосёсова и Ахиллы и, наскочив на предводителя, спросил:

– Скажите, пожалуйста, правда это, что дворяне добиваются, чтоб им отдали назад крестьян и уничтожили новый суд?

Туганов спокойно отвечал, что это неправда.

– А зачем пишут, что народ пьянствует и мировые судьи скверно судят?

– Потому что это так есть.

– Ну это значит пятиться назад! – воскликнул Омнепотенский.

Туганов посмотрел на учителя и, обратясь к дьякону, сказал:

– Возьми-ка, отец Ахилла, у моего человека нынешние газеты мои.

Ахилла вышел в переднюю и возвратился с пучком сложенных газет.

– Прочитай вот это! – указал Туганов дьякону, подавая один номер.

– “Из села Богданова”?

– Да, “Из села Богданова”.

Ахилла откашлялся и зачитал, кругло напирая на о:

“Из с. Богданова. (Ряз. губ.) Земля в нашей местности хороша, и хотя требует удобрения и серьезного ухода, но и вознаграждает труды. Но откуда же здесь та

Божедомы. Николай Семенович Лесков leskovnikolai.ru
страшная, подавляющая бедность, которая гнездится в каждой хижине, под каждую кровлю? Ведь не судьба же назначила народу быть под вечным рабством нужды и голода? Наши мужики живут кое-как, перебиваясь из дня в день. Страсть к вину неодолима, и она самый страшный враг нашего народа. Нужно пожить в деревне, чтобы увидеть и поверить, в каком огромном количестве истребляется вино. В Богданове нет кабака, но в соседней деревне Путкове, лежащей в полуверсте отсюда, их 3 рядом, а деревня небольшая. Тут-то и пропивается хлеб, отсюда-то и выходит голод. Ведь кроме хлеба пропивать нечего. Ни промыслов, ни ремесел нет у нас. Что делают мужики зимою? Почти ничего, кроме немногих, уходящих на сторону. Но отчего же они ничего не делают? Потому что не умеют ничего делать, да и делать нечего, да и охоты нет. Нужна предприимчивость, нужно уменье. А этому надо нас учить и работу дать надо. Кто же обязан сделать это?"

– Это, верно, “Весть”? – воскликнул Варнава.

– Нет, – это “Биржевые ведомости”.

– Ну и что ж такое, что лежат мужики?

– То, что они портятся, – заваляться могут.

– Бесхозяйство пойдет, – поддержал другой гость.

– Пьянство, – сказал третий.

– И нищета.

– Под лежачий камень вода не пойдет.

– Не почесавши и чирей не сядет, – закончил Ахилла.

Туберозов опять покачал ему голову, а Захария шепнул: “Веред, надо говорить веред, а не чирей”.

– Веред не сядет, – объявил дьякон.

– Ну так почитай господину учителю дальше.

– Где-с?

– Кряду читай, кряду.

– “Из Шуйского уезда”?

– Да, “Из Шуйского уезда”.

– “Из Шуйского уезда” – возгласил дьякон и продолжал:

“В недавнее время у одного нашего мужика А. В. порубили лес, всего рублей на 50. Воры пойманы. Хозяин сделал заявление о том мировому судье. Началось следствие. Виновные должны были сознаться в своей виновности. Казалось бы, факт, подлежащий суду, несложен, и для надлежащей оценки его не нужно иметь особой замысловатости. Дело просто и ясно: похищена собственность, похитители пойманы на месте и уличены перед судом, поэтому потеря собственника должна быть вознаграждена со стороны их. Так бы, если не строже, решил это дело всякий. Но мировому судье никак не хочется так покончить. Напротив, ему почему-то хочется оправдать виновных. Для этого он пускает в ход всевозможные меры худопонимаемой им власти, грозит собственнику в будущем. Но собственник при всем этом не мирится, требует суда и суда законного. Что теперь делать мировому судье? Ничего не остается, как штрафовать виновных. Он и штрафует. Но чем? Страшно сказать, двумя рублями, тогда как мужик-собственник только во время судебного процесса потратил 6 рублей. Что можно сказать о таком суде? То, что существование его не лучше, чем отсутствие суда. Такой суд, помимо разорения хозяйства, развращения нравов, ровно ничего не дает обществу. Станет ли хозяин энергично трудиться, увеличивать собственность, когда не уверен, что он обеспечен в своей собственности. С другой стороны, почему нам не воровать, решать мошенники, когда за рубли с нас берут копейки или вовсе ничего. Кроме того, такой суд, в глазах собственников, падает черным пятном на всю реформу суда, и не здесь ли кроется

Божедомы. Николай Семенович Лесков teskovniko1ai.ru
причина понижения нравственного уровня крестьян?”

– И ведь это в самом деле смешно! – сказал Туганов, обратясь к присутствующим. – А вот немножко дальше, в этой же самой почте... господа, не надоело вам?

– Нет, – отвечали разом несколько голосов.

Туганов развернул другую газету и, указав дьякону, сказал:

– Пробежи еще это.

Ахилла опять кашлянул и прочел следующее:

“факт возмутительного своеволия крестьян. В одном губернском по крестьянским делам присутствии в великорусской губернии разрешен был спор между крестьянами и помещиком, на земле которого они живут. Спор был решен не в пользу крестьян. Крестьяне, не обращая внимания на состоявшееся законное постановление, позволили себе запахать землю, признанную за исключительную собственность помещика. Тогда помещик посылает за единственным представителем власти в нашей деревенской жизни – за сельским старостой. Начинается спор в присутствии нескольких крестьян. Староста во время спора ударил возражавшего ему помещика. Тогда помещик (отставной военный) бросился к себе в дом, желая взять пистолет. Толпа крестьян устремляется вслед за ним и подвергает его истязаниям, потом связывает веревками, кладет на телегу и везет в губернский город, отстоящий от деревни на 27 верст. Крестьяне говорили, что они везут помещика к губернатору, – вопрос интересный для судебного следователя. Между тем, кто-то из домашних предупредил об этом возмутительном происшествии живущего вблизи губернского предводителя. Влиянию последнего при содействии других крестьян удалось освободить несчастную жертву из рук бешеной толпы. В настоящее время производится следствие. Говорят, будто бы губернатор устранил от производства следствия троих следователей... Но разве губернатор имеет право устранять по своему усмотрению следственных чиновников, зависящих от министерства юстиции? Из провинции, где это случилось, пишут, что все общество губернского города находится в величайшем волнении. Оно и естественно: когда известие об этом пришло в Петербург, который ничему не удивляется, и разговор о том шел в большом обществе людей с различными убеждениями, то даже и тут были поражены переданным фактом”.

– Что же, масса мстит за свое порабощение, – отозвался Омнепотенский. – Это так быть должно.

– Так вот изволите видеть, с одной стороны – жестокие нравы, с другой – жестокие обычаи, а теперь еще ко всему этому и принципы жестокие, что “это так быть должно”!

– Вы это не революцией ли называете? – заметил язвительно Омнепотенский.

– Не знаю-с, как это называть, но знаю, что дымом пахнет и что все это “дымом пахнет” – это годится только знать вовремя, а то и знать не поможет. Есть такой анекдот, что какой-то офицер, квартируя в гостинице, приволокнулся за соседкой по номеру, да не знал, как бы к ней проникнуть? По армейской привычке спрашивает он в этом совета у денщика, а тот на эту пору, поведив носом, да слышачи где-то самоварный запах, говорит: “дымом пахнет, ваше благородие”. Барина осенило наитие: побежал спасать соседку, чтобы не сгорела, – и все покончил с нею. А пришлось ему через год другую барыньку увидеть, да уж не рядом, не под рукой, а через улицу. Он опять денщика “как бы, говорит, и эту барыньку достать”. – “Дымом пахнет, ваше благородие”, – отвечает некогда хваленый за свою находчивость денщик. – А дым-то выходит, врешь, любезный, тут – дым не помогает. Как бы вот тоже не увидеть и нам свою красотку через улицу? А денщики-то наши тоже не бессмысленнее нас – скажут “дымом пахнет”, да и все тут.

Русь не раз ополчалась и клала живот свой, когда ей говорили: “дымом пахнет”. Писали ей на знамени “за веру, Царя и отечество”, и она шла, а нуте-ка, как вам удастся мало-помалу внушить ей, что ничего не стоит вера, не нужен Царь и – вздор отечество; а к вам придут со всех сторон да станут терзать у вас окраины, потом полезут и в середину. Тогда, позвольте спросить: в чье имя собрать ее? Или вам не жаль ее вовсе?.. А денщиков я отлично знаю: они нынче мирволят вам, а придет шильце к бильцу, они одно и сумеют говорить, что “дымом пахнет”.

– Так из-за этих вздоров удерживать всякую рутину!

– Да-с; из-за этих вздоров Россия терпела Иоанна Грозного, обливалась кровью да выносила, чтоб только окрепнуть. Это было потяжелее того, чем вы нынче тяготитесь, и потому, извините меня, Русь права во всех своих негодованиях к вашим усилиям.

Туганов вдруг стал и сам как будто сердиться.

– А мы тяготимся одним тем, что не рационально, – ответил Омнепотенский.

– Позвольте-с, позвольте! – возвысив голос, перебил его предводитель. – Это еще не позволено верить вам на слово, что то, что вы считаете рациональным, то действительно и рационально: вы веру, царя и отечество считаете нерациональностями, а я вам имею честь утверждать, что они для нас рациональны. Вы безделушками занимаетесь, а в Европе есть Англия, Франция, Австрия, Наполеоны, Бейсты, борьба за первенство. Мы крепки пока, и нам завидуют; у нас повсюду куча врагов, и мы должны не сводить глаз с этих врагов: мы бережем свою независимость политическую, ибо без нее не вправе никогда надеяться на свободу гражданскую. Вы недоумеваете, кажется, – я это расскажу вам: для свободы нужна политическая независимость, – для политической независимости нужен Царь, без которого народ наш не мыслит государства. Для влиятельного авторитета царской власти, как равно и для необходимейшего смягчения народных нравов, нужна вера и, как изволите видеть: вначале всего для этого народа нужна вера.

Туганову захлопали.

– И это не утопически, милостивый государь, а рационально, – продолжал Туганов. – Вера не губит, а вера спасает нас. А как распоряжаются с этой верой, мы вот с вами сейчас опять будем иметь честь увидеть. Вы ее подрываете, вы над нею глумитесь, вы ее представляете тормозом народного счастья и прогресса, а вам помогают. Дьякон, – обратился он к Ахилле, – возьми, пожалуйста, еще вот этот листик, пробеги. Прошу вас, господа, прислушать. Это, – опять обратился он к Варнаве, – не Катков и Аксаков, которые повинны в любви к России, а это опять те же “Биржевые ведомости”. Читайте, дьякон! Ахилла начал:

“Не видя ниоткуда ни сочувствия, ни защиты, причты потеряли веру в правду и милость своего начальства и влачат свои дни среди нищеты и нравственного унижения, запивая горе вином. Материальная обстановка их бедна и грязна, нравственная унижительна. Взятничество до того проникло в административных деятелей духовенства, что благочинный не иначе может представить официальные отчеты в своем благочинии, как приложив к ним 10 руб. на имя секретаря, да столько же на имя канцелярии, которые, в свою очередь, он постарается стащить со старосты и причтов. Вот что встречается священник в своем ближайшем начальстве! Заклучим статью словами смоленского преосвященного, который рисует жизнь духовенства так: “Посмотрите, говорит он, на священнослужителя, получившего достаточное научное образование, когда, в самых молодых годах, едва сошедши со школьной скамьи, он поставлен судьбою в деревенской глуши в среде несколько не развитых поселян, с которыми и обязательные для него духовные сношения он может поддерживать с трудом и с огорчениями для себя, сношения житейские – с тягостию в сердце и самоуничижением; а о сношениях образованной мысли и развитого чувства – и говорить нечего. При такой обстановке жизни, он скоро впадает в тоску и уныние и готов для рассеяния их искать средств непозволительных? Ему нет способов к умственному возвышению духа над грустною обстановкою жизни, путем отвлеченного мышления и научного саморазвития; недостает сил для постоянного поддержания мысли и чувства на духовной высоте сана близ Бога””.

– Да ну довольно, – перебил Туганов, принимая из рук дьякона газету. – Прошу вас заметить теперь, – сказал он, обратясь к Варнаве, – что это все взято не на выбор, а как рукой из мешка почти в одну почту достанешь. Веру режут, да уж почти и зарезали. Ведь вот уж тут я, земский человек, всего этого не желая, конечно, могу только сказать “дымом пахнет”.

– Тургенев говорит: “всё дым”. В России все дым – кнута и того сами не выдумали, – говорил, оглядываясь по сторонам, Омнепотенский.

– Да, – отвечал отдуваясь Туганов, – кнут-то, точно, позаимствовали, но зато отпуск крестьян на волю с землей сами изобрели.

Туберовзов подумал: “А давно ли ты говорил, что ничего и решительно ничего мы в сокровищницу цивилизации не положили?”

- Но это не Россия сделала, – сказал Омнепотенский.
- А кто же-с?
- Государь.
- Государь? – Туганов понюхал табаку и тихо проговорил: – Государю принадлежит почин.
- Велел, и благородное дворянство не смело послушаться.
- Да оно и не желало послушаться.
- Все-таки это царская власть отняла крестьян.
- Однако Александр Благословенный целую жизнь мечтал освободить крестьян, да дело не шло. А покойный Николай Павлович еще круче хотел на это поналечь, да тоже не удавалось; а этот государь богоподобным фебом согрел наши сердца и сделал дело, которое сколь Герцен ни порочь, а в истории цивилизации ему подобного не найдете.
- А вы Англию хвалите!
- Да-с, хвалю.
- Что же в ней лучше?
- Многое-с.
- Извольте сказать?
- Извольте, – отвечал, улыбнувшись, Туганов. – Суд их умнее и лучше.
- Даже и нового!
- Именно нового: у нас в суде водворяют “правду и милость”, а суду достоин одна правда. У них вреднейшего чиновничества, этого высасывающего мозг земли класса, не существует в наших ужасающих размерах. Они серьезные люди и из сокращения штатов не позволят у себя под носом вываривать сок ращения, как у нас обделали это чиновники. У них свободная печать; у них свободная совесть... да, одним словом, перечислять преимущества жизни аглицкой можно не на пороге стоя.
- Ну да, вы демократию осуждаете: она вам ненавистна, а мне Англия за это ненавистна.
- Еще раз нахожу неудобным рассуждать обо всем этом на пороге, но скажу вам, что вы не знаете, где растет и крепнет прочная демократия в Европе? Она в ненавистой вам Англии.
- В Англии! Демократия в Англии! – воскликнул Омнепотенский.
- Да вы знаете ли Англию?
- Знаю-с.
- Да полно, знаете ли?
- Знаю-с, и знаю, что все, что есть в ней хорошего, это ее отношения к женскому вопросу, – это то, что у них не короли, а королевы.
- Что тако-о-е? – переспросил, недоумевая, Туганов.
- В Англии хорошо, что у них не короли, а королевы. – Женский вопрос у них пойдет потому, что хоть уж существует это зло у них – монархия, так по крайней

Божедомы. Николай Семенович Лесков Teskovniko1ai.ru
мере женщины – королевы, а не короли.

Туганов посмотрел на Омнепотенского молча и только теперь догадался, что учитель видел в нынешнем царствовании Виктории царство женщин в Альбионе. Через минуту это поняли Туберозов и Дарьянов, и последний из них не выдержал и громко рассмеялся. Все остальные были покойны. Никто не находил ничего нелепого в словах Варнавы, и лишь Ахилла и Захария были смущены и шептались. Ахилла добивался у Захарии: что это? Чему смеется Дарьянов, а Захария отвечал: “А я почему знаю?” Ахилла отнесся с вопросом к Термосёсову, но Термосёсов был так же несведущ, как Захария, и схитрил, что он будто не слышал, что сказал Омнепотенский.

Туберозов вслух разрешил политическое заблуждение Варнавы.

Раздался всеобщий хохот, которым всякий над собой смеялся, думая, что он смеется над одним Варнавой. Бедный Варнава только свиристел:

– Да этак ничего... Этак ничего нельзя говорить... Я говорю, а вы все хохочете.

Туганов решился прекратить жалостное положение учителя и еще на минуту продолжил с ним свою беседу.

– Впрочем, я завидую демократам и жалею, что сам не могу им быть, – проговорил он. – На мой нос эта... извините... mesdames, – потная онуча очень скверно воняет, и мне неприятно обедать, когда я вижу за столом человека, у которого грязь за ногтями.

Термосёсов оглянулся на Данку и, увидев, что она смотрит на него, тихо подмигнул ей и погрозил ей пальцем.

– Мы с мужиком нынче соседи по имению. Мой союз с ним – союз естественный, нас соединяет Божие казначейство, – земля – наша единственная кормилица, за которую мы оба постоим и кроме которой не ищем подачек ни у каких милостивцев, а вы всё нас, соседей, хотите перессорить, – это, господа, скверно и... даже знаете... не честно.

При этом Туганов протянул Омнепотенскому руку и сказал:

– Честь имею вам откланяться.

Омнепотенский подал свою руку предводителю, но, надеясь в последнюю минуту все-таки кое-как хоть немножко оправиться, торопливо проговорил:

– Мы сходились с народом, чтоб обратиться к естественной жизни.

– Но самая естественная форма жизни – это жизнь животных; это... – Туганов показал рукою на стоящий у подъезда экипаж и добавил, – это жизнь вон этих лошадей, а их, видите, запрягают возить дворянина. Что этого возмутительнее!

– И еще дорогою будут кнутом наяривать, чтоб шибче, – заметил дьякон.

– И скотов всегда бьют, – поддержал Термосёсов.

– Ну опять все на одного! – воскликнул Варнава. – Я всегда буду за народ, всегда за народ и против дворян.

– Скажите, какая миссия! – не утерпев, воскликнул Туберозов.

– Ты, значит, смутьян, – сказал Ахилла.

– Бездну на бездну призываешь, – отозвался Захария.

– А вы еще знаете ли, что такое значит, бездна призывает бездну? – зло огрызнулся Варнава. – Бездна бездну призывает это, значит, – поп попа к себе в гости зовет.

Это все поняли гораздо легче, чем аглицкую королеву, и дружный хохот залил залу. Туберозов гневно сверкнул глазами и вышел в гостиную. Туганов посмотрел ему

Божедомы. Николай Семенович Лесков Teskovniko1ai.ru
вслед и тихо сказал Дарьянову:

- Он у вас совсем маньяк сделался.
- И не говорите!
- Он дрожит ото всего.
- Получит свои "Московские ведомости" и носится, и стонет, и вздыхает.
- Я говорю: он уж не может рассуждать ни о чем хладнокровно.
- Ни о чем, - чистый маньяк.
- Они слышат, - тихо прошептал Ахилла.

Савелий действительно все это слышал и рассуждал:

- Маньяк! Вот оно: горячее чувство всякое - это маньячество! Боже мой! Боже мой! Почему же не Варнавка назван маньяком, а я непременно!

Туганов начал решительно прощаться. Протопоп взшел в залу.

- А ты, брат, воин Васильевич, я вижу, не ревнив, - пошутил Туганов, расставаясь с Порохонцевым, - позволяешь ухаживать за женой.
- У меня на этот счет своя политика, - отвечал Порохонцев. - За моей женой столько ухаживателей, что они все; друг за другом смотрят.

Туганов обернулся к Туберозову и сказал ему:

- Хотел было на тебя, отец, донести, как вы цаловались-то нынче, да вижу не стоит. При его мудрой политике он безопасен.

И Туганов уже совсем стал выходить на лестницу. Его провожали гости и хозяева. Варнаве казалось, что фонды его стали очень высоко после "бездны", и он гнался за предводителем, имея план еще выше поднять свое реноме умного человека.

Он подскочил к коляске, в которую усаживался Туганов, и, бесцеремонно схватив за рукав Туберозова, проговорил:

- Позвольте вас спросить: я третьего дня был в церкви и слышал, как один протопоп произнес слово "дурак". Что клир должен петь в то время, когда протопоп возглашает "дурак"?

- Клер трижды воспекает "учитель Омнепотенский", - быстро ответил Туберозов.

При этом неожиданном ответе присутствующие с секунду были в ошарашенности и вдруг разразились всеобщим бешеным смехом.

Туганов махнул рукой и уехал.

VI

Около Омнепотенского, как говорится, было кругом нехорошо. Даже снисходительные дамы того сорта, которым дорог только процесс разговора и для которых что мужчины ни говори, лишь бы это был говор, и те им возгнушались. Зато Термосёсов забирал силу богатырем. Варнава не успел оглянуться, как Термосёсов уж беседовал со всеми дамами, а за почтмейстершей просто ухаживал, и ухаживал, по мнению Омнепотенского, до последней степени подло; ухаживал за нею не как за женщиной, но как за властью предрержащей. Варнава не раз даже пытался обратить на это внимание Данки; но Данка более чем кто-нибудь была полна презрения к Омнепотенскому и не хотела его слушать и даже нагло сказала ему прямо в глаза:

- Идите вы прочь, петый дурак!

Она сердилась на Варнаву еще более потому, что чувствовала в его словах некоторую правду. Когда она старалась оправдать себе поведение Термосёсова и убеждалась, что это невозможно, то она чувствовала приступ сдавливающей боли в

Божедомы. Николай Семенович Лесков Teskovniko1ai.ru
горле и истерическую потребность всхлипнуть и разрыдаться.

За ужином Термосёсов, оставив дам, подступил поближе к мужчинам и выпил со всеми. И выпил как должно, изрядно, но не охмелел, и тут-то внезапно сблизился и с Ахиллой, и с Дарьяновым, и с отцом Захарией. Он заговаривал не раз с Туберозовым, но старик не очень поддавался к сближению. Зато Ахилла после часовой или получасовой беседы, ко всеобщему для присутствующих удивлению, неожиданно перешел с Термосёсовым на “ты”, жал ему руки, целовал его в его толстую губу и говорил всем:

– Вот, ей-Богу, молодчина этот Термосёсов, а у нас он поживет, он еще ловчее станет. Мы с ним зимою станем лисиц ловить. Правда?

– Правда, – отвечал Термосёсов, – и сам хвалил Ахиллу и называл его молодчиной.

И оба эти молодчины снова целовались и снова занимали наблюдательных людей своею внезапною дружбой. Туберозов косился на это, но не остановил дьякона ни одним взглядом и смотрел на его проделки, как будто вовсе не замечал их.

Когда пир был при конце и Захария с Туберозовым уходили домой, Термосёсов придержал Ахиллу за рукав и сказал:

– Пойдем ко мне зайдем. Тебе спешить ведь некуда.

– Да, спешить некуда, – согласился Ахилла и остался.

Термосёсов предложил еще потанцевать под фортепиано, и танцевал прежде с почтмейстершей, потом с ее дочерьми, потом еще с двумя или тремя дамами и, наконец, после всех – с Данкою, а в заключение всего провальсировал с дьяконом Ахиллой, посадил его на место, как даму, и, подняв к губам руку Ахиллы, поцеловал свою собственную руку. Не ожидавший этого Ахилла все-таки быстро вырвал свою руку у Термосёсова в то время, когда тот потянул ее к своим губам.

Термосёсов расхохотался и сказал:

– Неужто же вы думали, что я вашу руку буду целовать?

Дьякон и рассердился, и не рассердился, но ему эта выходка немножко не понравилась. После этого они, впрочем, сейчас и отправились по домам, семейство почтмейстерши, дьякон и Данка Бизюкина.

Термосёсов предложил свои руки почтмейстерше и Данке, а Ахилле указал вести двух почтмейстершиных дочерей, Ахилла был на это готов и согласен, но девицы несколько жеманились: они находили, что даже и в ночное время все-таки им неудобно идти под руку с человеком в рясе. Притом же у дьякона в руках была его знаменитая трость, сегодня утром возвращенная ему отцом Туберозовым.

Заметив смущение барышень и их нерешительность идти с ним, Ахилла порешил весьма просто:

– Чего вы, – сказал он. – Меня-то конфузиться вам? Да я вас помню, еще когда вы у мамы еще в фартучке были, – и с этим взял их обеих под руки и повел.

Ахиллу несколько стесняла его палка, которую он должен был теперь нести у себя перед носом, но он ни за что не согласился доверить ее Омнепотенскому, говоря, что “она чужих бьет”. Они завели домой почтмейстерских дам, и здесь, у самого порога калитки, Ахилла слышал, как почтмейстерша клеветала Термосёсову на Порохонцеву.

– Верьте, что врет, – говорила она. – Верьте!.. Понятно, ему, старику, нечего больше говорить, как что верит.

– А, она податлива?

– Еще бы!

– Слабовата.

Божедомы. Николай Семенович Лесков Teskovniko1ai.ru

– О, да конечно! – отвечала почтмейстерша. – Ведь когда у нее первый сын родился, то князь, у которого ее отец управляющим был, говорил: “Очень жалею, говорю, что не могу поехать к Порохонцевой на крестины, – религия, говорит, не позволяет”. Понимаете, по нашей религии отцу нельзя быть при крестинах.

– Да, да, да, да, понял! – подхватил Термосёсов. – Князь молодец: религия ему...

– Да-с... религия? – почтмейстерша засмеялась и добавила: – вы видите, к ней Туганов заезжает, но он у меня вот эту вторую дочь крестил. Он мне тоже сказал: жалко, говорит, что не мог у вас быть, но к вам на крестницы именины моя жена приедет. – Ольга Арсентьевна с ума сойдет от этого... Как же, ведь она у нас первая дама: англиские книги читает! А я говорю: “Я бы очень рада хоть и русские почитать, да некогда, – совершенно некогда мне читать”. – Почтмейстерша вздохнула и, приставив палец ко лбу, заключила:

– Да и научит ли еще, Андрей Иванович, чтение, у кого тут своего нет?

– Глупость это чтение! – решительно сказал ей Термосёсов.

– Не правда ли, я говорю? Трата времени.

– Как нельзя умнее рассуждаете, – утверждал Термосёсов.

– Влюбился да женился, влюбился да застрелился, да и все тут. А к тому ж уж нынче люди стали умней и не стреляются из-за нас. Незаменяемости этой больше не верят, не та, так другая утешит.

– Да, разумеется: абы баба была! – обронил неосторожно Термосёсов и тотчас, спохватясь, добавил: – Удивительно, ей-Богу, как вы здраво рассуждаете. Женщина нужна человеку: умная, толковая, чтоб понимала все, как вы понимаете... вот это я понимаю, а не стреляться.

– Я надеюсь, что мы с вами будем видеться? – спросила, протягивая ему руку, почтмейстерша.

– В этом не сомневаюсь. А позвольте... Вы говорили, что вам нравится, что у Порохонцевых на стене вся царская фамилия в портретах?

– Да, мне это давно очень, очень хочется. Знаете, у служащего в какой-нибудь такой день, когда чужие люди... это очень идет.

– Я вам это устрою.

– Помилуйте, – застенчиво отпращивалась почтмейстерша.

– Нет, да что ж такое, мне ведь это ничего не стоит. У меня было фотографическое заведение. Есть у меня все: Государь и Государыня, и Константин Николаевич и Александра Иосифовна – всех вам доставлю.

– Но вам они самим, может быть, нужны...

– Нет! да я себе, если захочу, опять сделаю. Это ведь сколько угодно можно печатать. А у вас... я завтрашний день к вашим услугам, непременно, – и Термосёсов с нею раскланялся.

На дворе было уже около двух часов ночи, что для уездного города, конечно, весьма поздно, так что бражничать было бы совсем неуместно, и Омнепотенский размышлял только о том, каким бы способом ему благополучнее уйти домой с Ахиллой или без Ахиллы, но Термосёсов все это переиначил. Тотчас же, как только он расстался с почтмейстершей, он объявил, что все непременно должны на минутку зайти с ним к Бизюкину.

– Позволяешь? – отнесся он полуоборотом к Данке.

– Пожалуйста, – ответила несколько сухо Данка.

– У тебя питье какое-нибудь дома есть?

Божедомы. Николай Семенович Лесков Teskovniko1ai.ru
Данка сконфузилась. Она, как нарочно, нынче забыла послать за вином и теперь вспомнила, что со стола от обеда приняли последнюю, чуть совсем не пустую, бутылку хересу.

Термосёсов заметил смущение хозяйки и сказал:

- Ну, пиво небось есть?
- Пиво, конечно, есть.
- Я знаю, что у акцизных пиво и мед есть всегда. И мед есть?
- Да, есть и мед.
- Ну вот и прекрасно: есть, господа, у нас пиво и мед, и я вам состряпаю из этого такое лампопу, что...

Термосёсов поцаловал свои пальцы и договорил:

- Язык свой, и тот, допивая, проглотите.
- Что это за ланпопу? – спросил Ахилла.
- Не ланпопó, а лампопó – напиток такой из пива и меда делается. Идемте! – и он дернул Ахиллу за рукав.
- Постой, – оборонился Ахилла. – Ланпопó... Какое это ланпопó? Это у нас на похоронах пьют... пивомедие это называется.
- А я тебе говорю, это не пивомедие будет, а лампопó. Идем!
- Да, постой! – опять оборонился Ахилла. – Я этого ланпопó, что ты говоришь, не знаю, а пивомедие... это, братец, опрокидонтом работает... Я его, черт его возьми, ни за что не стану пить.
- я тебе говорю – будет лампопó, – приставал Термосёсов.
- А лучше не надо его нынче, – отвечал дьякон.
- А отчего не надо?
- А оттого, что час спать идти, а то назватра чердак трещать будет.

Омнепотенский был тоже того мнения, что лучше не надо; но как Ахилла и Варнава ни отговаривались, Термосёсов ничего этого не хотел и слушать и решительнейшим образом требовал, чтобы они шли к Бизюкиной пить лампопó. А как ни Ахилла, ни Омнепотенский не обладали достаточною твердостью характера, чтобы настоять на своем, то настоял на своем Термосёсов и забрал их так не вовремя и некстати в дом Бизюкина.

VII

Разумеется, ни Ахилла, а тем менее Варнава не понимали, что Термосёсов заводит их для каких-нибудь других целей. Ахилла, в своей невинности и священной простоте, полагал, что Термосёсов просто хочет докончить питру, и смущался только немножко тем, что поздненько это, а Омнепотенский же думал, что Термосёсов хочет завербовать Ахиллу в свой лагерь. А Термосёсов взшел в залу Бизюкиных очень тихо и, убедившись, что мужа данкиного еще нет, а судья Борноволок, пользуясь его отсутствием, спокойно спит в своем кабинете, – тотчас шепнул Данке:

- Знаешь, Дана, тут мы шуму с тобой заводить не будем, а если у тебя есть что спить-съесть, то изобрази ты все это в сад. Мы там никому не будем мешать, и будет это прекрасно.

Данка, хотя и дулась немножко на Термосёсова, но желания его исполняла буквально: в саду явилась наскоро закуска: сыр, ветчина, графин водки и множество бутылок пива и меда, из которых Термосёсов немедленно стал готовить лампопó.

Варнава Омнепотенский, поместясь возле Термосёсова, хотел, нимало не медля, объяснить с ним насчет того, зачем он юлил около Туганова и помогал угнетать его, Варнаву?

Но, к удивлению Омнепотенского, Термосёсов потерял всякую охоту болтать и разбалтывать с ним и, вместо того, чтоб ответить ему что-нибудь ласково, оторвал весьма нетерпеливо:

– Мне все равны, и мещане, и дворяне, и люди черных сотен. Отстаньте вы от меня теперь с политикой, – я пить хочу!

– Однако же, если вы современниковоц, то вы должны согласиться, что люди семинария воспитанского лучше, – пролепетал, путая слова, Варнава.

– Ну вот, – перебил нетерпеливо Термосёсов, – “семинария воспитанского”. Черт знает, что вы болтаете! Вы, верно, пьяны?

– Нет, я не пьян.

– Ну, не пьян! “Семинария воспитанского”, да не пьян еще! Лучше пейте, вот вам и будет “семинария воспитанского”.

– Но позвольте, в организованных кружках всегда оказывают своему помощь?

– Тем-то вас и избаловали. А ты не жди ни от кого помощи, так посмысленей и будешь. Прав на помощь нет у естественного состояния. Борись сам, если цел хочешь быть!

– Но я говорю, что этого естественно желать?

– Да ведь естественнее желать есть, а еще естественнее без обеда оставаться.

– Да это же всё ведь опять люди так и устроили.

– Фу, черт его возьми: люди! люди! – вспыхнул Термосёсов. – Да в самом деле, к скотам что ли тянет? Ну так вон тебе говорили, что скотов даже естественно бить! Надел ты, мочи нет, с своими этими нигилистическими бреднями!

– Да что вы всё про нигилистов! Неужто же, по-вашему, чиновничьи честунации... комбияции...

Варнава в досаде остановился.

– Как он прекрасно у вас говорит! – воскликнул, слегка рассмеявшись, Термосёсов. – Вот Цицерон, право! Ну-ка: как-как это? “Семинария воспитанского” и “чиновничьи честунации”... Что еще?

– Он это часто так, когда разгорячится, – вступился за Омнепотенского Ахилла. – Он хочет сказать одно, а скажет другое. Он с почтмейстершей Матреной Ивановной за это даже повздорили. Он хотел ей сказать: “Матрена Ивановна, дайте мне лимончика”, да выговорит: “Лимона Ивановна, дайте матренчика!”

– Чудесно! – воскликнул, смеясь, Термосёсов.

– Да-с, я дурно говорю-с! Ничего-с, – поправлялся Омнепотенский. – Но я что говорю, то делаю, а другие... да-с, другие хорошо говорят, а как до дела... так вон как теперь Герцен в Швейцарии... Проповедовал, проповедовал, что собственность есть воровство...

– Ну! – крикнул, выходя из терпения, Термосёсов.

– А как теперь выиграл на американские акции миллион, – дворец себе поставил, а на честный журнал у него попросили, и не дает.

– И отлично делает, что ничего не дает дуракам.

– Я думаю, не дуракам, а честным нищим, – заступился Омнепотенский.

– Честных нищих нет и не бывает, – решил Термосёсов. – Нищий – это презренный трус, и больше ничего.

– Это почему? – спросил удивленный учитель.

– А потому что у него, значит, даже смелости воровать нет.

Омнепотенский только захлопал глазами и залепетал уж что-то совсем необычайное. Тут были и революция против собственников, и нищета, и доблесть, и заветы, и картины печальных ужасов, какие являет современная литература вообще, и вред, чинимый газетами: “Голос”, “Москва” и “Московские ведомости”. Термосёсов долго его слушал и наконец сказал:

– Перестань! Сделай милость, перестань! Все это вздор и противно! Что ты это все путаешь... “Ведомости”, “Голос”, что ты можешь понимать, что такое “Ведомости” и что такое “Голос” и что направление? Сиди, знай свои кости. Это теперь обсуждать, кто вреден, кто не вреден, уже не вам, нигилистам, судить! Вы – старо, ветхо и глупо!

– “Голос”! Я “Голосу” не только гимн, а целую оперу написал бы и сам бы ее пел, и сам бы играл.

– А вы даже и на театре играли?

– Играл? Да разве я сказал, что я играл? А впрочем, да, и сам играл когда-то, – отвечал Термосёсов.

– Кого же вы представляли?

– Дионисия, тирана Сиракузского: ты знаешь ли такого зверя? Ты же у меня будешь аглицкую королеву играть! – и, бросив Омнепотенского, он заговорил:

– Я даже этакую пьеску и напроэктировал: “Монтионову премию” выдавать русской литературе “за честность”. Чтоб представляли Лысую гору под Киевом и тут, знаете, несколько позорных столбов с надписями, а тут этакое большое председательское кресло, вокруг собрание полночное, и все, и патриоты даже и все, все собрались, чтоб обсуждать, кому премию... Вольф книгопродавец... вы его не видали. Молодчина... Он председательствует на этом кресле, и тут все “времена и народы” перед ним. – Вот и начнется суд, что всех честней и полезней. Хоры из серовской “Рогнеды” вертятся и поют:

Жаден Перун,
Попить охота. –
А потом:

Свеженькой кровушки
Повыточим, повыточим. –
Теперь кому премию дать? Шум: ги-га-го-у! Одного провалили, другого... Свист! Теперь большинство голосов, чтобы Некрасову выдать премию: у имущего будет и преизбудет! Опять шум. Не согласны. Не надо. За что? Красные петухи зевают: “Он Муравьеву стихи писал”. Смятение. Кому же? Голос из-под земли: “Краевскому!” Кому? Краевскому премию, вот кому! Спор: отчего и почему? Он “Голос” издает. Позор! Но он и “Отечественные” издает! Честь. Да и доказать тут всем, что такое есть Краевский: одной рукой в тех, другой – в этих, и налаживает, и разлаживает, а в общем от этого все разлад. Голоса: молодчина Краевский, вполне молодчина! В прошедшем отличный, в настоящем полезен, в будущем благонадежен. Я всех покрываю: он! он, Краевский, достоин Монтиона! Почему я так действую? Потому что я его вижу, он всем служил, и придет антихрист, понадобится ему орган, он которю-нибудь рукою и антихриста поддержит, и молодчина! Вольф дает звонок, тишина, и премия присуждается Краевскому. Потом команда: “Всех бесчестных к столбам!” Начинается: Каткова первого, Аксакова, Леонтьева, Писемского, Стебницкого... ну и еще сколько их таких наберется. Теперь их уж не очень и много. Ну тут как этих прикрепят – щит... Краевского на рыцарский щит триумфатором... и идем и несем его на щите над головами. Крестовский впереди на уланском коне едет, и поем похвальную песнь-гимн, “краевский гимн”, так называется будет. – Термосёсов ударил ладонью по столу и запел на голос одного известного марша:

Персидский шах его почтил,
Стал “Голос” старца бесподобен,
Он “Льва и Солнца” получил
За то, что льву он доблестью подобен,
И солнце разумом затмил,
Затмил, затмил, затмил! –
И с этим мы уходим; сцена остается темною, и на ней у столбов одни бесчестные, –
заклучил Термосёсов и вдруг, быстро поднявшись, взял Омнепотенского за плечи и
сказал:

- Ну так приноси сейчас сюда бумагу и пиши.
 - Что писать? – осведомился Омнепотенский.
 - Приноси: я скажу тогда. Пойди-ка сюда в уголок!
 - Вот что напишешь, – заговорил он на ухо Омнепотенскому. – Все, что видел и что слышал от этого Туганова и от попа, все изобрази и пошли.
 - Куда? – осведомился, широко раскрывая от удивления свои глаза, Омнепотенский. Термосёсов ему шепнул.
 - Что вы? Что вы это? – громко заговорил, отчаянно замахав руками, Омнепотенский.
 - Да ведь ты их ненавидишь! – заговорил громко и Термосёсов.
 - Ну так что ж такое!
 - Ну и режь их.
 - Да; но позвольте... я не подлец, чтоб...
 - Что тако-ое? Ты не подлец?.. Так, стало быть, я у тебя выхожу подлец! – азартно вскрикнул Термосёсов.
 - Я этого не сказал... – торопливо заговорил Омнепотенский, – я только сказал...
 - Пошел вон! – перебил его, показывая рукою на двери, Термосёсов.
 - Я только сказал...
 - Пошел вон!
 - Вы меня позвали, а я и сам не хотел идти... вы меня зазвали на лампопó...
 - Да!.. Ну так вот тебе и лампопó! – ответил Термосёсов, давая Омнепотенскому страшнейшую затрецину по затылку.
 - Я говорю, что я не доносчик, – пролепетал в своем полете к двери Омнепотенский.
 - Ладно! Ступай-ка прогуляйся, – сказал вслед ему Термосёсов и запер за ним дверь.
- Смотревший на всю эту сцену Ахилла неудержимо расхохотался.
- Чего это ты? – спросил его, садясь за стол, Термосёсов.
 - Да, брат, уж это лампопó! Могу сказать, что лампопó.
 - Ну а с тобой давай петь.
 - Я петь люблю, – отвечал дьякон.
- Термосёсов чокнулся с Ахиллою рюмками и, сказав “валяй”, – запел на голос солдатской песни:

Николаша – наш отец,

Мы совьем тебе венец.

Мы совьем тебе венец

От своих чистых сердец.

– Ну валяй теперь вместе; – и они пропели второй раз, но Ахилла вместо “чистых сердец” ошибся и сказал: “от своих святых колец”.

– “Сердец”, – крикнул ему гневно Термосёсов.

– Не все равно, колец?

– Каких колец?

– Ну, подлец, – пошутил Ахилла.

– Каких подлец? Ты что это, тоже?.. Как ты это смеешь говорить? А знаешь, я тебя за это... тоже этаким лампопо угощу?

Добродушный Ахилла думал, что Термосёсов с ним шутит и хотел взять и поднять Термосёсова на руки. Но Термосёсов в это самое мгновение неожиданно закатил ему под самое сердце такого бокса, что Ахилла отошел в угол и сказал:

– Ну, однако ж, ты свинья. Я тебе в шутку, а ты за что же дерешься?

– Да ты, скотина, знаешь ли, за кого ты эту песню пел? – гневно спросил Термосёсов.

– Почему я могу это знать? – отвечал весьма резонабельно Ахилла.

– Так вот, вперед знай: это про Некрасова пето “Николаша наш отец” – это про Некрасова песня. А ты, небось, думал черт знает про кого? Ну вот теперь будешь знать, про кого. Хочешь если петь и пить, напиши сейчас, что я тебе стану говорить.

– Да я тебе что же за писарь такой?

– Писарь? Не писарь, а ты говорил, что тебе попова политика осточертела?

– Ну говорил.

– А напишешь штуку, и не будет попа.

– Да ты что же это такое говоришь? – спросил, широко раскрывая глаза, Ахилла.

Он в самом деле ничего не понимал, куда это идет и к чему клонится, и просто душно продолжал:

– Это от лихорадки симпатию пишут, а ты что?

– Что? Вот что, – проговорил Термосёсов, убедясь в несоответственности Ахиллы для его планов, и вдруг, взяв со стола шляпу Ахиллы, бросил ее к порогу.

Ахилла молча посмотрел на Термосёсова и, подойдя к своей шляпе, нагнулся, чтобы поднять ее, но в это же мгновение получил такой оглушительный удар по затылку и толчок в спину, что вылетел за дверь и упал на дорожку.

Подняв голову, он увидел на дверях, из которых его вышвырнули, Термосёсова, который погрозил ему короткою деревянною лопатою, что стояла забытая в беседке, и затем скрылся внутрь беседки и звонко щелкнул за собою задвижку двери.

Термосёсов остался с Данкою наедине. Неудачно заиграв сегодня на Варнаве и Ахилле, он решил утешить себя немедленной удачей в любви. Данка почувствовала это, затрепетала, и на этот раз совершенно недаром.

VIII

Ахилла едва отыскал свою палку, которую вслед за ним вышвырнул ему из беседки Термосёсов. Отыскивая в кустах эту палку, он с тем вместе отыскал здесь и Варнаву, который сидел в отупении под кустом на земле и хлопал посоловевшими и

Божедомы. Николай Семенович Лесков Teskovniko1ai.ru
испуганными глазами.

– А, это ты, брат, здесь, Варнава Васильич! – заговорил к нему ласково дьякон. – Ведь лампопо́-то какое! Ах ты, прах тебя возьми совсем-навсем! Пойдем его вдвоем вздуем сейчас!

– Нет, уж что!.. – протянул кое-как Омнепотенский.

– Отчего?

– Да у меня... смерть болова голит.

– Ну, “болова голит”... Опять начал: “Лимона Ивановна, позвольте мне матреничку”. Иди, – ничего, пройдет голова.

– Нет; что ж это... кулачное право... Я не хочу драться.

– Да что он тебе такое сказал обидное?

– Этого нельзя говорить.

– Отчего же нельзя?

– Нельзя, потому что... вы теперь на него сердиты и вы... можете это рассказать кому-нибудь.

– Ну так что ж? Да, если он чему дрянному тебя учил, так отчего же этого и не рассказать?

– После... худые... худебствия... худые последствия это может иметь, – выговорил наконец Омнепотенский.

В это время, прежде чем Ахилла собрался ответить, в садовую калитку со двора взошел сам акцизный чиновник Бизюкин и, посмотрев на Ахиллу и на Омнепотенского, проговорил:

– Ну, ну, однако, вы, ребята, нарезались.

– Нарезались, – отвечал Ахилла, – да, брат, нарезались, могу сказать.

– Чем это вы? – запытал Бизюкин.

– Лампопо́, брат, нас угощали. Иди туда, в беседку – там еще и на твою долю осталось.

– Осталось? – шутливо переспросил Бизюкин.

– Будет, будет, – на всех хватит.

– А вы, Варнава Васильич, что же все молчите?

– Извините, – отвечал, робко кланяясь Бизюкину, Варнава. – А что?

– Знако́ лицомое, а где вас помнил, не увижу, – заплетая языком, пролепетал Варнава.

– Ну, брат, налимонился, – ответил Бизюкин, хлопнув рукою по плечу Варнаву и непосредственно затем спросил Ахиллу:

– А где же моя жена?

– Жена? А там она, в беседке.

– Что же, ее одну оставили?

– Да на что же мы ей? У них там лампопо́ идет.

– Да что вы помешались все, что ли, на этом лампопо́? У кого, у них? С кем же она

там?

– Она? Да там с ней Термосёсов.

Бизюкин без дальнейших рассуждений с приятной улыбкой на лице отправился к беседке, а Ахилла, нежно обняв рукою за талию Варнаву, повел его вон из сада.

Бизюкин не взошел в беседку, потому что в то самое время, когда он ступил ногой на первую ступеньку, дверь беседки быстро распахнулась и оттуда навстречу ему выскочила Данка, красная, с расширенными зрачками глаз и помятой прической. При виде мужа, она остановилась, закрыла руками лицо и вскрикнула:

– Ах!

– Чего ты, дана? – спросил ее участливо муж.

– Не говори! ничего не говори!.. я все скажу... – пролепетала Данка.

– Ты взволнована.

– Нет, – отвечала она и, быстро сделав пять или шесть шагов до первой скамейки, опустила и села.

В эту минуту из беседки вышел Термосёсов. Он, нимало не смущаясь, протянул Бизюкину обе руки и сказал:

– Здорово! Какой ты молодчина стал и как устроился! Хвалю! весьма хвалю! А более всего знаешь, что хвалю и что должен похвалить? Отгадай? Жену твою я хвалю! Это, брат, просто прелесть, супер, манифик и экселян! [27]

– Скажи, пожалуй, как она тебе понравилась! – весело проговорил Бизюкин, пожимая руку Термосёсова.

Термосёсов поцеловал кончики своих пальцев и добавил:

– Да, брат, уж это истинно: “Такая барыня не вздор в наш век болезненный и хилый”.

– Дана, послушай, пожалуйста, как он тебя хвалит, – взывал к жене Бизюкин. – Слышишь, Данушка, он от тебя без ума, а ты... чего ты так?..

Он посмотрел на жену повнимательнее и заметил, что она тупит вниз глаза и словно грибов в траве высматривает. Она теперь хотя была уж вовсе и не так расстроена, как минуту тому назад, но все-таки ее еще одолевало смущение. Заметив, однако, что на нее смотрят, она поправилась, поободрилась и хоть не смела взглянуть на Термосёсова, но все-таки отвечала мужу:

– Я ничего. Что ты на меня сочиняешь?

– А ничего, так и давай пить чай. Я бы с дороги охотно напился.

Бизюкин, Термосёсов и Данка отправились в дом с тем, чтобы заказать себе утренний чай, и хотели прихватить с собою Ахиллу и Омнепотенского, о которых им напомнил Термосёсов и которых тот же Термосёсов тщательно старался отыскивать по саду, но ни Ахиллы, ни Омнепотенского в саду не оказалось, и Бизюкин, заглянувши из калитки на улицу, увидел, что дьякон и учитель быстро подходят к повороту и притом идут так дружелюбно, как они, по их отношениям друг с другом, давно не ходили.

Ахилла все вел под руку сильно покачивавшегося Омнепотенского и даже поправил ему на голове своей рукою сбившуюся шапку.

Так он его бережно доставил домой и сдал его с рук на руки его удивленной матери, а сам отправился домой, сел у открытого окна и, разбудив свою служащую Эсперансу, велел ей прикладывать себе на образовавшуюся опухоль на затылке медные пятаки. Пятаков уложилось целых пять штук.

– Вот оно! Ишь, какая выросла! – проговорил Ахилла.

– Даже и шесть, отец дьякон, уложатся, – отвечала Эсперанса.

– Ну вот! Даже и шесть!

– Ах, ты этакая чертова нация, – подумал, относясь к Термосёсову, дьякон. – Это ежели он с первого раза в первый день здесь такие лампы нам закатывает, то что же из него будет, как он оглядится, да силу возьмет?

И Ахилла задумался.

Данка же помочила одеколоном виски и через полчаса взошла совсем свободная в зал и села поить чаем запоздавшего домой мужа и поспешного Термосёсова.

IX

Из всех наших старогородских знакомых на другой день проснулась в хорошем расположении духа одна почтмейстерша. Остальные все чувствовали себя не по себе после порохонцевского пира. Не говоря об Ахилле и Омнепотенском, которые, вспомнив о вчерашнем термосесовском лампопó, опять ложились в подушки, – все находились не в своих тарелках: городничий кропотался, что просто невозможно стало гостей позвать, что сейчас не веселье, а споры да вздоры про политику; городничиха упорно молчала; Дарьянов супился; Бизюкин был недоволен, что у него в доме Термосёсов; Борноволоков встал и, взглянув на Термосёсова, только спросил себя: “Господи! да когда же его возьмут? Когда же это кончится?” Он мысленно соображал, как пойдет, едва ли дойдет его письмо, – может быть, и не дойдет... Да если и дойдет письмо... сколько еще процедур – пока Термосёсову добудут место?... Старый Кавкевич станет упираться, – ему уж надоели с определениями... Жена, конечно, поставит на своем; но сколько на все это пройдет времени! Сколько времени... А он тут, на моей шее...

Судья был в самом тяжелом состоянии.

Соснувшая на заре Данка встала тоже левой ногою и ни за что не решалась выходить в залу. Смелость ее, которую она кое-как собрала при приезде мужа, теперь опять совсем ее оставила.

Она упорно держалась своей спальни и других задних апартаментов, и хотя знала, что нужно же ей будет выйти, но ожидала, пока случай поможет ей сделать это как-нибудь случайно. С Термосёсовым же она вовсе бы не хотела встречаться или по крайней мере не хотела встречаться с ним с глазу на глаз. При воспоминании о Термосёсове лицо Данки покрывалось все сплошь ярким румянцем; она закусывала сердито губку, топала ножкой и вдруг, нетерпеливо плюнув, бросалась отчаянно в кресла и горько-прегорько плакала никому не зримыми слезами.

Она хотела бы переменить себе другое тело, как платье, и... это было невозможно! А к тому же она, вероятно, там, в беседке, потеряла большую материнскую бриллиантовую брошь, стоящую по меньшей мере шестьсот или семьсот рублей, но в беседке ее не нашли. Где же искать ее и как она могла выпасть?

Ей было жалко этой вещи, и это ей шло во спасение: сожаление об этих бриллиантах избавляло ее от страдания о другой более ценной погибшей драгоценности.

Судья до полудня провел время в своей комнате, потом пошел с Бизюкиным посмотреть город и сделать кое-кому визиты. Андрей Иванович Термосёсов чувствовал некоторую головную боль. Это было не столько от вчерашней выпивки, сколько от всей совокупности впечатлений вчерашнего дня. Но Термосёсов не обращал внимания на эту боль и не нежился, а вставши немедленно, взялся за работу. Он приступил к разбору своего чемодана и небольшого тарантасного ящичка, в котором было уложено принадлежащее ему имущество. Здесь было белье, платье, судебные уставы, две пачки бумаг, кипы всяческих фотографий и фотографическая камера, и несколько склянок с химическими препаратами, нужными для фотографических работ.

Термосёсов отобрал из своей фотографической коллекции несколько фотографических карточек Императорской фамилии, почистил те из них, которые были запылены, ножичком и булкой и потом связал их ниткой в особую пачку и, положив на стол, взялся за другое дело. Он достал большой лист почтовой бумаги, разложил его на столе, запер на крючок дверь в кабинет, где был теперь в отсутствие

Божедомы. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru

Борноволокова один, и начал писать: “Дорогой Александр Петрович, – писал он, – уведомя тебя, дружище, что я нахожусь теперь в Старом Городе N-ской губернии и вижу, брат, как Гоголь рассказывает, одни свиные рыла. Пиши мне сюда почаще и попроси редактора Степку, чтоб выслал мне сюда газету. А я вам буду постоянно изображать здешнее общество. Несмотря на то, что я здесь еще новичок, но я могу начать это дело немедленно же, потому что здесь в этом обществе, между дураков и скотов всяческого рода, я встретил одну прекрасную барыню: это здешняя почтмейстерша. Женщина ума громадного и превосходных практических взглядов на жизнь. Я надеюсь, что с ее помощью я буду в состоянии давать вашим читателям интереснейшие очерки уездной жизни. Я еще не сошелся с г-жой Тимановой (так зовут почтмейстершу); но постараюсь снискать ее расположение и употреблю для этого все, ибо она всего стоит. Чудо, братец, женщина, и лицо у нее (хоть она и не первой молодости), но это лицо говорит за нее, что это за женщина. А впрочем, у нее есть две дочери. Одна из них настоящая мать, да и другая, верно, будет не хуже. Кто, брат, знает, чем для меня может кончиться сближение с этим семейством, к которому меня так сразу потянуло?.. Может быть, придется пропеть: ты прости-прощай, моя волюшка? Не осуждай, брат, а лучше, если будешь ехать домой, зайти и сам сюда хоть на недельку! Кто, брат, знает, что и с тобой будет, как увидишь? – Одному ведь тоже жить нерадостно, а тем паче теперь, когда мы с тобой в хлебе насущном обеспечены, да еще и людям помогать можем.

Почтмейстершу нашу, я тебе сказал, зовут Тиманова. Я тебе пришлю ее карточку. Каково тут будет наше положение, не знаю, и не знаю, как устроить, чтобы знать, как тут об нас будут думать. Верно, и про нас отсюда будут строчить Аксаковым и Катковым или в “Голос”, – а тут всякую строку принимают за наличную монету. И кстати, о “Голосе”. – Что это за каналья Петр Пантелеев! Я ему месяц тому назад послал две статьи – обе неподписанные: одна моя называется: “Губернские перипетии” (рассказываю, как Катков с своей катковщиной вводит повсеместный раздор, но с русским оттенком это), а другая губернского цензора Баллаша – “Туры и траншеи нашего земства”. Эта побивает земство. Цензор Баллаш – превосходнейший человек: просто, как сказочный Лукопер, стоит у леса и сторожит, что ни зверь мимо его не прорыскнет, ни птица не пролетит. Я назначил его статью в “Отечественные записки”, а свою в “Голос”; но если Краевский захочет переменить – пусть переменит: мою можно в “Отечественные записки”, а Баллаша в “Голос”. Ему все равно: абы деньги. Пожалуйста, дорожите вы хоть цензорами-то хорошенько, – он тут две не подходящие времени брошюродки уже вывел в расход до выхода, но надо и вперед глядеть в оба неустанно. Отстаивайте, отстаивайте, господа, настоящие порядки, при других бо при всяких нас гибель ждет. Верьте Андрею Термосёсову и бойтесь прогресса. Скажи, пожалуйста, Степке, что он за редактор, что я у него до сих пор газеты не допрошусь. Пусть тоже Тимановой вышлет. Просто: в Старый Город г-же Тимановой. Больше ничего не надо. живи! – До первой корреспонденции. Я тебе, верно, скоро опять буду писать, потому что я очерк задумал сделать из Тимановой. Это вам будет тип совершенно новый и благодарный. живи еще раз! Твой Термосёсов”.

Надписав конверт, Термосёсов погнул его между двумя пальцами и, убедаясь, что таким образом можно прочесть слова вроде: “Тиманова, газета” и т. п., взял перо и заадресовал письмо какому-то Александру Готовцеву, в редакцию одной из маленьких петербургских газет.

Затем Андрей Иванович сел за другое письмо. В начале этого письма он поместил превосходительный титул, а дальше излагал следующее: “И здесь в этом далеком Старом Городе состояние умов столь же неблагоприятно и небезопасно, как и в губернском городе. И здесь, как и там, среди ограниченных и неразвитых людей, из каких состоит масса, заметно присутствие лиц крайне беспокойных. Люди эти – патриотические фанатики, склонные видеть в администрации чуждые их духу начала и вследствие того враждебно относящиеся ко всем умиротворяющим заботам администрации. Это люди точно такие же, на каких я имел честь указывать Вашему Превосходительству в прежних своих обозрениях в губернском городе. Все они увлечены и, сами того не сознавая, проникнуты тем же самым духом социализма и демократизма, которые у их московских вождей замаскированы патриотическими чувствами. Даже здесь люди эти, не сдерживаемые близким присутствием вашей власти и влияния, гораздо смелее и гораздо вреднее, чем те, которые жили с подобными мнениями в губернском городе до удаления их оттуда. Это и весьма понятно, так как здесь эти фанатики в своих поступках совершенно свободны, за неимением за ними по захолустьям надзора людей преданных и верных правительству и понимающих просвещенные цели администрации, держащейся европейских начал. Ввиду этого ни учреждение жандармских наблюдательных постов по уездам, ни

Божедомы. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru

учреждение частных и негласных миссий с той же задачей не представляются нимало не лишними, а напротив, совершенно необходимыми. (Хотя опять смею думать, что негласные обозреватели гораздо полезнее, чем жандармы, которых мундир и звание служат предостережениями против них и импонируют их назначению.)

Комплот демократических социалистов, маскирующихся патриотизмом, группируется из чрезвычайно разнообразных элементов, и что всего вредоноснее, так это то, что в этом комплоте уже в значительной степени участвует духовенство, – элемент, чрезвычайно близкий к народу и потому самый опасный. Промахи либерализма здесь безмерны и неисчислимы. Скажу одно, что с тех пор, как некоторым газетам дозволено было истолковать значение, какое имело галицкое духовенство в борьбе с правительством Австрии за русскую народность, наши попы начинают обезьянничать и видимо стремятся подражать галицким духовным. Они уже тоже считают свою задачу не одно исполнение церковных треб, но числят по своему департаменту и стояние за русскую народность, – все лезут в Поппели, да в Яковы Федоровичи Головацкие. Но Австрия имеет помойную яму, куда может спускать эти закислые духовные дрожжи, – она своих Поппелей и Головацких отпускает в Россию, а Россия куда будет сплавлять своих Туберозовых? (Это здешний протопоп, о котором я должен нечто сообщить Вам.)

Старогородский протопоп Савелий Туберозов, человек, который уже не однажды обращал на себя внимание начальства своим строптивым и дерзким характером и вредным образом мыслей. Он был уже не раз воздерживаем от своих непозволительных действий, но, однако, воздерживается весьма мало или, лучше сказать, воздерживается только лишь в той мере, чтобы отвлечь от себя внимание, а в сущности, полон всяких революционных начал.

Не хочу предрешать, сколько он может быть вреден целям правительства, но полагаю, что вред, который он может принести, а частью уже и приносит, велик бесконечно. Протопоп Туберозов пользуется здесь большим уважением у всего города, и должно сознаться, что он владеет несомненным умом, склонным к осуждению, и смелостью, которая доходит у него до бесстрашия. Такой человек должен бы быть во всех своих действиях ограничен как можно строже, а он между тем говорит обо всем, нимало не стесняясь, и вдобавок еще пользуется правом говорить всенародно в церкви. Надо смотреть, чтобы налой проповедника при таких людях не был когда-нибудь обращен в кафедру агитатора, осуждающего и возбуждающего.

Этот духовный элемент, столь близкий к народу, с другой стороны, видимо сблизается и с поместным дворянством. Так, например, этот подозрительный протопоп Туберозов пользуется горячим покровительством того самого Туганова, личность и взгляды которого столь вам неизвестны. Г. Туганов вчера был здесь на вечере у здешнего городничего, говорил что “от него застыт солнце”, намекая этим на лиц, стоящих между народом и монархом, и на общество это все имело большое влияние; а наконец, он сказал даже, что он человек земский, а вы изволите быть “калиф на час”. Да и кроме того, когда ему здешний учитель Омнепотенский, человек совершенно глупый, но вполне благонадежный, сказал, что все мы не можем отвечать: чем и как Россия управляется? – то он с наглою циничностью отвечал смело: “Я, говорит, в этом случае питаю большое доверие к словам екатерининского Панина, который сказал, что “Россия управляется мудростью Божиею и глупостью народною””. Такие выражения в устах человека, который называет себя “первым земским лицом”, разумеется, производят огромное влияние и делаются паролем и лозунгом невежественных поборников квасного русского патриотизма.

Сегодня я был нарочно в шести домах и везде слышал, как повторялись эти слова Туганова, и даже, заставив себя зайти в весьма грязный трактир – слышал, что и там какой-то приказный рассказывал буфетчику, что Россия управляется “мудростью Божиею и глупостью народа”. И оба эти темные, может быть и честные, и невинные люди, очень этому смеялись. Таким образом, как изволите видеть, вредное послабление, оказанное литературе, и излишняя терпимость со стороны правительства вызывает явление небывалое и непредвиденное: теперь нет более никакого сомнения, что происходит на деле объединение сословий во имя одной идеи народности; и рядом с этим презрительное отвержение всеми чиновничества, столь усердно служащего опорой административной власти.

Вашего превосходительства всепокорнейший слуга

А. Термосёсов.

Р. С. Обозрения мои я буду доставлять еженедельно известным Вашему превосходительству путем. – В отношении попа Туберозова немедленно же попробую применить везде столь успешно действующий “раздражающий метод”. Надеюсь, что при его характере это пойдет весьма успешно, и он незаметно скатится в яму, которую рыл ближнему. Для отвода глаз все мои действия будут иметь вид служения женщине, – здешней чиновнице Бизюкиной, которая ненавидит Туберозова. – Но... Ваше превосходительство... Хоть двадцать, хоть тридцать рублей в месяц мне совершенно необходимы. Я требую не за службу мою вознаграждения, а Вы сами изволите знать, что для обозрений моих я должен видеть людей; должен иногда принять и угостить человека: чем же я это все могу сделать, находясь постоянно без гроша?”

Х

Дописав это письмо, Термосёсов откинулся на стуле назад от стола и, посидев в таком положении со сложенными на груди руками, проговорил в себе: “О аристократы! аристократы! По шерсти вам дана эта и кличка на Руси – чуть с ними дело дошло до денег, так ори стократ им, – ничего не слышат. Тьфу! Из чести служи им!.. Велика честь, нечего сказать... И главное, как будто сами из чести умеют служить? – Нет; себя-то небось отлично помнят; а тут... Ведь на это же наконец специальные суммы есть! Кому же эти суммы идут? Кто их берет, черт возьми?.. Нет, вижу, плоха и на этих надежда! – решил, вздохнув и почесав себя по груди, Термосёсов. – Если на них одних положиться, да им одним работать, тоже на бобах сядешь”.

Андрей Иванович еще раз вздохнул и, придвинувшись к столу, начал тщательно переписывать свое “обозрение”, потом сложил тонкий листок вчетверо и, разделив ножом одну полу переплета старой довольно замасленной книги из губернской библиотеки форштанникова, вложил свое сочинение в этот разрез; опять заклеил его клейком и запачкал чернилом так, что ничей глаз не открыл бы, что здесь что-то положено. Окончив эту часть своей работы, Термосёсов взял холщевый мешок, всунул в него книгу, запечатал, надписал адрес библиотеки форштанникова и начал одеваться. Через десять минут Данка, выглянув украдкой из окна, видела, как Термосёсов, бодрый и сильный, шел по улице с посылкой в руках.

Термосёсов держал путь прямо к почте. Он зашел сначала в контору, подал здесь письмо и зашитую в холст книгу, заплатил деньги и потом непосредственно отправился к почтмейстерше.

Тиманова была твердо уверена, что Термосёсов придет к ней, и сама его ожидала. Она встретила его посреди залы и сказала:

– Благодарю, вас, Андрей Иваныч, бесконечно вас благодарю за ваше внимание.

– Мне вас надо благодарить, – ответил Термосёсов, – такая скука. Даже всю ночь не спал от страха, где я и с кем я?

– Да. Она такая невнимательная, Дарья Николавна, то есть не невнимательная, а не хозяйка. Она читает больше... Я думаю, вам там неудобно?

– Нет, не то, – отвечал Термосёсов. – А знаете, раздумье берет. Вчера всех ваших посмотрел и послушал... Ну людцы, нечего сказать!

– Да, тут есть над чем пораздуматься, – протянула почтмейстерша.

– Я вам говорю – просто ужас. Мне, разумеется, что ж... я ведь служу, собственно, не очень из-за денег. Я, разумеется, человек небогатый, но у меня есть кое-какие связи, и я мог бы устроиться и в столице.

– Ну, какое сравнение? В столице...

– Да-с, но ведь нужно же кому-нибудь, однако, и сюда-то заезжать. Что ж ведь мы всё пишем да рассматриваем, а все, все и держимся одного Петербурга. Конечно, нам-то там хорошо, ну а здесь-то три столетия все и будет так стоять.

– Немногие так рассуждают, – отвечала Тиманова, усаживая гостя на почетное место.

– Нет-с, нынче уж довольно многие так думают.

– Ну, у нас вы первый. Я говорю дочерям вчера, когда мы пришли домой... я говорю, вот, Дуняша, молодой человек... похоже это на тех молодых людей, какие бывают у нас?

– Ну, да ведь вы меня еще совсем почти не знаете, – отвечал с застенчивостью Термосёсов.

– Ну да ведь есть же какая-нибудь опытность, своя опытность – я уж пожила.

– Да, но вы не относитесь враждебно к молодежи.

– К молодежи? Боже меня спаси: молодежь – наша надежда.

– Дайте мне вашу руку. – На молодежь подлецы клеветают, – сказал он.

– Пусть себе их сколько угодно клеветают. Я знаю, что мне с молодым человеком всегда весело. Я говорю вчера дочерям, когда мы пришли: Дуня, Саша, заметили вы время, как мы прошли от Порохонцевой с господином Термосёсовым? – Они говорят: “ах, мама, нам прескучно было с этим дьяконом”, – а я говорю: а я просто минуты не заметила с господином Термосёсовым. – Дуня говорит: “я вам завидую, мамаша”, а я говорю: подожди, мой друг, ты еще молода, чтобы с тобой говорить господину Термосёсову, потому что у вас, право... все такое высокое.

– Что вы это! – остановил ее Термосёсов, – а я напротив, я вашу дочь... Это старшая Дуня?

– Нет младшая, старшая Саша.

– Это которая на вас похожа – Саша?

– Да. Находят некоторые, что она имеет со мною сходство. Саша простая девочка, еще ребенок.

– Ну нет-с, я с вами в этом не согласен. Это не простая девочка... это лицо... Помилуйте: это не ребенок смотрит. Я вам признаюсь – я ужасно люблю хорошие лица.

Термосёсов чувствовал, что уж он врет очень не в меру и может таким образом провратиться, что она грехоподобная гадость, и сейчас же поправился:

– То есть я говорю, что люблю не этикие... знаете, есть красивые лица, да ничего они не выражают: бело, да красно, да румяно. Очи небесные, да брови дугою, да наконец... – он оглянулся кругом. – Ваших дочерей здесь нет?

– Нет. Они еще... не... не одеты, но не думайте, что они спят, – подхватила она, – я их веду очень просто... Они у меня теперь хозяйничают.

– Да это и всего лучше, я вам скажу, – и Термосёсов, принагнувшись немного к почтмейстерше, добавил:

– Знаете, что такое красота? – Красота у нас в Петербурге... по десяти рублей продается.

– Да, красота, – заговорила <Тиманова>, потупляя глаза и теребя между пальцами кисточку гарусной салфетки. – Красота без строгих правил нравственности – это приманка без удочки. Ходит окунек по водице, увидал червяка – хап, хватил его и пошел прочь.

– И пошел прочь, – подтвердил Термосёсов.

– И поминай как звали, – вздохнув, закончила почтмейстерша.

– И поминай как звали, – опять закрепил Термосёсов. – Я скажу вам, я сегодня немножко вставши расфантазировался по этому случаю и написал письмецо в Петербург. Там у меня есть один приятель. Мы с ним делимся нашими соображениями... Дельный парень и занимает отличное место и в душе человек.

– Что редкость в наше время, – сказала почтмейстерша.

– Большая даже-с редкость. Я ему написал, извините меня... Да, это, впрочем, для вас все равно. Я написал, как мне представилось все здешнее общество и, простите, упомянул о вас и о вашей дочери... Так, знаете... немножко, вскользь, но ему приятно это и с пользой... Он литератор, и когда мы расставались, он все приставал ко мне: “Портретов, Андрей! Ради бога, портретов!”, – но где вы с кого напишите портрет? Разве карикатуру, другое дело; но наконец... Я так и написал: “Наконец, братец, встретилось и исключение: вот тебе и портреты!” Луч в темном царстве, как говорил Добролюбов. Что ж! Ошибусь или не ошибусь, но во всяком случае и увлекаться не только приятно; но даже и полезно. А то замрешь.

– Нет, мосьё Термосёсов, я, конечно, могу вас только благодарить за вашу любезность и внимание, которое мы ничем не заслужили. Но вместе с тем все-таки могу вас уверить, что в нас, в нашем семействе... в моих дочерях и во мне вы не ошибетесь.

– Уверен, уверен-с, – отвечал Термосёсов.

Почтмейстерша продолжала разбирать пальцами бахромочку и, как бы собираясь сказать что-то очень веское, улыбалась, глядя на салфетку.

Термосёсов впился в нее острым, пронизательным взглядом и, не сводя с нее глаз, сказал:

– Я очень глупо доверчив – это глупо, но я уж такой человек; но на этот раз моя доверчивость больше основана на разуме и на влечении сердца. Я вот вам доверяю, не знаю почему? Но вот так, к вам душа моя лежит, словно я вот чувствую, что вы хорошо ко мне относитесь. Что вы, как мать, жалея меня на чужбине, спасли бы меня от всякой беды, предупредили бы от всякого зла.

– Можете ли вы в этом и сомневаться?

– Да, я так и думал.

– И вы не ошиблись.

– Да?

– Да.

Почтмейстерша встала, шепнула Термосёсову “посидите” и вышла.

Оставшись один, Термосёсов встал, подошел к окну и, надув свою губу, задумал: “О, да подлец же какой эта баба: на благодарность жива. С нею надо камня из-за пазухи не выпускать!”

XI

Оставив Термосёсова, почтмейстерша прямо прошла коридором в контору и, вызвав к себе мужа, сказала тоном, не допускающим возражения:

– Что здесь отправил новый чиновник?

– Да ведь я тебе уже отдал письмо нового судьи, – отвечал почтмейстер.

– Не судья, а что Термосёсов подавал?

Почтмейстер вернулся к столу, где лежало письмо и книга, поданные Термосёсовым, и подал обе эти вещи жене..

– Книгу посылайте, – сказала, прочитав адрес, почтмейстерша, а с письмом скорым шагом ушла в свою комнату. Здесь она быстро распечатала известное нам письмо Термосёсова к его товарищу Готовцеву, прочитала его с несомненным удовольствием и, отослав с девушкой назад к мужу, вынула из своего туалета другое знакомое нам письмо – письмо судьи Борноволокова. С этим она возвратилась в гостиную к Термосёсову.

Когда почтмейстерша взошла, Термосёсов по-прежнему стоял у окна и при звуке

Божедомы. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru
шагов взошедшей хозяйки молча обернулся. Она также молча вынула из кармана борноволокновское письмо и подала его с строгим видом Термосёсову.

Термосёсов письмо взял, но ожидал пояснения, что ему с этим письмом делать?

– Смело, смело читайте, сюда никто не взойдет, – проговорила ему хозяйка.

Термосёсов прочел письмо своего начальника очень спокойно, не дрогнув ни одним мускулом, и, окончив чтение, – молча же возвратил его почтмейстерше.

– Узнаете вы своего друга?

– Я от него всегда ожидал этого, – отвечал Термосёсов.

– Я признаюсь, – заговорила почтмейстерша, вертя с угла на угол возвращенное ей письмо, – я потому изумилась... Я никогда этого не делаю, но вчера, когда я вернулась после знакомства с вами, коровница говорит: “Барыня! какой-то незнакомый барин бросил письмо в ящик!” – Я говорю: зачем в ящик? – У нас, знаете, этого не водится: у нас всё в руки письма подают. – Э, – сказала я себе: это – анекдот! Это непременно какая-нибудь подлость, потому что честный человек не станет таиться с письмом и бросать его в ящик, а прямо в руки его отдаст, и не поверите, как и почему?.. просто по какому-то предчувствию говорю: нет, я чувствую, что это непременно угрожает чем-то этому молодому человеку, которого я... полюбила как сына.

Термосёсов подал почтмейстерше руку и подумав: “Э, да была не была!” взял да и поцаловал ее.

– Право, – заговорила почтмейстерша не только со слезами умиления в голосе, но и с непритворными нервными слезами на глазах. – Право... Я говорю, что ж! Он здесь один... я его люблю как сына; я в этом не ошибаюсь, и слава Богу, что я это прочитала.

– Возьмите его, – продолжала она, протягивая письмо Термосёсову, – возьмите и уничтожьте.

– Уничтожить? Зачем? Нет; пусть его идет куда послано.

Термосёсов сразу сообразил, что хотя это письмо и нелестно для его чести, в результате весьма для него небезвыгодно.

Почтмейстерша никак не ожидала от Термосёсова такого ответа и была очень изумлена им.

– Я вас не понимаю, – проговорила она. – Зачем же вы хотите послать на себя такую черную клевету?

– А вот я вам это сейчас разъясню, и вы это будете понимать. Вам ведь немного нужно говорить, чтоб вы поняли: видите: это еще пока цветочки...

– Да, я вас теперь понимаю, – перебила почтмейстерша.

– Конечно! Если это письмо не получится, он будет подозревать, а пусть его себе расписывает, думая, что мы ничего не знаем.

– Ведь даже сам принес, – внушительно наябедничала почтмейстерша.

– Подлец! – отвечал Термосёсов. – Я его давно знаю!.. Ничего, пусть пишет! Пусть все пишут! Пусть что хотят пишут! А мы будем знать, что они пишут.

– В этом вы, конечно, можете быть всегда уверены.

– Ну, вот это и все, что нужно. Так, значит, союз? Вы меня не дадите обидеть?

– Насколько могу и насколько в силах! – отвечала с чувством почтмейстерша. – А вы, – добавила она, заметив, что Термосёсов берет за свою кепи, – а вы там... берегитесь... Бизюкиной.

– А что она... болтушка?

– Она и болтунья, и женщина очень безнравственная.

– Знаю-с! Это-то я отлично знаю, – отвечал Термосёсов, – Ну, она на меня болтать не будет.

Почтмейстерша посмотрела в самодовольное лицо Термосёсова и сказала:

– Так!

– Да-с; не будет, – отвечал Термосёсов.

– Однако скоро! – проговорила, улыбаясь и покачав головой, почтмейстерша. – Ах, нынешние женщины! женщины! Но ведь на их и расположенность-то долго рассчитывать невозможно. И потом, я вам скажу – у нее есть прескверный роман с Омнепотенским.

– Да черт с нею; стоит о ком говорить. Пусть у нее хоть с целым миром романы идут. Мы с вами будем знать себя.

– Ах, мой милый Андрей Иванович, – здесь живучи, нельзя знать “одних себя”. Тут... тут ад ведь, а не жизнь, и каждый друг друга хочет унижить.

Термосёсов, прочитав на лице хозяйки, что ей хотелось этим словами выразить, сказал:

– Да, разумеется, посчитаемся и переведаемся и с другими.

– Им постоянно надо давать себя чувствовать.

– И дадим-с. А вы, – добавил он, приостановясь, – скажите-ка мне откровенно – из всех вчерашних людей, кого мы там видели... Кто из них наиболее-то вам неприятен?

– Ах? Мне? если вам говорить откровенно, – мне они все неприятны. Я живу совсем уединенно. Одна сама с собою и со своими детьми... Мой муж, дети мои и я, ничего другого и знать не желаю.

– Верю-с, – отвечал Термосёсов. – Я не о том и говорю, кто приятен, а о том, кто особенно неприятен. Извините, что я так говорю прямо. Я люблю прямо дело ставить, на прямую ногу. Какого вы, например, мнения о протопопе Туберозове?

– Да что же: такой же, такой же, как и все другие: надменный старичишка и дерзкий.

– Дерзкий?

– О-о-о! даже и очень дерзкий и вредный.

– Да что же он может сделать?

– Ну знаете... есть пословица: “всякий бестия на своем месте”... Он мешается во все дела; с поучениями лезет и всегда самые обидные вещи говорит.

– Ну вот, видите, – проговорил Термосёсов. – Я уж это не от первых вас слышу, что это вредная дрянь, но никто не умел мне как следует рассказать: чем именно он вреден?

– Да вы кого же о нем спрашивали? Бизюкину?

– Да, и ее и Омнепотенского.

– Ну, – много они понимают! И потом, он их личный враг, – им много верить невозможно; но а я... Мне все равно: мне что ни поп, тот и батька. Говори он о богомоленях, о постах, я ему это даже и в заслугу бы ставила, но нет... Он всегда заведет: “высокие нравы, да высокие характеры, мужество да доблесть” и всегда с укоризнами, с намеками... Вообще, он самый-самый беспокойный и неприятный у нас человек. Он пятнадцать лет был моим духовным отцом, но я его в прошлом году переменяла. Вы можете себе представить, как это тяжело.

– Еще бы!

– Пятнадцать кряду лет открывать свою душу одному и вдруг переменить и взять другого. Но с ним решительно невозможно было дальше!

– А что? – спросил Термосёсов.

– Да так... неприятный этакий... во все мешается, всё советы свои, наставления... Мой муж... Вы его еще не знаете – я не совсем счастлива в супружестве. Я не могу, конечно, пожаловаться на непочтительность моего мужа, но я должна была многое, многое сама делать, чтоб как-нибудь его вывести... Вы знаете, как это женщине нелегко: тут и осуждения, и рассуждения: зачем баба за мужские дела берется...

– И этот протопоп тоже?

– Да о нем-то я уж не хочу и говорить! Что на духу сказано, то по нашей религии повторяться не должно, но у него всегда такие рацеи на языке – намеки разные глупые и оскорбительные. Пardon: “Не люблю, – говорит, – я, когда бабы на себя мужские штаны надевают. Нет в том доме проку”. Понимаете, это ведь очень ясно мне – в чей огород камешки летят.

– Экая скотина, – воскликнул насчет Туберозова Термосёсов.

– И так и всё у него, – заключила почтмейстерша. – Оттого, если хотите, кто, по-моему, самый неприятный человек в городе есть – это и есть он, Туберозов.

– И вы были бы рады, если б его этак, – Термосёсов показал рукою, как обыкновенно показывают “посечь”.

Почтмейстерша недоумевала.

– Похворостинить немножко, – пояснил Термосёсов, повторив при этом снова свой выразительный жест. – Поунять.

– О! знаете... Он был мой духовный отец, и мне, может быть, не следовало бы этого говорить, но скажу, что это было бы прекрасно. Он уже вчера и о вас рассуждал, когда вами все так заинтересовались... Дарьянов – это тоже у нас этакой фендрик: на шее креста нет, а табакерка серебряная. Дарьянов говорит про вас: “Есть на кого, – говорит, – обращать внимание”. А Туберозов морду надул и себе: “Писарь, – говорит, – как писать, и больше ничего”.

– Дураки! – беззлобиво произнес Термосёсов. – Писарь! Только про меня можно и сказать, что я писарь. Гм! Ну и прекрасно! Нет, – воскликнул, вдруг вспрянув с места и стукнув по столу кулаком, Термосёсов. – Нет! Мне вся предана суть не урядами, а отцом моим, который слепил вот эту голову, – Термосёсов указал на свой лоб и добавил: – Эту голову отец, слепивши, сказал: сей идет в мир нищ, но се, тот его же не оплетеш. Увидим, мой друг! – заключил он, протянувши хозяйке на прощанье руку. – Увидим, увидим, и они увидят, кто такой Андрей Термосёсов.

С этим Термосёсов распротился с напуганной несколько его экзальтацией хозяйкой и вышел на улицу. Пройдя половину пути к бизюкинскому дому, он остановился на пригорке, с которого мог осмотреть весь город, надул губу и, поразмыслив с минуту, сказал:

– Ну что ж, пора и начинать. Сделаем, что можно здесь, а там и в Польшу... Так вы, милейший Борноволок, меня в Польшу ссылаете. Ничего, хлопчите за меня, хлопчите; я люблю, чтобы за меня хлопотали, а там уж и я об вас похлопочу.

XII

Возвратясь в дом Бизюкиных, Термосёсов не застал дома ни самого хозяина, ни Борноволок. Они еще не возвратились со своих визитов. Дома была одна Данка, да и та сидела запершись в своей комнате. Термосёсов осведомился от Ермошки о месте, в котором заключилась барыня, и направился прямо через залу в гостиную к запертой двери хозяйкиной спальни.

Термосёсов понимал, что Данка конфузится встретиться с ним после вчерашнего пассажа в беседке. Он знал, что в таком случае мужчине надо облегчить женщине ее

Божедомы. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru
встречу. Он знал, что Данку нужно ободрить, дать ей реванш, и, подойдя смелым и твердым шагом к ее спальне, стукнул рукой в дверь и заговорил шутливым тоном:

Отворите мне темницу
И дайте мне сиянье дня.

– Слышите, Дарья Николавна? – повернул он на вы.

Дарья, услышав голос Термосёсова, встала и подошла неровными шагами к двери, но остановилась.

Термосёсов еще один раз возобновил свое требование, и дверь тихо и нерешительно приотворилась робкой рукой Данки. Термосёсов сейчас же взял ее за эту руку и шепотом проговорил ей:

– Ну что же, wie geht's?[28] как же наше здоровье?

– Ничего, – ответила Данка. И тихо кашлянула и застенчиво отвернулась от испытующего термосёсовского взгляда.

– Чего же ты вертишься-то? – заговорил он, неожиданно взяв ее рукою за подбородок.

С этим он повернул ее к себе лицом, поцаловал и сказал:

– Какие вы все чудихи, и все на один покрой. Сами себя выдаете всегда. Я, ей-Богу, вчера при муже твоём думал, что он непременно по тебе что-нибудь заметит. И вертелась, и краснела, и глаза этакие встревоженные. Пройдет, брат, ничего. Комар укусил, и ничего больше. Ничто же сотвори, да и шабаш! А мне тебе дело есть большое сказать.

Он посадил Данку на диван и сам сел около нее, обняв ее за талию.

Данка вспыхнула и, вырываясь от Термосёсова, проговорила:

– Сделайте милость!.. Я не понимаю такого поведения.

– Какого это? – грубо спросил, оставляя ее, Термосёсов.

– Такого, как ваше.

– Ты, кажется, своего-то прежде всего не понимаешь, – ответил Термосёсов.

– Зачем вчера были приглашены сюда и этот дьякон, и Омнепотенский? – краснея и с запальчивостью спросила Данка. – Вы, кажется, хотите нарочно меня компрометировать.

– Компрометировать? Очень мне нужно! Зачем же бы это мне тебя компрометировать?

– Я не знаю, зачем это делают мужчины! чтоб умножать в глазах людей число своих побед над женщинами.

– Ну да. Есть чем хвалиться!

– Ну так расскажите мне, зачем все это было сделано? Зачем был взят сюда и дьякон, и Омнепотенский?

– А вот затем именно, чтоб тебя не компрометировать! Затем, чтоб мне не одному с тобой идти было ночью; затем, чтоб не одной тебе было идти в сад со мною. Затем вообще, что меня пустым мешком по голове не били. Я знаю, как надо дела делать, и так и сделал, как надо было делать. Ты знаешь, как я сделал?

Чувство стыдливости не позволило Данке ответить ни слова.

– Знаешь, у одного какого-то жмотика-скряги мальчишка был вроде твоего нигилиста. Понадобилось ему шапку купить, он и купил ее на барские деньги. Барин – потасовку. А тот после, за чем его ни пошлют купить, две либо три копейки и схимостит, и купил себе шапку, да и говорит: “Вот и есть шапка, и нет шапки”. Так и мы с тобой. Я свой счет вчерашний кому угодно предъявляю, и мужу тебя

Божедомы. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru
твоему расхваливаю, а что он в этом счете видит: “и есть шапка, и нет шапки”.
Дьякон небось или Варнавка что-нибудь могут сказать? Во-первых, что же они
знают, а во-вторых, кто же им и поверит? Колоченый человек мало ли что со злости
скажет?.. Эх ты, Филимон-простота! Победа!.. Очень мне нужно кому-нибудь
объяснять свои победы. А ты вот себя так ведешь, как два пьяные человека,
подвыпивши, брудершафт выпивают, да потом друг другу “ты” стыдятся сказать. А ты
не стыдись, да и некогда стыдиться. Вот что... Я вчера круто с этим Омнепотенским
обошелся для тебя; а он мне теперь очень нужен.

– На что ж он-то вам может быть нужен?

– Да ведь уж не для того же, чтоб ему мою победу над тобой в самом деле
показать, а для дела. Выпиши мне его сейчас.

– Да, я думаю, он и не пойдет.

– Ну вот, не пойдет! Сядь-ка, напиши ему. Понужничай с ним.

– Я не умею нежничать.

– Да полно врать – не умеешь! Сядь, сядь, напиши, что надобно для дела, чтобы он
пришел, – что, мол, Термосёсов без него тронуться с места не может.

Данка решительно отказалась это писать, утверждая, что это будет совершенно
понапрасну и что Омнепотенский не пойдет.

– Ну помани его к себе, когда так! – нетерпеливо крикнул Термосёсов.

– Это еще что?

Данка обиделась.

– Как что? – воскликнул, сердясь, Термосёсов. – Надо же дело делать или нет?
Надоел тебе твой Туберкелов или еще хочешь с ним век целый ворочаться? Я уеду
отсюда скоро!

Данка ожила от этого известия.

– Надо скоро все делать, – продолжал Термосёсов. – Садись и пиши, что я тебе
буду говорить, – скомандовал он, сажая Данку за ее письменный столик.

Данка, приняв в расчет преданность ей Омнепотенского, согласилась ему написать
все, лишь бы только это могло как-нибудь содействовать скорейшему отъезду
Термосёсова.

– “Несмотря на все, вчера происшедшее, – диктовал Термосёсов, – я все-таки хочу
сохранить наши прежние с вами отношения. Ни мужа, ни Термосёсова нет дома:
приходите ко мне сию минуту. Я одна и вся ваша”.

– Этого не нужно, – сказала о последней фразе Данка.

– Ну, как знаешь, – как у вас принято было. Теперь подпишись.

XIII

Письмо было подписано, запечатано и послано. И Омнепотенский пришел.

Термосёсов встретил учителя на крыльце; обнял его, поцаловал и извинился перед
ним во вчерашних своих поступках, сказавши, что он был пьян и ничего не помнит.
Затем он ввел не опомнившегося Омнепотенского в комнаты Данки и, держа его
обеими руками за плечи, сказал ему:

– Тут дело вот в чем. Я получил с почты письмо, которым меня извещает приятель,
что я нужен буду в другом месте. Поэтому время тянуть некогда. Свои теории вы
всегда будете иметь с собою; меня же не всегда с собою иметь будете, а потому
прямо к делу. Полюбя вас, я хочу, нимало не медля, проучить вашего Туберкулова.
Что ты такое про него знаешь, Варнава?

– Что? Я особенного ничего не знаю, – отвечал учитель.

– Как ничего не знаешь, а ты чем-то вчера хвалился, когда мы шли туда, к Порохонцевым.

– Ну, ведь я это и сказал, – отвечал Омнепотенский. – Я слышал только, как он, всходя на крыльцо церкви, сказал к чему-то: “дурак”. Я думал, что он это Ахилле.

– Да, ну это, брат, немного. А я было думал дать тебе два поручения, чтоб открыть игру с оника. Ну да ничего: мы, как говорят, за благослови Господи, во-первых, сейчас подыдем дело об оскорблении Ахиллюю того мещанина, которого он на улице за уши драл. Как его фамилия?

– Это комиссар Данилка, – сказал Омнепотенский.

– Почему это он комиссар? Комиссар или Комиссаров?

– Комиссар. – Да почему-у?

– А кто его знает, почему. Так его все зовут: он по комиссии городничего у его тестя лошадь для смеху ходил красть, да его так крапивой высекли.

– Да; вот видишь! Стало быть, есть причина, почему его зовут комиссаром. Теперь, как же его фамилия?

– Да комиссар Данилка, да и все.

– Да разве это фамилия, “комиссар Данилка”? Как его настоящая фамилия?

– Я не знаю, как его фамилия. У него никакой фамилии нет.

– Полно врать, разве бывает человек без фамилии?

– Да, у него фамилии нет.

– Эх, чурила! Ни до чего с тобой не договоришься. Ну да все равно. Вели ему, чтоб он вечером сюда пришел, а между тем сам все это как следует изложи на бумаге. Мы это отошлем.

– Куда?

Термосёсов посмотрел еще раз внимательно на Омнепотенского и сказал:

– Да тебе не все ли равно, куда? Ведь тебе надобно только Туберкулова своротить.

– Нет, не все равно, – отвечал Омнепотенский. – Я помню, что вы мне вчера говорили – куда писать про Туберозова. Я его ненавижу, но я доноса писать не стану.

– Отчего же это ты не станешь?

– Оттого, что это не мое дело, оттого, что это низко.

– А с тобой не низко поступают?

– Да пускай со мною поступают низко, но я все-таки доносчиком не буду. Они все подлецы, он про поляков доносил, но зачем же, чтобы и я был такой же, как он.

– Да, а кто же тебе сказал, что это будет донос?

– А что же это будет?

– Служение своему делу.

Омнепотенский подумал и отвечал, что он и на служение делу таким приемом не согласен.

– Ну, так напиши это для газеты.

- А, для газеты?
- Да.
- Да ведь что же: в какую вы газету пошлете?
- В “Новое время”.
- Ну вот!..
- Что такое?
- Какое же у нее направление?
- А тебе что за дело?
- Да и у нас почтмейстерша все распечатывает.
- Да что вы все со своей почтмейстершей. Прекрасная женщина, а вы все на нее: “Распечатывает, да распечатывает”. Ну, хорошо, ну боишься почтмейстерши, ну мы другим манером отправим. Ты только напиши, а там уж не твое дело. Я знаю, как отправить.

Варнава опять задумался и на этот раз согласился сегодня же к вечеру принести обстоятельно изложенное описание всех предосудительных поступков старгородского духовенства и доставить его Термосёсову вместе с живым комиссаром Данилкой. И все это в точности исполнил.

Литературное произведение Омнепотенского, назначавшееся в “Новое время”, Термосёсов взял к себе, а комиссара Данилку представил судье Борноволокову и, изложив перед ним обиду, нанесенную Данилке дьяконом Ахиллой, заключил, что Данилка просит судью разобрать его с его обидчиком. В этом изложении Термосёсова прикосновенным к этому делу как соучастник вышел и протопоп Туберозов, назвавший Данилку “глупцом”.

- Это и будет наше первое дело здесь, – сказал Термосёсов на ухо судье. – Прикажете завтра их вызвать?
- Да, – отвечал судья. – Послезавтра.
- Ну, послезавтра, – согласился Термосёсов и, оборотясь к Данилке, сказал:
- Приходи послезавтра. Ты только того, смотри, – внушал ему Термосёсов, выпроводив его за двери, – ты лупи бесчестья рублей триста. Больше не спрашивай, а триста. Я тебе говорю, что уж мы тебе это вытребуем.

Термосёсов сам продиктовал Омнепотенскому прошение от комиссара Данилки на имя судьи и заставил Данилку подписать эту просьбу и подать ее.

При подписании просьбы оказалось, что у Данилки действительно была своя фамилия, что он называется мещанин Даниил Сухоплюев.

Когда все это было как следует улажено и Даниил Сухоплюев выпровожен вон, Термосёсов вложил сочинение Омнепотенского в конверт, запечатал его и, не надписывая никакого адреса, отослал с Ермошкой на почту. Мальчишке было строго наказано, чтобы он, отнюдь не отдавая этого письма никому в руки, – просто бросил бы его в почтовый ящик.

XIV

В восемь часов следующего утра Термосёсов был пробужден от сна Ермошкой, который подал ему небольшой *billet-doux*[29] от Тимановой. Почтмейстерша извещала Термосёсова, что есть обстоятельства, которые требуют немедленного его прибытия. Термосёсов не заставил долго ждать себя. Он встал, оделся и отправился по требованию.

Термосёсов отлично знал, в чем заключались эти экстренные обстоятельства. Тревогу подняло брошенное в ящик без адреса письмо Омнепотенского. Оно было утром рано вынуто и, будучи распечатанным и прочитанным, привело почтмейстершу в

Божедомы. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru
недоумение – как ей поступить с ним? Она решила, что ей необходимо знать: как будет смотреть на это дело Андрей Иванович Термосёсов?

Андрей Иванович прочел известное ему сочинение Омнепотенского с удивлением и на вопрос почтмейстерши: “Как быть с этой бумагой: давать или не давать ей дальнейшее движение?” – сказал:

– Да какое же вы ей дадите движение, когда она никуда не надписана?

– То-то я и говорю: это, верно, на тот свет, – сказала почтмейстерша.

– Нет; это совсем другое значит. В провинциях у многих есть поверье, что если кто хочет что сообщить по тайной полиции, то опускает письмо без адреса. “Тайна”, знаете, – ну тайно и идет.

– Что за глупость такая!

– Ну вот видите; а есть дураки, которые этому верят и думают, что все письма, которые не надписаны, – туда идут.

– Надо надписать? – спросила почтмейстерша.

– Нет. Да мы еще посмотрим, хорошо ли это, что они там будут, оттуда мешаться, с высоты своего величия. Там Туганов теперь в Петербурге будет, – пойдут вступничества, да заступничества... Нет; это звон велик. Дайте лучше это письмо мне. – И Термосёсов взял письмо себе, но по дороге домой обронил его перед училищем.

Через час весь город знал, что учитель Варнавка написал какое-то сочинение о Туберозове.

Слух этот, конечно, не преминул скоро дойти и до отца Савелия. Протопоп не сказал никому ни слова. Вечером в тот же день его посетил Термосёсов, приглашая его завтра освятить воду во вновь открываемой камере мирового суда. Туберозов святил воду, а на следующий день после этого водоосвящения получил повестку, на которой было написано: “Протопопу Туберкулову”, потом слово Туберкулов было перечеркнуто и воспроизведено “Туберозову”. В повестке этой, с явным умыслом оскорбить старика, между печатным текстом о каре за неявку, было прописано, что “протоиерей Туберозов должен явиться для дачи свидетельских показаний и по личной прикосновенности к делу об оскорблении им и дьяконом Десницыным господина мещанина Даниила Лукича Сухоплюева”.

Протопоп сначала не верил своим глазам и потом расхохотался:

– Я просто Туберозов, да еще и Туберкулов на подкладке, а Данилка “господин мещанин”. Скажите, пожалуйста, что это за новые шуточки?

И прежде чем Савелий нашелся, как объяснить себе эту шуточку, – ему предстал совершенно перепуганный Ахилла. У дьякона в руках дрожала точно такая же повестка, которую он тоже приглашался к суду за оскорбление “господина мещанина Даниила Лукича Сухоплюева”.

Дьякон был не только встревожен, не так как Туберозов, – он просто трепетал. В глазах Ахиллы мировой судья – это было что-то титаническое, всемогущее, всепопалющее и всеистребляющее. Получив повестку, что этот титан первого кличет его, Ахилла так растерялся, что на него вдруг всю неодолимую тяжесть пала боязнь смерти, и он со всех ног бросился скорее бежать к Туберозову.

Протопоп выслушал испуганный лепет дьякона как мог хладнокровнее и, взяв шляпу, кликнул за собою Ахиллу. Оба они с повестками в руках, молча и торопливо шли к начальнику уезда Дарьянову.

XV

Протопоп желал сообщить поскорее обо всем этом Дарьянову, для того чтобы Дарьянов как юрист дал ему совет, как отнестись к этому вызову по делу, в котором старик Туберозов не видел ровно никакого дела. Дарьянов был тех же мнений, как и отец Савелий, и тотчас же отправился к Борноволокову, который перед этим делал ему свой визит.

Дарьянов был совершенно уверен, что Борноволоков принял жалобу Данилки к разбирательству по неопытности, не разобрав, в чем заключается суть ничтожного происшествия, бывшего поводом к этой жалобе.

– Скажите, пожалуйста, – начал он, присев у судьи на его новой квартире, – вы вызываете к разбирательству нашего протопопа и дьякона!

– Да; – отвечал ему Борноволоков. – А вы что же хотите, чтобы я делал?

– Помилуйте, да в чем же тут дело-то? из-за чего поднимать суд и расправу? Ведь вы здесь новый человек... Извините меня, я вам не советы навязывать хочу, а предупреждаю вас как нового своего согражданина и товарища...

– Ничего-с, – отвечал Борноволоков.

– Провинция ведь довольно мудрена или по крайней мере гораздо мудренее, чем о ней думают. В наших мелких городишках осторожно нужно жить.

– Да?

– Еще бы! Здесь ведь умы вздором заняты, и от скуки люди ссорятся.

– Да?

– Конечно, тут друг друга не щадят от безделья. Лгут да клеветают один на другого, и в ложке воды каждый другого хотят утопить.

– Да?

Дарьянов остановился, поглядел в глаза судьи и подумал:

“Эко чертово дакало! Слово только он и умеет, что одно “да””, – но заставил себя говорить и сказал:

– Да. Вы увидите: здесь мирить гораздо труднее, чем в Петербурге. Там все это уж подернуто некоторой цивилизацией, а здесь еще простота, но простота, которая, если не уметь с ней обращаться, злее воровства.

– Да?

Дарьянов опять остановился и проговорил, рассмеявшись:

– Да, да, да. Я вам говорю, что у нас все это безамбициозно и просто: мещанин Данилка, дрянной шельганишка, которого ленивый только не колотит и совершенно по заслугам; он говорил что-то кощунственное; дьякон услышал это да выдрал ему уши; а протопоп и это все покончил: сказал Данилке, что он глупец, и выгнал его вон... В чем же тут дело?

– Прощение подано.

– Да что прошение. Ведь таких прошений не оберетесь, если захотите брать их... Гм! Известнейший мерзавец, дрянь, воришка... и извольте радоваться: “честь его оскорблена”! Да его... спину мильён раз оскорбляли, да он и то не жаловался, потому что поделом.

– Да? – с невозмутимостью отвечал судья.

– Да что да? Я вам говорю, что Данилка – это, что называется, прохвост, а Туберозов образец честности, правды и благородства! – Дарьянов начал горячиться.

– Да? – снова ответил в вопросительном тоне судья.

– Ну да! Так вы вот теперь и подумайте, как это хорошо отразится в народе, что новый, моленный и прощенный суд у Бога только что надошел, как и пошел честных людей трепать да дергать в угоду всякому заведомому пакостнику.

– Что ж: на суд идти не стыдно никому...

– Но позвольте–с! Есть люди, с которыми и на суд идти стыдно, и Данилка, разумеется, не выше этого сорта, но ведь кроме суда есть осуждение: к чему вы можете осудить протопопу?

– Я не знаю–с: это зависит будет от обстоятельств.

– То есть от доказанного того, что Ахилла драл Данилку за уши, а Савелий дураком его кликнул?

– Да.

– Да, в этом и сомнения нет, что это будет доказано: протопоп не отопрется, а Ахиллу видели все, как он учил Данилку и вел его к протопопу; но ведь вы поймите, что у нас это называется поучить, не драться, и не обижать, а поучить!

– Да?

– Да, да что все да, да, да. Я вас прошу сказать мне, что же, если все это будет доказано, то к чему вы присудите протопопу? “Испросить у обиженного прощения”, может быть?

– Да.

– Протопопу–то Туберозову просить публично прощения у мерзавца Данилки! У мерзавца Данилки, которого никто за человека не считает, которого крапивой порют и за грош нанимают свиньей хрюкать?

– Да, у него.

Дарьянов быстро схватил свою фуражку, сжал ее в руке и, задыхаясь, проговорил:

– Этого не будет! Протопоп не пойдет на ваш суд.

– Да?

– Да, да, черт возьми, да.

– Заплатит штраф.

– Заплатит.

– А я постановлю решение заочно.

– Не смеете.

– Как?

– Так, не смеете. Старик Туберозов не уклоняется от суда, а у него есть законная причина, почему он не пойдет на ваш зов завтра. Он благочинный: он имеет дело, по которому он непременно должен выехать в свой округ. Он сегодня вечером уезжает.

Дарьянов лгал Борноволокову. Туберозов ему вовсе этого не говорил, но Борноволоков принял это очень спокойно и сказал:

– Что ж, если он имеет законные причины, – может не прийти. А законны ли эти причины, это будет обсуждено.

– Это ваше последнее слово? – спросил Дарьянов.

– Да, – ответил судья и замолчал, не считая себя нимало обязанным сколько-нибудь занимать своего гостя.

Дарьянов встал и простился.

Возвратясь домой, где его ожидали Ахилла и Туберозов, он передал им весь свой разговор с мировым судьей и добавил:

– Я вам так, отец Савелий, советую. Уезжайте, проездитесь, а между тем... Пойдите еще; черт не так страшен, как его пишут... Обратимся к вашему начальству и к прокурорской власти: смеет ли Борноволоков привлекать вас к такой ответственности. Обжалуем это.

– Да разве можно? – спросил шепотом упавший духом Ахилла.

– А отчего же?

– Можно?

– Да конечно. Самая большая преграда это... почта.

– Да; на почте непременно подлепят, – решил дьякон.

– И задержат-с.

– Это нипочем!

– Так вот: как послать?

– А вот как: я съезжу, – сказал дьякон.

– Да; в самом деле: он съездит, – поддержал Савелий.

Дьякон качнул в знак согласия головой и утвердил все это словом: “верхом”.

Через полчаса все эти три человека всякий у себя дома были заняты хлопотами по одному и тому же делу: Дарьянов писал прокурору; Туберозов архиерею, а Ахилла чистил у себя на корде коня и декламировал:

Скребницей чистил он коня,

А сам ворчал, сердясь не в меру...

При этом Ахилла, разумеется, нимало не сердился, а был в самом счастливейшем состоянии. Как в Нероне жил артист, так и в Ахилле жила душа какого-нибудь казака или веселого рыцаря. Страсть Ахиллы к лошадям и к совершению каких-нибудь всадничьих служений была безмерна. Не читая вообще никаких книг, он заучивал наизусть стихи, в которых хоть одно слово какое-нибудь говорилось про лошадь, и твердил эти стихи как ребенок, воображая себя тем, о ком там говорится. Теперь

Скребницей чистил он коня,

А сам ворчал, сердясь не в меру, –

и воображал себя гусаром. О судье он уже забыл и думать и помнил только об одном блаженстве, что он в эту же ночь выедет посланцем не “внарочку”, как он часто воображал себя, носясь верхом на конях своих, а “взаправду” посланцем... У него дух даже захватывало: он оседлал своего коня и побежал торопить бумаги. Получив конверт от Дарьянова, он явился к протопопу и, как тут приходилось ему с минуту обождать, то он этим временем утешал насчет судьи Наталью Николаевну.

– Вздор, – говорил он, – совершенный вздор и ничего не значит. Я думал, что это знаете... вот как арап в комедии: хоп, и слопаёт, и засудит, а на него еще пожаловаться можно... Ни-и-чего! Вот пусть-ка завтра ждёт меня, а я

Казак на север держит путь,
Казак не хочет отдохнуть
Ни в чистом поле, ни в дубраве,
Ни при опасной переправе. –

Ахилла получил конверт и благословение и от протопопа, поцаловал руку Натальи Николаевны и сбежал торжествующий с их двора, и не прошло получаса, как он пронёсся уже верхом мимо их окон. Он был в старом подряснике, полы которого необыкновенно искусно обвернул вокруг ног, и в широкополой полусвященнической, полугарибальдийской мягкой шляпе. Остановив на минуту своего коня перед окнами дома Дарьянова, Ахилла быстро с сверкающими от восторга глазами вскинул вверх свою шляпу, распахнул подрясник и, указывая на видневшуюся из-за пояса рукоять ножа, прочёл:

Булат – потеха молодца,

Ретивый конь... –

Ахилла погладил по гриве свою лошадь и продолжал:

Ретивый конь – потеха тоже...

Но...

Закончил он, тряхнув в воздухе шляпой:

Но шапка для него дороже...

За шапку все он рад отдать:

Коня, червонцы и булат.

Зачем он шапкой дорожит?

Затем, что в ней донос защит,

Донос на гетмана злодея,

Царю Петру от Кочубея! –

Ахилла крепко насадил шляпу обеими руками себе на голову, сжал коленями лошадь, взвился и оставил вместо себя только одно густое облако серой пыли.

Выехал Ахилла вовремя, лошадь у него крепкая и быстрая, сам он наездник лихой и неутомимый, – он, конечно, не станет отдыхать

Ни в чистом поле, ни в дубраве,

Ни при опасной переправе,

чтобы не разрушать свою иллюзию, что он казак с доносом к царю Петру, и к утру всеконечно будет в губернском городе и доставит кому следует порученные ему бумаги.

Выпроводив Ахиллу, Туберозов немедленно же собрался в путь и сам. Длинный, сухой дьячок Павлюкан, который обыкновенно исправлял у него кучерские обязанности во всех его поездках по благочинию, заложил в небольшую тележку Туберозова с кожаной будочкой пару его лошадок, и они уехали, а судье Борноволокову было послано об этом оставленное протопопом уведомление.

XVI

В то время, когда в Старом Городе удивлялись возникновению странного дела между Ахиллой, Туберозовым и завалищим комиссаром Данилкой, спорили и рассуждали, возможно ли такое дело, и предрешали, чем оно должно кончиться, дьякон жил в губернском городе, стараясь добиться ответов на привезенные им бумаги, а Туберозов тихо и неспешно обтекал села и деревушки своего благочиния.

Поездка на него действовала чрезвычайно благотворно: раздражительность его проходила, он успокоивался и даже умилялся. Прошло две недели со дня его выезда. Он побывал в это время везде, со всеми ласково поговорил и всем, кого посетил он в эту поездку, показался еще более, чем когда-либо, участливым, нежным и внимательным. Бедствия, нужды, крайнее невежество и глубокое нравственное падение духовенства, всегда трогавшее душу отца Савелия, – на этот раз действовали на него еще сильнее. Во всех разговорах со своею во Христе братиею, со всеми, кого надо было приподнять, ободрить на борьбу; кого надо было пощунять и похаять, отец Туберозов был столь мягок, столь целебен и тепел, что один сельский дьячок Василий Хохлов, некогда оригинально наказанный протопопом за то, что, владея кистью, изобразил, по своей фантазии, Бога Отца почившим от всех дел своих на кровати, выпроваживая отца Туберозова из своего селения за околицу, обратился к причту и сказал:

– Ей-Богу, отцы, наш благочинный просто яко пластырь целительный к нашим ранам прикладывается.

И сравнение, сделанное дьячком Хохловым, действительно было очень удачное. В Туберозове надо всем теперь преобладала особливая, нежная старческая доброта, по которой есть обычай предсказывать, что человек, дошедший до такой нежности, уже близок к смерти. Он обтекал свое благочиние как миротворец, и все путешествие его было как бы прощальная тихая вечеря любви и единения. Но наконец все, что должен был посетить Туберозов, он уже посетил и держал обратный путь к дому. Это было в очень жаркий день среди знойного лета.

От последнего села до города оставалось ехать около сорока верст. Туберозов выехал не совсем рано и едва успел сделать половину пути до наступления

Божедомы. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru
нестерпимого пеклого жара. Дальнейший путь становился до крайности затруднительным: лошади мылились и потели; усталость их была очевидна и возбуждала участие. Туберозов решился остановиться на покорм и отдых. Он не хотел заезжать никуда на постоянный двор, да по глухому проселочному тракту, которым шел путь, кстати, и не было ни одного порядочного двора, которому не следовало бы предпочесть небесную кровлю. Протопоп вспомнил очень хорошее место у опушки леса, в так называемом Корольковом верху, откуда получал свое начало гремучий ручей и которое теперь находилось всего в двух или трех верстах. Он положил доехать до этого места и там и остановиться под небесным сводом. Вот и это место: это очень хорошее место. Отсюда открывается вся плоская покатошь, ведущая к городу, и в конце этой покатоши, невероятно далеко, почти за двадцать с лишком верст мелькают золотые главы церквей самого города. Это неизмеримая панорама – это живой укор тому, кто славил Русь, видя в ней “небо, ельник, да песок”. Отсюда вперед широко русская степь пораздвинулась, а сзади за плечами стоит, словно старый лохматый кошель старины, безначальный, дубравный и крепкий дремучий лес. Ему нет измерений; он тянется на необъятное пространство до соединения со сплошным полесьем Десны. Слева видна темная котловина, по которой течет река Турица, а справа зеленый овражек, из которого бурливым ключом бьет гремяк. Здесь тихо, свежо и прохладно. Утомленный зноем Туберозов, как только стал здесь, так почувствовал себя прекрасно. В густом, темно-синем молодом дубовом подседе стоит живительная свежесть. На упругих, словно в зеленый воск обмокнутых листьях ни соринки. Повсюду живой, мягкий успокоивающий мат. Из-под листвы инде глазают на свет яркоцветная волчья ягода; выше вся озолоченная светом стоит сухая орешина, а возле на теплой коричневой почве раскинуты листья папороти, и под ней, как красный коралл, костяника ютится под белым и крепким боровиковым грибом.

В тех петых лесах Германии, которые вокруг обнесены частоколом, в тех сухих перелесках, где каждая пташка тащит на шейке докучливый паспорт, нет ничего в этом роде.

Здесь томно горлицы воркуют и тяжело кричат ворон над разодранной добычей: здесь русский дух, здесь Русью веет. Отсюда русских снов и саг ручьи живые льются. Здесь сын земли вдыхает в грудь свою земли своей непобедимую, спокойную отвагу.

Здесь Русь, в которой несть ни лесты, ни киченья. Она, избранница небес, здесь Богу одному послушна, ждет, покуда час призыванию ее великому ударит.

Здесь Русь.

XVII

Пока Павлюкан в одном белье и жилете отпрягал и устанавливал у растянутого хребтюга потных коней, протопоп прошел несколько шагов по лесу, подышал его свежестью, потом взял из повозки коверчик и, спустившись с ним в глубокий зеленый овраг, из которого бурливым ключом бил гремучий ручей, умылся и лег здесь на ковре.

Мерный рокот ручья, который быстро бежит по покатоному дну, покрытому красным железистым осадком; и прохлада повеяла на спаленную зноем голову Туберозова, и сладкий покой и мечта низошли в его душу. Это были давно позабывшие старика гости.

Туберозов нарочно уехал, чтоб полнее обдумать и решиться на небезопасное для него дело, на которое намекал Дарьянову еще в первых главах этой повести. Но совершение этого дела представляло опасности не для одного отца Савелия – о чем бы он и не думал, – оно угрожало большими неприятностями и для жены его. Всякий, кто когда-нибудь любил женщину не едиными устами, а сердцем и считал свои скорби и несчастья ничтожеством перед ее скорбями и несчастьями – поймет, что этого рода опасения могли иметь весьма значительное влияние на меру решимости отца Савелия. А к тому же у него есть и другие задержки: его разбил и расстроил последний разговор с Тугановым. Он размышляет: “А что если и в самом деле не след человеку, любящему Русь, рисковать своим благосостоянием? А что если и в самом деле ревность к России больше вредна, чем ей полезна? А что если и в самом деле для нее не то именно и нужно, чтобы сыны ее за нее погибали? Что если она и в самом деле будет бессильна, оставаясь национальной? Мы, дети севера, как русская природа, – цветом недолго, – быстро увядаем. Картины наши однообразием томлят, скучна природа наша и нет фантазии и вере вызреть негде!.. О, Боже мой, как тяжок этот приговор и как несправедлив! Земля кипит и медом, и млеком, и

Божедомы. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru
хлебом; леса и нивы, и луга так тучны и прекрасны... Так мало нужно, чтобы здесь был всякий сыт... и вот фантазия к чему отсель естественно стремится: да будет хлеб насыщенный всем и да бежит отсюда лукавство. Фантазия! Кто правит ею? Она всегда чиста, нетленна и богата.

С предвечного начала
На лилиях и розах,
Узор ее волшебный
Стоит начертанный в раю. –
Кто виноват, что здесь, на этой же земле возвращенный поэт на ней заметил: “Небо, ельник, да песок”, тогда как другой видел, как

Государь Пантелей
Ходит по полю
И цветов и травы
Ему по пояс? –

Обязан ли я видеть одно сено в лугах, когда мне дано разуть трав лепетанье? Нет, не сено одно волу-молотильцу я вокруг себя вижу, – я вижу вон он в лесу, девясил благовонный, утоляющий боли надсаженной груди; вон огненный жабник, врачующий черную немочь; верхоцветный исоп от удушья; ароматная марь против нерв, вон рвотный копытень; сон-трава от прострела; кустистый дрок; крепящая расслабленных омела; и болдырьян от детского родимца; и корень мандрагор, что благотворный сон дает лишенному покоя несчастливцу. А там вон на полях и по дороге трава гулявица от судорог; вон божье дерево и львиноуст от трепетания сердца; вон дягиль; лютик целительный и смрадный омег; вон курослеп от укушения бешеных животных... а там (протоиерей обернулся к котловине, по которой текла Турица), а там по потной почве луга растет ручейный гравилат от кровотока, авран и многолетний крин, восстанавливающий бессилье; кувшинчик, утоляющий неодолимое влечение страсти; и лен кукушкин, что растит упавший волос. Какая дивная аптека! Какой священный сад живоначальных сил в потребу человеку! И это скудная природа, говорят!.. И это скудная природа, среди которой должна иссохнуть фантазия и вера? Что за нелепость! Неужто эта каждая былинка не говорит о том, какие радости она может создать, если ее сорвать и подать вовремя тому, кто в ней нуждается, и сколько горя от того, что ее не знают и считают ее ничтожным сеном, потребным лишь волу молотящему? Вон эта мандрагора, – это ее листья, и венчик и ее многосемянные ягодки... Ее зовут у нас паслён... Она дает отрадный сон страдалцу, она ж и убивает. Одно это былье с его орешками вызывает к жизни целый мир событий. Эти ягоды были орудием обвинения орлеанской девы в злом чародействе; за них библейская Лия отторговала себе у сестры от зари до зари общего мужа... Природа мстит вам, которые не научились читать ее живые книги!.. Нет фантазии!..

Протоиерей улыбнулся, сорвал паслённую ягодку и, тихо катая ее по ладони, улыбался, как улыбаются дети чарующей сказке. Глаза его смежала приятная прохлада и задвигала от него действительность чудной картиной. Из своего прохладного приюта старик наш видит палящий зной палящей Палестины. Немые пальмы дремлют, и карнизы обелисков шевелятся в мреющем сверканье жара. Стоят шатры; окаменелые верблюды спят, и две жены сидят под тенью на высоких седлах: одна прекрасная, как радость, красавица с упругими и смуглыми плечами – это любимица Израиля Рахиль – другая Лия. Ее красноватые глаза говорят о несчастье забытой жены. Это библейские сестры-соперницы.

Отяжелевшие в прохладе веки отца Туберозова замыкаются крепче, и библейская картина выступает перед ним еще ярче. фигуры начинают двигаться; бежит с поля мальчик и падает в колени своей чародейной матери Лии. Уста фигур шевелятся, и их речи понятны, как знакомая подпись. Это читается так: “Се сын Лии Рувим иде в поле и обрете яблоко мандрагорова и принесе я Лии матери своей. Рече же Рахиль Лии, сестре своей: “Даждь мне от мандрагор сына твоего!” Рече же ей Лия: “Не довольно ли тебе, яко взяла еси мужа моего, еще и мандрагоры сына моего возмещи?” Рече же Рахиль: “да будет муж сея ночи с тобою за мандрагоры сына твоего”. И приде Иаков с поля в вечер и изыде Лия во сретение ему и рече: “ко мне внидеши ночь сию, наяла бо ты днесь за мандрагоры сына моего” – и бысть с нею и послуша БОГ Лию и, зачнеша, родила Израилю сына пятого”...

О ты, священнойшая простота! Что в лучших снах Италии есть этого бесхитростного сна невиннее и краше? И отчего же, отчего же, когда слово заходит о фантазии, о почве, на которой зреет вера, все так смело указывают на романский Запад, где все освещено огнем католических костров, и никто не смеет вспомнить про

Божедомы. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru
библейский Восток?.. Какое ужасное невежество и какая страшная несправедливость!

XVIII

Мечтания протоиерея были прерваны Павлюканом, который давно стоял над Туберозовым, тряс его за плеча, приглашая его встать и разделить трапезу, которую тот приготовил, подвесив на ветке дорожный котелок и сварив в нем кашницу с набранными в лесу грибами.

Отец Туберозов так крепко спал, что едва проснулся, выпустил из руки ягодку паслёна и, насилу уразумев, на что приглашал его Павлюкан, ласково сказал: “Кушай, мой друг, кушай один, – мне сладостно спится, и я есть не хочу”.

Сладкий сон снова сейчас же смежил старые вежды Туберозова.

Павлюкан отобедал один. – Он собрал ложки и хлеб в плетёный из лыка дорожный кошель, опрокинул на свежую траву котел и, заливши водою костерчик, забрался под телегу и немедленно же и сам последовал примеру протопопы. Лошади отца Савелия тоже не долго стучали своими челюстями; и они одна за другою скоро утихли, уронили головы и задремали.

Кругом стало сонное царство. Солнце плыло, плыло, свалило с полдён и быстро покатило книзу, – и Савелий, и Павлюкан и их кони всё еще спали. Тени лесной опушки с уклонением солнца вытягивались дальше и больше, и больше захватывали поле. Вот и признаки жизни: начинается пробуждение. Из гущины на чащобу выскочил подлинный заяц. Он сделал прыжок, сел на задние лапки, пошевелил усиками и, увидав спящих, тихо присвистнул и молоньей юркнул назад и исчез в прохладную чашу. Через минуту зверек появился опять, но теперь не один, а вдвоем. Парой, в три ровных прыжка быстро вынеслись они из лесу; оба рядышком сели на задние лапки, оба обтерли передними лапками мордочки и, словно сказавши друг другу: “А ну-ка взглянем, что это такие за люди?”, – оба здесь сели и смотрят. Минута, другая и десять, – ни с чьей стороны ни движенья, ни звука... Вот пыхнула лошадь и оскалила желтые зубы, и, вытянув шею, стала чесаться виском о тележную грядку. Зайцы разом вздрогнули, кинули за спины длинные уши и снова исчезли, огласив лес робким, отчаянным заячьим криком.

Туберозов отрывался от сна на том, что уста его с непомерным трудом выговаривали кому-то в ответ слово: здравствуй!

– С кем я это здравствуюсь? Кто был здесь со мною? – старается он понять, просыпаясь. Это кто-то чудный, прохладный и тихий стоял у его плеча и сказал ему: “Здравствуй, Савелий!” Он в длинной одежде цвета зреющей сливы... Да кто ж он? Кто это? – Савелий быстро поднялся на локоть и увидел: две белые стопы, которые сверкнули и скрылись в чашу.

Что это? Две стопы, словно два белые зайца, или два белые зайца, словно две легкие стопы? А дремота опять набегаёт, дремота сильная, неодолимая дремота, которую не нарушает ни солнце, достающее теперь лучами до его головы, ни пристыжная лошадь, которая, наскучив покоем, все решительней и решительней скапывала с себя узду и наконец скапнула ее, сбросила и, отряхнувшись, отошла и стала валиться. Все это будто так должно: лошадь идет дальше и дальше; вот она щипнула густой муравы на опушке; вот скусила верхушку дубочка, вот наконец ступила на засеянный клевером рубеж и пошла по нем дальше и дальше: Савелий все смотрит. Это не сон и не бденье. Он видит и слышит. Вон высоко над его головою в безоблачном небе плавают ворон. Ворон ли то или коршун? Нет, ворон: он держится стойче, и круги его шире... А вот долетает, как горстка гороха, ку-у-рлю. Это воронье ку-у-рлю, – это ворон. Что он назирает оттуда? Что ему нужно? Он устал парить в поднебесье и, может быть, хочет этой чудесной воды. Этой воды... Кто вам внушил, что здесь нет своей живой фантазии, своих чарующих преданий, не закопченных куревом костров? Туберозову приходит на память легенда, прямо касающаяся этой воды, этого ключа, дающего начало Гремучему ручью. Люди верят, что в воде Гремяка сокрыты великие силы. Чистый, прозрачный водоем этого ключа похож на врытую в землю хрустальную чашу. Образование его приписывают громовой стреле. Она пала с небес и проникла здесь в недра земли. Преданию известно, как это было. Тут некогда стал изнемогший в бою русский витязь, и его одного отовсюду облегал несметная сила татар. Погибель была неизбежна; – но витязь взмолился Христу, чтобы избавил его от позора, и в то же мгновение из-под чистого неба вниз стрекнула стрела и взвилась опять кверху, и грянул удар, – и кони татарские пали, и пали с них всадники их, а когда они встали, то витязя не

Божедомы. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru

было больше, и на месте, где он дотуда стоял, гремя бил могучей струей студеной родник, сердито рвал ребра оврага и серебристым ручьем разбежался вдали по зеленому лугу.

Неведомо, что здесь: могила ль витязя, или место взятия его в иную область, которых много у Отца. Легенда не говорит об этом ничего, но она утверждает, что тут вечное таинственное присутствие Ратая веры. Здесь вера творит чудеса. Отсюда этим ключом бьет великая сила. Сюда к этим водам ради сил обновленья бредет согбенный летами старец; в эту хрустальную чашу студеной воды с молитвой и верой мать погружает младенца, и звери, и птица ту силу великую знают. Лохматая мать медведица и лесная орлиха и ворон приносят сюда своих юных детей, и их дети становятся сильны и крепки, как их омоет вода с богатырской могилы. И все здесь могуче, все сильно, все крепко, от вершины столетнего дуба до гриба, что ютится при корне, и до покоя уснувшего здесь человека.

Здесь все дело веры, и вот здесь и сила; а там... этот разлом, эта немощь сомнений... "Береги себя, – говорил мне Туганов; – выжидай, соображай, – самоотречением и самопожертвованием даже можно вредить священному делу, если станешь жертвовать собой не вовремя". – Лукавая речь: не Христос ли ждал время? Нет; он его торопил; он вам ставил на вид, что дни малы, и вы не весте – ни дня, ни часа! Нет, мало веры в вас! Нет пламенной любви, в вас нет решительности, нет твердых упований... А я... Нет: мне позорно слушать вас; нет, мне просто преступно с вами соглашаться: еще какого время надо, чтоб истину поднять против интриг и ковов, что черная измена ставит русскому народу? Еще ли мало соблазненных ложью? Еще ль позор безумств, свершенных нами, не обратился в притчу во языцех? Еще ль не слышите... там мнят уже распятым дух России и жребий мечут о его хитоне... Но это ложь: над ним пророки совершатся: воскреснет он и облечется силою и славой... Безмолвствуй, ложь! Я слышу звон и шелест под землею... То Минин Сухорук проснулся и встает в могиле... то звон меча, который вновь берет и им препоясается Пожарский... Вставай, вставай, наш русский князь, и рассеки своим мечом врагов родной земли хитросплетенный узел! Восстань, нижегородец Минин, и доблестью своею научи внучат твоих вменить себя в ничто перед величием Руси! Светильники земли родной! восстаньте вы от Запада и Севера, и моря, из стран цветущих Гурии, из киевских пещер и соловецких льдов и осветите путь встающей духом Руси!

Пускай она не тешит больше убожеством своих заблудшихся сынов кичливый, гордый Запад!

– Да, да, – заговорил он, задыхаясь и начав сильно метаться вприсонье, – я чувствую сюда... нисшел... великий... страшный... непобедимый дух... О Боже! Мне не снести... его наитье нестерпимо душе расслабленной и в суете погрязшей... Да; это он... идет... идет... (слово от слова тише и тише заговорил Туберозов). – То он, то дух, благоволящий Руси... а встречу ему... я зрю... во всеоружьи правды грядет от века нам предсказанный царевич русский.

– О, я теперь хочу, я жажду в жизни раз царем творенья стать! О, я хочу коснуться вечной правды и подвигом бесстрашия отметить на земле мое течение... Но она!.. Моя голубка, горлица моя, левкойная моя подруга! Она... она, как понесет со мной обиду?.. Мне жаль ее!.. Но это ничего, а если... А если прав Туганов, и тот подвиг, о коем я столь долго размышляю, не в благо будет, а лишь в строптивость мне вменится?.. О разреши! о разреши мне ныне, Бог, мои сомненья! Народ в священной сердца простоте так твердо верит, что отसेле ты слышишь всякую молитву. Зову тебя отсель! О поспеши ко мне, о поспеши, коль можешь поспешить, дающий силу детям ворона, медведя и орлицы!

– Здравствуй, Савелий! – прожурчало опять над ухом Туберозова. Это было так внятно, что старик быстро вскочил и, глянув в ту сторону, откуда слышалось слово, успокоился, видя, что тут никого нет; но в ту же минуту тот самый голос с другой стороны еще яснее сказал ему: "Здравствуй, поп велий!"

Туберозов затрепетал, вскочил быстро на ноги и, почувствовав, что у него на голове шевелятся его седые волосы, хотел провести по ним рукою; но только коснулся ею головы, как быстро уронил ее книзу: его волосы жгли его руку как крапива.

Протопоп осенил себя крестом и, глянув спокойней вперед, увидал перед собою шагах в трех небольшое бланжевое облачко, которое, меняя очертания, тихо удалялось и полетело над рубежом, по которому бродила свободная лошадь.

XIX

Удивившее Туберозова облако шло прямо на бродившего по рубежу коня и, настигнув его, вдруг засновало, вскурилось, а потом легло и потянулось вперед как дым из пушечного жерла. Ту же минуту лошадь дико всхрапнула и, широко раскрыв рот и глаза, в ужасе с ржаньем понеслася, не чуя под собою земли.

Это была уже не мечта, а быль, и очень неприятная быль: лошадь может искалечиться или и вовсе пропасть: а между тем, по-настоящему, пора бы и ехать.

Туберозов разбудил поскорей Павлюкана, помог ему вскарабкаться на другого коня и послал его в погоню за беглецом, которого между тем уже не было и следа.

Савелий вынул свои серебряные часы и посмотрел на них: была четверть четвертого.

– Эх, как проспали! – подумал он. – А теперь еще вот эта история, и, Бог знает уже, когда удастся добраться домой.

Впрочем, и то, что он запоздал, и история с лошадей, по-видимому, нимало старику не досаждали: он даже как будто рад был задержке, зевнул и сел в тени с непокрытой муравью.

– Сагою веет от этих мест, – повторил он себе, вторично зевая... – И странно... что я все вздрагиваю и как будто наэлектризован? Читал недавно я в газетах, что есть места, где вследствие неизученных еще условий электричество проявляется с необыкновенной силою. Сосюр и Лумис показали на такие места в Граубиндене и на горах Невады, что волосы людей колыхались и, стремясь подняться, производили сильный и неприятный шум, в спину получались уколы и обжоги, палки и трости жужжали и пели, словно рой оводов, а с концов пальцев и ушей отделялись сильные токи.

Протопоп опять повел рукой по голове и опять вместо волос что-то неприятное, как оса, прошло между его пальцев.

– Ну да; это так: я совсем наэлектризован.

Чу!.. что это? Как ветер клонит ниву, – точно кто в ней ходит..

Это может быть “Государь Пантелей собирает цветы и травы на свой целебный елей”.
– О!

Государь Пантелей!
Ты и нас пожалей!
Свой чудесный елей
В наши раны излей,
В наши многие раны сердечные.
Есть меж нами душою увечные,
Есть и разумом тяжело болящие,
Есть глухие, немые, незрящие,
Опоенные злыми отравами,
Помоги им своими ты травами.
А еще, Государь,
(Чего не было встарь)
И такие меж нас попадают,
Что лечением всяким гнушаются,
Они звона не терпят гусярного,
подавай им товара базарного,
Всё, чего им ни взвесити, ни смерити,
Всё, кричат они, надо похерити;
Только то, говорят, и действительно,
что для нашего тела чувствительно.
И на этих людей,
Государь Пантелей,
Палки ты не жалеи,
Суковатя! –

Растление какое умов и нравов! Эти стихи вменены поэту в величайшее преступление!.. Как взаправду не преступно; там слагаются союзы, как отнять у нас не только скарб и жизнь, но даже духовное наше состояние и водворить нас в

Божедомы. Николай Семенович Лесков Teskovniko1ai.ru
скотство, а тут... миндальничайте; не смейте звать никакой кары, даже лозой учительной им погрозить преступно! О, бездна тупости какая! Как будто это всё своею волей пишется? События и время выводят письма. Красноречивый Дамаскин, покинувший всю славу мира для того, чтоб петь песни хвалы Богу, и тот не молчал и поднимал голос.

Противу ереси безумной,
Что на искусство поднялась
Грозой неистовой и шумной. –
Кто б не хотел благословлять! кто б не хотел одним чистым восторгом открывать свою душу? Тот же, кто звал Целителя с его елеем одним и с его палкой для других, тот в иные дни сподоблялся высшего виденья, – он видел Христа. Он говорил:

Я зрю Его передо мною
С толпою бедных рыбаков,
Он тихо мирною стезею
Идет меж зреющих хлебов,
Благих речей своих отраду
В сердца простые Он лиет,
Он правды алчущее стадо
К ее источнику ведет.
– Зачем? Зачем? – воскликнул Туберозов, крепко схватывая перед лицом обе руки и делая быстрый шаг к ниве:

Зачем не в то рожден я время,
Когда меж нами во плоти,
Неся мучительное бремя,
Тышел на жизненном пути!
Зачем я не могу нести,
О мой Господь, Твои оковы,
Твоим страданием страдать
И крест на плечи твой приять
И на главу венец терновый! –
В груди старика закипали слезы и затопляли собой плавную мерность его голоса; он тихо опускался с вытянутыми вперед руками на колена и, глядя в небо, читал:

О если б мог я лобызать
Лишь край святой Твоей одежды,
Лишь пыльный след Твоих шагов...
О мой Господь! моя надежда,
Моя и сила и покров!
Тебе хочу все помышленья,
Тебе всех песней благодать
И думы дня, и ночи бденья,
И сердца каждое биенье,
И душу всю мою отдать! –
Протоиерей повергся ниц и, громко рыдая, долго ронял свои старческие слезы у розовых корней ржи на алчущую влаги родную землю.

Слезам, пролитым Туберозовым на русскую землю, русское небо ответило тихим раскатом далекого грома. С востока шла буря, застигая Савелия одним-одинешенька среди леса и полей, приготовлявшихся встретить ее нестерпимое дыханье.

XX

Туберозов заметил приближение бури, только заслышав далекий раскат грома. Это такой звук, как будто где-нибудь по мосту прокатила телега. Еще минута и новый удар. Нива заколебалась, и по ней полоснуло свежим холодом.

Туберозов увидел, что восток, к которому он держался спиной во время молитвы, был задвинут непроглядною черною тучей. К этой темной массе снизу взмывали седыми клубами меньшие тучки. Всю эту все увеличивающуюся и сгущающуюся массу нет-нет и прорежет огнем. Точно маг собирается дать страшное представление и с фонарем в руке осматривает за завесою сцену. Еще новый раскат, и вслед за ним до слуха достигает отдаленный шум: черная туча ползет и по мере своего приближения становится еще непроглядней.

Вот по ее верхнему краю тихо сверкнула ленивая, совсем как бы сонная огнистая

Божедомы. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru
нить, и молнии замигали и зареяли разом по всей темной массе.

– О Боже мой! Однако буря не на шутку хочет, а где же мой бедный Павлюкан? Куда так мог его далеко завести этот невзнузданный конь? – подумал Савелий и, обернувшись на запад, к которому начинало спадать за минуту столь жаркое солнце, увидел это солнце маленьким и искристым. Лучи его то тянутся, точно длинные шпаги, то вдруг сверкнут и сократятся в одну алмазную точку. Вот и его захватила крылом черная туча. По ниве засвистал и защелкал вихорь. Среди буряющего колоса ржи обозначаются широкие, белые пятна. Обозначится в одном месте одно пятно, в другом другое, и идут друг на друга как тени. У межи при дороге ветер треплет колос так, как будто это и не ветер, а кто-то живой притаился у корня и пугает. По лесу идет шум, как будто бы скачет несметный табун диких коней. Вот и над лесом зигзаг: и еще черкнуло по верхушкам деревьев, и вдруг ни огня и ни ветру: все стихло. Ветру совсем будто и не бывало. Из темной чащи кустов, которые при молниевой вспышке кажутся черными, в страхе выскочило несколько перепуганных зайцев, – они кинулись в межи и легли в них вровень с землей. По траве, которая при теперешнем освещении тоже кажется черной, прожег серебристый клубок и юркнул под землю. Это еж.

Недавно реявший в вышине ворон плотно сжал у плеч крылья, ринулся вниз и тяжело закопошился в вершине высокого дуба.

Эта тишина страшнее всяких порывов: она предвещает разгром. Ураган собирается с силой. Очутиться одному в таком положении, в каком был теперь Туберозов, весьма неприятно и небезопасно. Туберозов не был трусом, но он был человек нервный, а такими людьми в пору больших электрических разрядов овладевает невольное и неодолимое беспокойство. Такое беспокойство чувствовал теперь Туберозов, и чувствовал его в высшей степени, а между тем надо было обдумать, где, на каком месте ему безопаснее встретить и переждать готовую грянуть грозу.

XXI

Первым движением Туберозова было броситься к своей телеге, под которой он хотел сесть и укрыться. Но чуть только он уместился здесь, лес заскрипел и кибитку затрясло, как лубочную люльку. Очевидно было, что это приют не только не надежный, но даже и очень опасный. Кибитка могла очень легко опрокинуться и придавить протопопа.

Туберозов выскочил из-под своего экипажа и бросился бегом в ржаное поле. На этом побеге его объял новый ужас. Дувший встречь ему ветер останавливал его, рвал его назад за полы платья и свистал, и трубил, и визжал, и гайкал ему в уши. Чувства в беспорядке мешались, и старику показалось, что он видит в окутавшей поле мгле целое стадо белых слонов.

– Боже! Что это за непостижимое место! – подумал в изумлении протопоп, а слоны вдруг исчезли, но зато ветер с удвоенной силой визжит и гайкает, выпевая: “Эй! Эй! Погоди!.. Не ходи”.

Схватывая руками полы подрясника, которые вырывал ветер, Туберозов ненароком обернулся к лесу и остолбенел... чудная вещь... По лесу взаправду кто-то несется и скачет и визжит и кричит и гагайчет и свищет. Мгновенье, и вот он: над вершиной деревьев стоит голова с красноватым лицом, отставшими ушами и непреклонными серыми глазками. Всей фигуры не видно, но над лесом видна голова, и у корня дерев две стопы в старых котлах.

– Что? – говорит Савелью стоящая над лесом голова. – Не узнал? Я, брат, поп Аввакум... Непригляден? – трещит он, словно только что сильно посухнутое веретено. – Я, брат, длинно не думал: я бит и увечен и за старую Русь как гусь сжарен.

Виденье исчезло, но Савелий чувствует, что его схватывают за локти незримые руки и трясут и рвут и бросают, а в уши ему нестерпимо громко и вовсе не складно Аввакум орет: “Ах ты, поп, поп, поп, тараканный лоб, поп, поп, поп, поп, поп, тараканный лоб, поп, поп”. Туберозов хотел сбежать отсюда в ложбину, где бил гремучий родник; но в хрустальном резервуаре ключа вода бурлила и кипела, и из расходящихся по ней кругов словно кто-то выбивался из недр земли наружу. Секунда, и вдруг в этой темносвинцовой воде внезапно разлилось кровавое пламя. Это удар молнии, но что за странный удар: он стрелой, в два зигзага упал сверху вниз и в то же самое мгновенье такими же точно двумя зигзагами взвился обратно под небо. Вода отразила его так, что небо с землей словно переслались огнями. И

Божедомы. Николай Семенович Лесков Teskovniko1ai.ru
только что это свершилось, грянул трескучий удар, как от массы брошенных железных полос, и из родника вверх взлетело целое облако брызг.

Протопоп Туберозов пал в рожь и простерся на землю.

А на полях и в лесу во весь жар шла одна из тех грозowych перепалок, которые всего красноречивее напоминают человеку его беззащитное ничтожество перед силою природы. Реяли молоньи; с грохотом неся удар за ударом, и вдруг по всему, как метлюю, ударило крупным и частым дождем.

Среди этого дождевого шума Савелий опять слышит, что над ним стал Аввакум: он теперь кроток и тих, и голос его мягок, как шум ручейка, и на нем чудная ряса цвета созревающей сливы. Савелий, повергнутый ниц, не знает, какими глазами он видит Аввакума и какими ушами слышит его, но он видит, что Аввакум осеняет его и шепчет: “Иже любит отца или мать паче Его, – несть Его достоин. Дние лукави суть и уне единому умрети за люди. Не пецыся об утреннем, – утренняя бо сама собою печется, а в ночь сию могут истязать душу твою. Имей веру с зерно горчичное и... Встань и смотри! Встань и смотри”, – слышит настойчивее Туберозов.

– Послушаю и встану, – подумал он и восклонился. Перед ним стоял темный ствол дуба и среди его искра. Эта странная искра блестела белым, ослепляющим светом, выросла в ком и исчезла. В воздухе грянуло страшное бббах. Это за неимением лучшего сравнения: удар гигантским пестом по дну опрокинутого гигантского таза: оглушительно брэнчащий удар без раската.

Савелий упал, и ему почудилось, что с ним падает все.

Так прошло с четверть часа, и вот вдали покатило тяжело и неспешно: тра-та-та-ту-у-хо... И все стихло. Гроза проходила. Савелий оглянулся вокруг и увидал в двух шагах от себя нечто огромное, страшное и безобразное. Всмотриваясь, он видит, что это у ног его лежит вершина громадного дуба. Дерево как бы клыком кабана было срезано у самого корня. Из распростертых по житу ветвей дуба слышен противный режущий крик: это давешний ворон. Он упал вместе с деревом, придавлен тяжелою ветвью к земле и, разинув широко пурпурную глотку, судорожно бьется и отчаянно кричат.

Туберозов отвернулся и пошел в сторону, к своей кибитке. В сверженном дубе и раздавленной птице старик видел руководящее чудо: и славный крепостью дуб сломан и брошен, как трость, и недавно столь смело реявший в самом поднебесьи хищник был придавлен к земле и издыхал в тягостных муках.

– Да; это ответ!

XXII

Гроза, как быстро подошла, так быстро же и пронеслася. Протоиерей оглянулся и увидал, что на месте черной тучи вырезывается на голубом просвете розовое облачко, а на мокром мешке с овсом, который лежит на козлах его кибитки, чирикают и смело таскают сквозь дырку мокрые зерна овса воробьи. Лес оживает. На межу, звонко скрипя крыльями, спустилася пара голубей. Голубка села и кокетничает: вот она разостлала по земле левое крылышко, черкнула по нем снизу красненькой лапкой и вдруг поставила его парусом кверху и закрылася от дружки. Голубь не может снести этого заигрыванья хладнокровно: его голубиное сердце пылает любовью. Он надул зоб, поклонился в землю подруге и заговорил ей печально “умру”. Ей совестно мучить его, и они начинают целоваться. Чу, невдалеке слышен топот: это Павлюкан. Он едет верхом и другую лошадь ведет в поводу.

– Ну, отец, живы вы! – весело восклицал, спешиваясь у кибитки, Павлюкан. – А я уж, знаете, назад ехал, да как этот удар треснул, я так, знаете, с лошади мордой оземь и чкнул... А это дуб-то срезало?

– Срезало, друг, срезало. Давай запряжем и поедем.

– Боже мой, знаете, силища!

– Да, друг, поедем.

– Теперь, знаете, легкое поветрие, ехать чудесно.

– Чудесно, запрягай скорей; чудесно.

И Туберозов нетерпеливо взялся сам помогать Павлюкану.

В минуту мокрые от дождя кони были впряжены, и кибитка отца протопоп, плеща колесами по лужам колеистого проселка, покатила.

Воздух был благораствореннейший; освещение теплое и нежное, и отец Туберозов, сидя в своей кибитке, чувствовал себя так хорошо, как давно не запомнил.

У городской заставы его встретил малиновый звон колоколов: это благовестили ко всенощной.

XXIII

– Господи, что я за тебя, отец Савелий, исстрадалася! – вскричала Наталья Николаевна, кидаясь навстречу въехавшему на двор мужу. – Этакой гром, а ты, сердце мое, обещал быть ко всенощной..

– Ну, вот и приехал, как обещал, – отвечал протопоп, покрывая поцалуями голову лбызающей его в грудь жены.

– Да... я знала... я знала, что ты приедешь...

– Почему же ты так твердо знала?

– Да уж ты что обещал, не изменишь.

– Вот спасибо, моя старенькая. Ну, а если бы меня гром убил, вот бы и изменил, – говорил шутливо протопоп, всходя с женою на крыльцо.

– Спаси тебя Боже! Ты на земле нужен.

– А если бы Божия власть на то?

– Не говори лучше этого, Савелий Ефимыч!

– А ведь это, гляди, хуже, чем в дьяки расстригут. Как ты себе об этом думаешь?

– Что вздор сравнивать!

– А ты-то дьячихой будешь?

– Дьячихой буду, да все тебе понадобится. Полно, Савушка, полно! – проговорила она, заметив, что муж смотрит на нее с дрожащею в глазах слезою.

– Полно? Ну, так знай же, моя душа, что я был на один шаг от смерти и видел лицо ее, но к сему сохранен и оставлен. Верно, права ты: нужен еще я на земле, и нужду сию пора мне исполнить.

И протопоп рассказал жене все, что было с ним у Гремучего ключа во время грозы, и добавил, что отныне он живет словно вторую жизнь, не свою, а чью-то иную, и в сем видит себе укоризну, и урок.

Наталья Николаевна только моргала глазками и, вздохнув, проговорила:

– Что же? Благословен Бог твой, Савелий Ефимыч. Ты что ни учредишь, все хорошо.

– А того? – протопоп остановился. Ему хотелось узнать о дьяконе, вернулся ли Ахилла и какие привез ответы? Но старик понимал, что, верно, нет ничего хорошего, потому что иначе Наталья Николаевна уже поспешила бы его обрадовать.

– Ты, верно, насчет дьякона? – спросила его Наталья Николаевна.

– Да.

– Он приехал.

– Когда?

- Позавчера еще приехал.
- И что же?

Наталья Николаевна махнула рукою и проговорила.

- Ничего не дождался, никакого ответа.

Туберозов отвернулся и, не говоря жене более ни слова, подошел к блестящему медному раковиннику и стал умываться. Протопоп, по собственному его выражению, любил “истреблять мыло” и умывался и часто и долго, фыркая и брызжа и громко kloкоча в горле набранною в рот водою.

Во все это время, как он умывался, жена ему рассказывала потихоньку и еще одну досаду: у нее в отсутствие Туберозова, комиссар Данилка взял свою жену Домницелю; потому что ей-де ксендз причастия не дает за то, что она у попа живет.

- И все это, все это, – говорит Наталья Николаевна, – устроила акцизница. – Что ей от нас нужно, Бог ее знает, – все нам напротив, все на досаду строит.

Протопоп, слушая жену, продолжал молча умываться, потом молча же взял из ее рук длинное русское полотенце и, вытирая им себе докрасна лицо и шею, заговорил:

- Знаешь, жена, каким людям легко водонос несть?
- Ровным, дружок.
- Да.
- А спрошу я тебя: к чему эта речь твоя клонит? – отвечала, секунду подумав, Наталья Николаевна. – Зачем ты со мной нынче притчами говоришь?
- А к тому, легконосица, что дурак, предурак муж твой был до сегодня.
- Ну, как же: дурак! Чем ты дурак?
- Тем, верная моя, что всей аристократии души твоей не постигал доселе.

С этим Туберозов взял стоявшую на столе под фуляровым платком новую камилавку, надел ее и, благословясь, взял в руки трость, подошел к жене с протянутой рукою и сказал:

- Благослови меня.
- Что это ты, отец Савелий: мне ли тебя благословлять?
- Тебе, тебе, министр яснейшей философии и доктор наивысочайшей любви.

Наталья Николаевна смотрела на мужа испытующим взглядом.

- Ну, благословляй же, дьячиха: я тебе приказываю!
- Боже тебя благослови, – отвечала Наталья Николаевна и благоговейно перекрестила мужа.
- Так добро будет, – сказал Туберозов и, еще раз поцаловав жену в лоб, вышел из дома.

Он шел к церкви походкой скорой и смелой, но немножко порывистой и неровной. Наблюдая эту походку и особенно всматриваясь в лицо протоиерея, видно было, что хотя его и оставили угнетающие волнения тяготившей его нерешительности, но вместо них с сугубою силою закипели другие волнения, – волнения страстного всениспровергающего решения как можно скорее совершить нечто давно задуманное. Он был теперь похож на воина, который с тяжелыми думами идет навстречу вражескому строю, но, ступив за черту, на которой уже сыпнула в него убийственная картечь, стремится скорее пробежать расстояние, отделяющее его от

Божедомы. Николай Семенович Лесков Teskovniko1ai.ru
врага, и сразиться.

Как воин, так же он припоминает в эти минуты и дорогих сердцу, оставленных дома, – припоминает не сентиментально, а мужественно, воздавая честь воспоминаемым.

– Да; не у Брута одного была жена, – нет, – и твоя Порция, поп, не меньше брутвой... А... (брови старика строго сдвинулись, и он сухо договорил) а если бы меньше была б, так и болеть бы о ней столько не стоило, таковая бо и под пустым водоносом спутается и уронит, не токмо под тем, какой я ей со мной понести дам!

С этим Туберозов ступил на пороги храма, прошел в алтарь, тихо облачился и вышел с Захарией и Ахиллой на величание, а потом во время чтений взял в алтаре из шкафа полулист бумаги и, прислонясь к окну, написал:

“Его высокородию, господину старогородскому городничему, ротмистру Порохонцеву от благочинного старогородских церквей, протоиерея Савелия Туберозова – ведение. – Имея завтрашнего числа сего месяца соборне совершить литургию по случаю торжественного царского дня, долгом считаю известить об этом ваше высокородие, всепокорнейше при сем прося вас ныне же заблаговременно оповестить о сем с надлежащею распиской всех чиновников города, дабы пожаловали по сему случаю в храм. А наипаче сие прошу рекомендовать тем из известных вам и мне служебных лица, кои сею обязанностию присяги наиболее склонны манкировать, дабы они через небытность свою не подпали какому взысканию, так как я предопределил о подаваемом ими вредном примере донести неукоснительно по начальству. В принятии же сего ведения, ваше высокородие, вас всепокорно прошу расписаться”.

Протоиерей потребовал рассыльную церковную книгу; выставил на бумаге номер, собственноручно записал ее в книгу и тотчас же послал с пономарем к городничему. Прежде, чем кончилась всенощная, пономарь возвратился с книгою, в которой собственною рукою Порохонцева была сделана требуемая Туберозовым расписка.

Протопоп внимательно посмотрел эту расписку, счистил с нее излишне приставший песок и, положив книгу за образ перед жертвенником, пошел спокойно к дому с Ахиллою и Бенефисовым.

Савелий возвращался домой с своими друзьями не только спокойно, но даже весело, хотя на более пронизательный взгляд, чем взгляд отца Захарии и дьякона Ахиллы, не трудно было бы подметить в веселости Туберозова нечто лихорадочное. Но ни тот, ни другой из этих собеседников Савелия этого не заметили, и Ахилла после того, как они с Бенефисовым проводили Савелия до калитки, идучи домой, говорил Захарии:

– Чудодей, ей-Богу, этот наш отец Савелий, а?

– Чем так? – спросил Бенефисов.

– Да как же, чем? Разве вы не слышали? Я ему говорю, как ответов ждал и не дождался, – он говорит: “тихо едут, но зато сами не знают, куда приедут”; я говорю, как Бизюкина научила Данилку, чтоб он жену отобрал, а он смеется: “Скажи, пожалуй, говорит, назло-то, верно, и псы не одни свои собачьи свадьбы блюдут, а и человеческий брак признавать готовы”. И смехотворит, и язвит.

А протопоп пришел домой в том же самом состоянии духа; напился чаю, лег и скоро заснул.

Но около полуночи его разбудил громкий лай собак и сильный стук в калитку.

Туберозов встал, открыл на улицу окно и увидел, что у его ворот стоит знакомый отставной унтер Егоров с книгой под мышкой.

– Что такое? – спросил удивленный таким поздним визитом Савелий.

– К вашему высокопреподобию с бумагой от мирового судьи, – отвечал рассыльный.

– Что же, разве не мог ты с этой бумагой ко мне завтра прийти?

– Ваше высокопреподобие, как мы люди подначальные, приказано...

– Да; ну... давай, что там такое?

Рассыльный подал книгу с пакетом и просил расписаться.

– Они не спят, ждут, – пояснил он.

– Распишемся, распишемся, – отвечал, принимая книгу, Туберозов.

– Ну, а однако, что ж бы это могло быть такое за спешное? – подумал старик, зажигая свечу и прежде, чем сделать в книге расписку, разломил конверт и прочел следующее:

“Старогородский мировой судья Борноволокков сим приглашает протоиерея Туберозова явиться завтрашний день в его камеру для ответа по делу об оскорблении им, Туркуловым, и дьяконом Десницыным чести господина мещанина Данилы Петровича Сухоплюева”. За сим следовало указание на статью, по которой Туберозов будет подвергнут ответственности, если не явится на этот вызов, “так как дело по жалобе об оскорблении чести Данилы Петровича Сухоплюева и без того терпит промедление через долговременное отсутствие ответчиков из города”.

Протопоп вспыхнул и, схватив первое попавшееся ему под руку перо, написал в разносной книге: “Пакет получил; но быть в назначенный час для ответа по делу о чести мещанина Данилы не могу, ибо по долгу службы моей в час оный буду молиться о здравии моего Государя, к чему и господина судью вызываю”.

– Неси, – промолвил Туберозов, ткнув в руки рассыльного книгу и, закрыв окно, тихо опустился на стоящее здесь кресло.

Давно совершенная мера терпения старика была окончательно пройдена. Он ясно понимал, что вызов его к суду был сделан в насмешку над его вызовом к верноподданнической молитве, и видел, что его нарочно злят и школьнически вышучивают, опираясь на служебный уряд и на законы.

– Что же это наконец такое? что все не впрок нам! – размышлял он. – Недавно в беззаконьи всяческом тонули, а ныне вдруг уж до того слепим себя законностью, что долг и совесть и обычай – всё сокрушаем на законе. Это беззаконие на законном основании! Прав ты, сто тысяч раз ты прав, наш русский Златоуст, владыко Иннокентий, – изъясняя, что изменник Христу, ученик Иуда мог мнить себя первым исполнителем закона. Вправду, он один ведь выдал Синедриону Христа. Искарियोты! отцеживающие комара и удавляющие верблюда! Спротивляюсь вам: “слепотствующие в законе”, и не иду! Обождет честь Данилкина чести, которую завтра воздам перед алтарем супруге моего Государя!

С этим протопоп снова лег в постель и проспал до самого утра.

Но наконец вот и утро: Савелий встал и увидал день свой – день своей присной славы и своего кратковременного бесславия.

XXIV

Характерное требование, посланное вчерашний день ко всем известным нам лицам отцом Туберозовым, произвело свое действие. Цель отца протопопа была достигнута более, чем он надеялся, и церковь была полна народом, и все те, кого звал отец протопоп, были теперь перед ним налицо. Самое служение началось в обычное время и своим обычным порядком, но, при всей этой обычности, было нечто особенно торжественное. Казалось, что протопоп взошел в церковь важнее, чем входил всегда, и дьякон Ахилла держит себя с таким благородством и благоговением, каких в нем прежде не замечалось.

Из задернутых врат иконостаса слышно, как Ахилла, вздыхая, читает протоиерею: “Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Духом владычным утверди мя и научи беззаконии путем Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся”.

И растворяются врата и совершается обедня: все до совершенства торжественно и благолепно. И Дарьянов, и Термосёсов, и новый судья и все и вся отстояли эту обедню впервые, может быть, с тех пор, как призваны они были, по долгу присяги и службы, быть при подобной обедне.

Божедомы. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru

И вот Серега дьячок в стихаре вынес и поставил аналой. К аналою вышел Туберозов: он важен и строг: он стал, вперил пронзающий взор в толпу и молчит. Видно, что душа его бурно кипит и клокочет, и рвется: он ждет минуты покоя, чтобы начать говорить.

Из-за завесы задернутых врат из алтаря выглянул с одной стороны серый глазочек Захарии, с другой полное коричневое око Ахиллы.

Но вот протопоп нашел минуту покоя, осенился крестом и сказал проповедь на текст: “Боже, суд Твой царице даждь и правду Твою сыну царице”. Условия, в которых находится наша печать, делают невозможным приведение здесь подлинных слов Савелия, так как это обязало бы нас иметь дело с специальной цензурой.

Мы ограничимся простым рассказом, в чем заключалась эта проповедь, к произнесению которой Туберозов так долго приуговлялся.

Протопоп прежде всего сказал, какое живое значение должны бы иметь, и по понятиям, усвоенным церковью, имеют, общественные моления за царствующего помазанника, которому довлеет правда и суд. Затем он привел библейский пример, как Провидение награждало народ израильский кротким Давидом, который вместе со всеми людьми молил: “Боже, суд Твой царице даждь и правду Твою сыну царице”. Как не только его дела о строении государства, но даже его семейные скорби были истинными скорбями для народа, который приходил к нему и, рыдая, вопил: “Се мы, – кости твои и плоть твоя!” Отчего, разбирал Туберозов, образовалось это умиленное единение Царя с его народом? Оттого, что Давид и сам и говорил и давал чувствовать людям: “се вы, кости моя и плоть моя”. Но вот и другая картина: протопоп рисовал царя Ровоама, внука Давидова. Этот не вопиет по примеру деда: “Боже, суд твой царице даждь и правду Твою сыну царице”. Этот, напротив, “слыша вопль людей своих: да облегчит их от ярма Соломонова, пренебрегает совет старейшин земли и советова со отроками, совоспитанными с ним и предстоящими пред лицом его, и отвеща Израилю по совету отроков тех: юность моя толстее чресл отца моего: отец мой отягчил ярмо ваше – я же еще приложу к ярму вашему: отец мой наказывал вас ранами – я буду наказывать вас скорпионами”. Ввиду этих двух картин, отец Савелий поучал, сколь уместно моление за того, чье сердце в руке божией, и отсюда, оставив вдруг спокойный повествовательный тон, перешел к обличительной укоризне “льстиво служащим и лукаво делающим”. Он взглянул в ряды народа, стоящего сплошною массой сзади группы чиновников, и сказал, что видит, как там благоговейно крестятся и шепчут устами благословения. Кому эти благословения? Они нашему кроткому Давиду, который убил пращей Голиафа, – тяготевшую над народом неволю, и сим победил тьмы. Они за Александра, который сделался костью и плотью их. “Отрываю, – продолжал он, – насильственно глаза мои от созерцания лиц этих благодарных сынов и перевожу их инуде (он повел взором по группе чиновников)... и что я здесь вижу?” Он говорил, что здесь он видит ложь земли, которая, как блудница, торгует любовью своею и рядится в виссон, свидетельствующий о ее позоре. Одни из них служат Государю и небрегут о его слове и правде, которую стремится водворить он на земле своей, но это только небрежность. Но есть и другие... те присягают ему, вменяя себе ту присягу в одну безгласную форму, и... что страшно даже выговорить: не только сами не соблюдают своей присяги и даже неисполнение ее вменяют себе в великие заслуги духу времени, но осуждают, клеветуют, порицают и темнейшими путями низвергают в бездны зол нелицемерных слуг России. “Да, – говорил Туберозов, обращаясь к недавним воспоминаниям, – да, так недавно еще редкий не слышал, как люди этой среды заодно с крамольными поляками и другими врагами России порицали и предавали проклятиям верного слугу Государя, отстоявшего в годину крамолы Северо-Западный край России.

И ныне не иное что. В одном месте сии люди, получая щедрую плату за службу России, преступно с открытою наглостью подают свою изменническую руку полякам, в другом клеветуют на братьев своих, которые осуждают эту измену, и призывают темные силы, чтоб раздавить их как врагов своих и стереть с лица земли память их”. И наконец... он вспомнил третьих. Он вспомнил тех, которым легче бы было взвалить себе жернов на шею и броситься в море. Он сказал о развращающих юность и колеблющих веру в народе, который в младенчестве своем требует веры, как дитя материнского научения. Общим усилием этих людей он приписывал исчезновение в “ветхоцветной России” того здравого смысла, полагаясь на который в низших слоях, Государь дал свободу народу. Он в энергических выражениях порицал преступное равнодушное равнодушие равнодушествующих и их осуждение ревности ревнующих. Он говорил, что нынешним судом расслабленных умом и пониманием людей в России был бы строго

Божедомы. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru
осуждаем Моисей, убивший египтянина за то, что тот убил брата его, угнетенного Израиля, ибо, что этим людям до убиваемого соотчича? Перед их судом не оправдился бы великий пророк Илия, который “ревнуя поревновах о Боге Вседержителе” и заколол семьдесят пророков Вааловых. Ими был бы осужден нетерпеливый апостол, извлекший нож и отсекавший им ухо одному из воинов, пришедших брать Иисуса и наконец.. ими был бы осужден даже сам Иисус за то, что выгнал веревкою людей, торговавших во храме! “Но прав ли и достоин ли для нас подражания такой суд? – начал разбирать Туберозов. – Не яснее ли для нас довечная истина: кто не со мною, тот против меня? Не дальше ли мы будем от ошибки, полагая, что кто не любит добра, тот зло любит?” И решив, что для него это так, Туберозов спросил: “Как же бы должен он поступить, видя зло и лукавство: мирволить ему или пресекать его? Должен ли я, – продолжал он, – если бы мне было известно, что вы здесь собраны ныне в столь полном комплекте не во имя любви к нашему Государю, а.. во имя страха, дабы я не донес, что вы забываете долг свой, – должен ли бы я просить вам божьего благословения, или.. взять веревку и выгнать вас вон отсюда, как торгующих во храме?..”

Сказав такое неожиданное окончание, Туберозов отодвинулся от аналоя и, подняв кверху ладонь, как бы указывая дорогу вон из церкви, тихим, но строгим голосом закричал: “Берегитесь: дух времени, ему же некоторые столь усердно служат, лукав, но секира уже при корени его положена. Встает иной дух.. Дух вечной правды на Руси встает, и сядет он и воцарится здесь на нашей родине. Работайте ему, ибо он будет велик и властен над священной Россией, и против него не устоит всякий, иже не будет в нем”.

Протоиерей окончил. Полный народа храм безмолвствовал. В народе одни благоговейно крестились, другие плакали, простирая к Туберозову свои руки. Протопоп осенил себя крестом, обернулся лицом к алтарю, и, пав с воздетыми руками на колени, воскликнул: “Боже, от лица zde предстоящих Тебе молю Тя: во имя Твое “суд Твой цареви даждь и правду Твою сыну цареви””.

С этим Туберозов положил земной поклон и ушел в алтарь, оставив всю церковь коленопреклоненной.

XXV

Туберозов возвратился домой очень спокойный и очень довольный собою. Город же, наоборот, был очень взволнован. Целый день, до вечера старгородские чиновники находили очень неловким выходить на улицу и встречаться с народом, так недавно рыдавшим при словах протоиерея. Но на другой и третий день по городу расплылись толки, и городская интеллигенция поголовно обвиняла отца Савелия в злоупотреблении правом слова и в неосторожном возбуждении страстей черни. Этим неосторожным возбуждением страстей были оскорблены все: и Дарьянов, и даже Порохонцев. Все ненавидящие отца Савелия и все, до сих пор стоявшие на его стороне, все в одно заговорили: “Нет, что же это? Ведь это из рук вон! Это просто какая-то полемика в церкви! – Это не русским попом пахнет, а разве гарибальдийским. – И наконец, из-за чего-с? из-за чего? Где эти опасности? Где эти предатели и измены?.. Нет! Это решительно невозможно и этого терпеть нельзя!”

– А кто этому виноват? Кто все это сеет и произращает? – говорил в интимной беседе городничему Порохонцеву Дарьянов и сам же шепотом разрешал это, говоря:

– Это все-с благодаря Михаиле Никифоровичу Каткову совершается.

– Ну-у! – воскликнул удивленный городничий.

– Да разумеется! Я ему несколько раз писал: все это прекрасно, что вы пишете, и Россия вас уважает, но зачем вам раздражать людей? Зачем вам ссоры? Из ссор и раздражения не выйдет ничего путного.

– Это правда, – согласился городничий.

– Ну, то-то и есть! Так нет, вот все свое. Генеральство-с!

Занимался этим событием и Термосёсов, только этот занимался им совершенно иначе и гораздо основательнее. Он, как пришел домой, так проповедь Туберозова, как следовало с точки зрения его консерватизма; указал с той же консервативной точки зрения опасности, какими может грозить такая, ничем не сдерживаемая и в таких

Божедомы. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru
зловредных формах проявляемая свобода слова, и заключил общую картину ужаса, который бродившие якобы после сей проповеди свирепые толпы народа наводили на служащих правительству чиновников и в особенности на немногочисленное здесь польское сословие.

Сочинение Термосёсова поехало известным путем, в переплете книги, отправившейся в губернскую библиотеку Форштанникова, откуда этому сочинению назначены были другие пути, которые мы и увидим в следующей части, а теперь в одной из двух следующих главках этой части перед нами пока непосредственно явятся только лишь одни результаты этого сочинения.

XXVI

Мы сказали, что со дня, когда была произнесена приведенная в предшествовавшей главе проповедь Туберозова, прошло уже три дня. В эти три дня только и суматоха, возбужденная в старогородской интеллигенции проповедью, уже начинала униматься. Еще бы два-три дня, и все дело это начало бы покрываться пылью забвения. Сам протопоп был очень спокоен и сидел безвыходно дома. “Напроказил и хвост поджал”, – говорили о нем чиновники, но к протопопу никто из них не шел. Все считали себя обиженными, и те, кто побольше любил протопопу, ожидали или его визита, или встречи с ним где-нибудь на нейтральной почве.

Судья Борноволокот тоже не беспокоил Туберозова новыми вызовами к разбирательству по делу об оскорблении чести господина мещанина Данилы Лукича Сухоплюева. Первые два дня после проповеди Борноволокота от повторения вызова Туберозову удержал практичный Термосёсов.

– Не надо, – говорил он, – пообождем немножко.

– Да?

– Да; пообождем, пока это схлынет; а то вы видели, сколько к нему рук-то в церкви потянулось из народа?

– Да.

– Ну то-то и есть. Здесь ведь не Петербург: ни пожарной команды, ни войск, ни городских, – ничего как в путном месте.

– Да.

– Конечно, да – этими чертями шутить не следует, – пожалуй, и суд весь разнесут.

– Эх, да! – вздохнул Борноволокот.

– Вы это о чем?

– О Петербурге.

– Да; там городские и все это пригнано, а тут...

– Я их и в губернском-то городе не заметил, – заговорил с новым вздохом Борноволокот, припоминая, как Термосёсов пугал его, сзывая к себе через окно народ с базара.

– Ну, там хоть будочники... Дрянно, да все-таки есть защита, а тут уж наголо, ничего. Нет; нельзя его теперь звать. – Повремените.

Так это было решено, и так это решение и содержалось в течение двух дней, а на третий комиссар Данилка явился в камеру мирового судьи и прямо повалился в ноги судье и запросил, чтобы ему возвратили его жалобу на дьякона и протопопу или по крайности оставили бы ее без последствий.

– Да? – спросил изумленный Борноволокот.

– Батюшка, никак мне иначе невозможно! – отвечал Данилка, ударяя новый земной поклон Термосёсову, по совету и научению которого подал просьбу. – Сейчас народ на берегу собрался, так к морде и подсыкаются.

Божедомы. Николай Семенович Лесков leskovnikolai.ru

– Свидетели, значит, этому были? – спросил Термосёсов.

– Да все они, кормилец, ваше высокоблагородие, свидетели, – отвечал плачучи Данилка. – Все говорят, мы, говорят, тебе, говорят, подлецу, голову оторвем, если ты сейчас объявку не подашь, что на протопота не ищешь.

– Не смеют! Не бойся – не смеют!

– Как не смеют! – Как есть оторвут, – голосил Данилка.

– Мировой судья отдаст тебя на сохранение городничему.

Данилка еще горче всплакался, что куда же он потом денется с этого сохранения?

– При части можешь жить или в полиции, – проговорил Термосёсов Данилке и тотчас же, оборотясь к Борноволокову, полушепотом добавил:

– А то, может быть, можно довести дело и до команды?

– Да?

– Да, конечно, что можно: эти здесь будут свирепеть, – пойдут донесения и пришлют.

– Из-за одного человека? – усумнился Борноволоков.

– Из-за одного? Ну, а разве в Западном крае не за одного какого-нибудь ляшка присылали команды?

– Правда.

– Ничего, – пришлют.

– Да что, батюшка, что команда, – еще войче заголосил, метаясь по полу на коленях, Данилка. – Они меня в рекрута сдадут.

– Разве ты очередной?

– Нет, одинокий, да приговор сделают, – за беспутство сдадут.

– А ты сшалил что-нибудь?

– Да ведь как же – живой человек! – отвечал, тупя в землю глаза, Данилка.

– Поворовывал?

Данилка молчал.

– Поворовывал? – переспросил его с особенным сладострастием Термосёсов.

– Все было на веку, – отвечал Данилка.

– Ну так они воровства не простят, – они тебя после и так сдадут.

– Ой, да нет же, не сдадут. Нет, Христа ради... я женат... жену имею... для жены прошу: милость ваша! умилосердитесь!.. воротите мне мою просьбу! Они говорят: “Мы тебе, Данилка, все простим, только чтоб сейчас просьбу назад”. Отцы родные, не погубите!

И Данилка снова отчаянно застучал лбом об пол.

– Что ж... вор... и к тому ж народ сам его прощает... Что же нам за дело? – заговорил, обращаясь к Борноволокову, Термосёсов.

– Да; возвратите, – отвечал судья.

Термосёсов вынул из картонки просьбу Данилки и бросил ее ему на пол.

Божедомы. Николай Семенович Лесков teskovniko1ai.ru

Данилка схватил бумагу, еще раз ударил об пол лбом, поцаловал у Термосёсова сапог и опрометью выбежал из судейской камеры наружу.

– Вот также опять прекрасный материал и для обозрения и для статьи, – подумал Термосёсов и последнюю половину своей мысли даже сообщил Борноволокову.

Судья эту мысль одобрил.

– И разом еще, – продолжал мечтать вслух Термосёсов, – я говорю, для штуки можно разом в различных тонах пугнуть в “неделю”, в “Петербургские ведомости”, в “Новое время”, Скарятину – да по всей мелкоте. Даже, – добавил он подумав, – даже и Аксакову можно.

– Да.

– Да; да только он от незнакомых корреспонденции не печатает.

– Да?

– Не печатает. – А что, взаправду: пуцу-ка я эту штуку!

– Только в “Новое время”-то кто же напишет?

– Кто?

Термосёсов посмотрел прилежно в глаза своему начальнику и проговорил в себе:

– Ах ты, борноволочина тупоголовая!.. А еще туда же – хитрить!

Затем он вздохнул, согласился, что в газету “Новое время”, к сожалению, действительно написать некому, и отошел и стал у открытого окна.

Из этого окна ему открывался берег, на котором была в сборе довольно большая толпа народа.

Под окном, накрыв ладонью глаза, стоял вновь нанятый для судейской камеры рассыльный солдат.

Термосёсов обратился к нему и спросил:

– Чего это люди собрались?

– Должно, Данилку ждут, – отвечал, ослабляясь, рассыльный.

– А чего ж их не разгонят?

– А пошто разгонять-то?

– В Париже б разогнали.

– О?

– Верно.

– А у нас это просто.

В это время толпа вдруг заволновалась, встала на ноги, заулюлюкала и быстро тронулась в одну сторону.

Термосёсов увидел, что по откосу с этой стороны быстро сбегал к народу с бумагой в руке комиссар Данилка. Его сразу схватили несколько десятков рук; и в то же мгновение вверх по воздуху полетели мелкие клочья бумаги, а через минуту взлетело на воздух что-то большое, похожее на человека, описало дугу и шлепнулось в реку, взбросив целый фонтан брызг.

Через минуту это тело показалось наверху воды и поплыло к противоположному берегу.

Божедомы. Николай Семенович Лесков Teskovniko1ai.ru
Термосёсов догадался, что это должен был быть, наверное, Данилка, и не ошибся: это был точно Данилка.

Письмоводитель быстро схватил за руку Борноволокова и, крикнув ему “смотрите!”, подтащил его к окну и указал на переплывающего реку комиссара.

Судья воззрился, понял, в чем дело, и сказал:

– Да.

– Вот вам и да, – отвечал ему, бесцеремонно отбрасывая от себя его руку, Термосёсов. – Скажите Термосёсову спасибо, что он вам ни вчера, ни позавчера не дал послать повестки. По-настоящему, и в Петербург бы об этом Алле Николаевне Коровкевич-Базилевич должны написать.

Судья закусил губу, покраснел и сел на место.

– Откуда он все это узнал и что это, наконец, за всепроницающая бестия навязалась на мою голову! – раздумывал, шурша в пустой камере бумагами, Борноволоков.

А Термосёсов все стоял по-прежнему у окна и, глядя, как выплывает Данилка, прислушивался к ворчанию и улюлюканью, которым с этого берега сопровождала несчастливца бросившая его в воду толпа.

Вот Данилка и переплыл, схватился руками за берег и вышел весь мокрый как чуня.

Хохот и улюлюканья усилились.

Данилка отряхнулся, поклонился через реку народу и пошел скорым шагом к Заречью.

Хохот и свисты устали. Двое молодых мальчишек было улюлюкнули, но две чьи-то руки дали им подзагровки, и толпа стала сама расходиться.

– Поучили, – проговорил, обратясь к Термосёсову, стоявший под окном рассыльный.

– И что ж им теперь будет? – спросил Термосёсов.

– Народу? – А что ж народу можно? – ничего.

– Ничего?.. Ишь, как рассуждает!.. Ах ты, этакая скотина! Как же ничего? Да вон Иван Грозный целые пятнадцать тысяч новгородцев зараз в реке потопил.

– Ну-к то ж времена, – отвечал, не обижаясь, рассыльный.

– Времена?.. Скажите, пожалуйста! А ты что ж понимаешь во временах? Стало быть, по-твоему, если в теперешние времена взять палку, да этот самый народ твой колотить, так ему ни капли и больно не будет?

– Да а кто ж его будет бить палкой?

– А полиция.

– А полиции что ж такое за антирес?

– “Антирес”! Да ведь вон они человека-то утопить бы могли?

– Данилку-то? Как можно утопить? Нет! Они ведь это тоже, с рассудком.

– Да разве, дурак, этак позволено?

– А что ж? – Ничего. У нас здесь из этого просто.

– Ах ты животное этакое! А еще называется солдат! – проговорил с укором Термосёсов. – Разве солдату можно за мещан да за мужиков руку тянуть? А? Ты, каналья, кому присягал-то? А?.. Пошел прочь, бездельник, в переднюю!

Рассыльный сконфузился от этой термосёсовской распеканции и, понурился, похрюкивая, пошел к выходу.

Божедомы. Николай Семенович Лесков Teskovniko1ai.ru
пополз в свою темную переднюю.

“Чрезвычайно как все это просто! – думал Термосёсов, глядя с презрением на отходящего солдата. – Идиллия! Они тут все пообнимутся, и народ, и баре, и попы, и христоролюбимое воинство. Станет, растопырится сплошная земщина, и в сто лет ни Европа, ни полячишки, ни мы ничего и общими силами не поворохнем! Соединяться, черт вас возьми! – послал он, переведя глаза на расходившуюся толпу, которая учила Данилку. – Мерзавцы!.. Вот мерзавцы! Поляков, говорят, можно вынародовить; немцев собираются латышами задавить; а вот эту же сволочь чем задавишь или куда вышлешь? Земли неостанет!” – заключил с негодованием Термосёсов и, презрительно плюнув за окно на улицу, пошел к своему столику писать статьи и третье обозрение, задуманное по поводу всего происшедшего. В обозрении Термосёсов решил себе не забыть и разговора с рассыльным солдатом, так как это, по его мнению, было пригодно для указания вреда, происходящего от сокращения срока солдатской службы и других вредоносных реформ по военному ведомству.

XXVII

Следующий за сим день был еще чреватее событиями.

В этот день в Старый Город на почтовой паре лошадей приехала пара синих жандармов. Это было довольно рано, – около десяти часов утра.

Термосёсов только вставал с постели. Подойдя в одном белье к окну, он неожиданно увидел проезжавших жандармов, радостно вскрикнул и, в одном же белье вскочив в комнату судьи, схватил его за рукав рубашки и потащил к окну.

Жандармов уже не было.

– Эх вы, соня, проспали! – воскликнул Термосёсов.

– А что?

– Два жандарма проехали.

– Ну!

– Ей-Богу, жандармы!

– Вот бы теперь позвать Туберозова! – помечтал судья.

– Эге!.. Но я пойду посмотреть, однако, – сказал Термосёсов и стал наскоро одеваться, чтобы пойти к станции посмотреть на жандармов.

Между тем жандармы вовсе не поехали на станцию, а взяв городом влево, прямо остановились у городнического правления. Здесь они предстали Порохонцеву и вручили ему бумагу, которую тот распечатав побледнел, разинул рот и опрометью выбежал из дома.

Городничий молча добежал до Дарьянова, торопливо сунул ему в руки полученную бумагу и молча же сел против него и ждал, что эта бумага произведет на Дарьянова.

В бумаге содержалось предписание: немедленно донести: “действительно ли в проповеди протоиерея Туберозова, сказанной четыре дня тому назад, заключались слова и мысли, оскорбительные для чиновнического и польского сословий”, и притом вменялось в обязанность “немедленно же выслать в губернский город самого Туберозова с посылаемыми за ним жандармами”.

– Кто мог сделать эту мерзость? – воскликнул, прочитав и бросив от себя бумагу, Дарьянов.

– Ей-Богу, не я! Ей-Богу, я и в уме не имел доносить! – закрестился Порохонцев.

– Это больше никто, как Омнепотенский, – воскликнул Дарьянов и сейчас же послал за учителем лошадь.

Варнава, ничего не подозревая, явился, и его нимало не медля взяли под допрос: он догадался, что это термосёсовское дело, но решился не выдать Термосёсова.

Сначала Варнава смутился, но потом, забыв все свое неверие, начал ротиться и клясться, что он никогда этого не делал.

– Да и разве же я в самом деле уж такой подлец, чтобы я стал доносы писать! – говорил он, крестясь в знак свидетельства и отплевываясь.

Но смущение, которое он в себе обличил при первом вопросе, оставляло его в сильном подозрении, и Дарьянов с Порохонцевым решили не отставать от Варнавы, пока он не выскажет, от кого, по его мнению, мог возникнуть этот донос? Варнава вертелся, как прижатая палкой гадюка, но Термосёсова не выдавал. И наконец, категорически отвечал после долгих уверток: я этого не знаю, но хотя бы и знал, то и тогда не сказал бы.

– Почему же бы не сказал бы?

– А оттого, что я не шпион, – потому что это подлость, – отвечал Варнава.

– Что подлость? Разве выводить наружу мерзавца подло?

– Пожалуйста, вы меня на эту дипломатию не ловите. Меня на дипломатию не поймаете.

В комнату неожиданно вошел дьякон Ахилла.

Он еще ничего не знал, но был встревожен по предчувствию.

– В чем дело? – спросил он, входя и окинув присутствующих огненным взглядом.

– А ты еще не знаешь ничего? – спросил его Порохонцев.

– Ничего.

Городничий подал ему бумагу и сказал: читай! Дьякон пробежал бумагу, бросил ее на пол и, с остервенением схватил за ворот Варнаву, бросил его в угол и, придавив ногою, крикнул:

– Сейчас говори, как ты это сделал, а то раздавлю и буду пыткой пытать.

– Пытка законом запрещена, – пролепетал учитель и хотел приподняться, но Ахилла еще крепче надавил его коленом и проревел:

– Я прежде закона тебя, каналья, замучу!

– Не скажу, – едва прошипел, сокрушаясь костями под коленом Ахиллы, Омнепотенский.

Порохонцев и Дарьянов старались унимать Ахиллу и убеждениями, и силой, но дьякон отмахивал их от себя, как мух, и, все крепче надавливая Варнаву, назначил ему еще всего три минуты жить, если он не сделает признания.

Варнава посинел и закусил зубами язык. Еще минута и уголовное дело было бы готово как следует, но, к счастью, Дарьянов закричал Ахилле:

– Он не виноват! Пустите, – не виноват он!

– Кто же виноват? – дьякон метнулся назад и, выпустив Варнаву, искал, сверкая глазами, виновного. Ахилла был в полном бешенстве. Указать ему на кого бы то ни было в эту минуту значило погубить и его, и того, на кого бы было указано.

– Это надо разузнать. – Это еще пока неизвестно.

Ахилла тотчас же обернулся назад и снова взялся за Варнаву.

– Боже мой, да за что вы меня душите? – заплакал навзрыд учитель. – Ведите меня в суд, если я в чем виноват. Я ничего не знаю.

– Божись! – ревел, встряхивая его за ворот, Ахилла.

- Ей-Богу, не знаю.. Вы сами..
- Божись: издохнуть мне без покаяния!
- Издохнуть мне без покаяния, – повторил Варнава и опять заговорил:
- Вы сами столько ж..
- Говори: лопни моя утроба!
- Да постойте, он что-то хочет сказать! – что вы хотите сказать, Варнава Васильич?
- Я говорю, что он.. Ахилла Андреич.. сам столько ж знает.
- Врешь, – крикнул дьякон. – Я ничего не знаю.
- А вы вспомните лампопо?

Ахилла вдруг выпустил Варнаву и, ударив себя в лоб, вскричал:

- Да! Да! Да! – Термосёс!
- Он? – отнеслись к Варнаве городничий и Дарьянов.

Учитель пожал плечами и проговорил:

- Уж наверно, если на пытке не сказал, так по дипломатии не скажу.
- Говори скорей сам, дьякон; что же там такое было у вас? Советовал что ли что Термосёсов, или научал?
- Да.. бяху пето сие, – отвечал в раздумье Ахилла.

Дарьянов и городничий так и всплеснули руками.

- Что же ты молчал до сих пор! – вскричал Порохонцев. – Чего не предупредил?
- Да.. я думал это так.
- Тпфу! – Дарьянов плюнул и, хлопнув себя по бокам руками, сказал:
- Вот вам и знайте наших! Один думает, что доносы “так” пишут, а другой от великой честности подлеца бережет.
- И все это кстати, и всему этому так надлежит, – проговорил вдруг неожиданно голос Туберозова.

Присутствующие оглянулись и увидели, что протопоп стоял у окна, облокотившись на палку, и, очевидно, слышал весь разговор, который происходил в комнате.

- Дай мне, дьякон, эту бумагу! – приказал он Ахилле и, пробежав ее тихо, передал городничему и сказал:
- Не спорьте и не пререкайтесь: всего этого я хотел и всему этому надлежало быть.
- Иди, – отнесся он к Порохонцеву, – и делай, не конфузьясь, что тебе велено. – я давно знал, что сего не минуя.

С этим Туберозов тихо отошел от окна и пошел к своему дому.

Не успел он сделать десяти шагов, как его быстро догнали Дарьянов и Ахилла; молча они схватили старика под руки, поцаловали эти руки и повели к его дому.

И Дарьянов, и Ахилла тихо плакали, протопоп молчал.

У своей калитки Туберозов крепко сжал руку Дарьянова и прошептал:

– Видишь, сынку, говорил я тебе, не будут надо мною смеяться, и вот так и учредил, что обо мне удобнее будет плакать. “Опасное положение” отныне в союзе со мною.

– Батя! – вмешался, расслышав последние слова, Ахилла. – Если что опасно, – скажи мне: их двое приехало, а я весь город собираю и...

Но Савелий живо прекратил речь дьякона, положив на уста его палец, и кротко сказал ему:

– Не читал разве ты писанного, что без воли Его ничего не сотворится? Не вынимаю меча, да не мечом и погибнешь.

Городничий прислал Туберозову сообщить, что он может оставаться дома до самого вечера и поедет, когда уж стемнеет.

– Да; во тьме это лучше, – отвечал старик и, послав Порохонцеву свою душевную благодарность, заперся дома с женою и наказал, чтобы его никто не беспокоил.

XXVIII

День сгас, и над городом стала ясная, лунная ночь. Туберозов все еще прощался с женою в глубокой тайне. Около дома его собралась толпа, но никто, ни любопытство, ни дружба, ни любовь не нарушали великих минут разлуки. Все, кто пришли проститься с протопопом, ждали его на улице или на крыльце.

И вот дверь дома растворилась, и из нее вышел совсем готовый в дорогу Туберозов. Наталья Николаевна с ним: она идет возле него, склоняясь своею головою к его локтю.

Они оба умели успокоить друг друга и теперь не расслабляют себя ни единой слезою.

Ожидавший выхода протопопа народ шарахнулся вперед и загудел.

Туберозов поднял вверх руку и послал толпе благословение.

Гомон затих; шапки слетели долой, и люди стали креститься.

Из-за угла тихо выехала спрятанная по распоряжению городничего запряженная тройкой почтовая телега. На облучке ее, рядом с ямщиком, один жандарм, другой с кожаную сумкою на груди стоит у колеса и ожидает пассажира.

Туберозов сходил, приостанавливаясь почти на каждой ступеньке и раздавая благословения. Но вот и он у того же колеса, у которого ждет его жандарм. Вот он поднял ногу на ступицу, вот и взялся рукою за грядку, – жандарм подхватил его рукою под другой локоть... Туберозов отбросился, вздрогнул, и голова его заходила на шее, как у игрушечной куклы, у которой голова посажена на проволочной пружине; словно зажевал что-то не только неудобопереваримое, но даже и неудобопережевываемое.

– Отец Савелий! – крикнула ему, не выдержав, Наталья Николаевна.

Протопоп оправился на телеге и оглянулся на жену.

Наталья Николаевна подскочила к нему, схватила его руку и прошептала:

– Все ничего: но только жизнь свою, жизнь свою пощади, Бога ради!

Протопоп молчал: ему мнилось, что жена его слышит, как в глубине его души чей-то не зависящий от него голос проговорил: “теперь жизнь уж кончилась и начинается житие”.

Туберозов благоговейно принял этот глагол, перекрестился на освещенный луною крест собора, и телега по манию жандарма покатила, взвилась на гору и исчезла из виду.

Божедомы. Николай Семенович Лесков Teskovniko1ai.ru

Народ постоял и начал безмолвно расходиться. Ворота и калитки запирались на засовы, и месяц, глядевший на Старый Город с высокого неба, назирал уже одну Наталью Николаевну.

Она не спешила под кровлю, да и что ей там было под ее осиротелой кровлей? Она сидела и плакала на том же крылечке, с которого недавно сошел ее муж, и ей теперь точно так, как ему, тайный голос шептал: что “жизнь его кончена и начинается его житие”.

– Как это будет? И что это будет?

Она ничего этого не понимает и, рыдая, бьется своею маленькой головкой о перилы сходов.

Нет ей ни избавляющего, ни утешающего.

– Или он есть?

– Он есть, и он долго не медлит.

XXIX

Перед глазами плачущей Натальи Николаевны широко распаивается незапертая калитка, и в нее влезает с непокрытою курчавой головой, в коротком толстом казакине Ахилла. Он ведет за собой пару лошадей, из которых на одной громоздится большой и тяжелый вьюк.

Наталья Николаевна молча смотрела, как Ахилла взвел на двор своих лошадей, сбросил на землю вьюк и, возвратившись к калитке, запер ее твердой хозяйской рукою с несомненной решимостью остаться внутри двора.

– Дьякон! – воскликнула, догадавшись о намерениях Ахиллы, Наталья Николаевна.

– Мать! – отвечал ей, кинувшись к ней, Ахилла.

– Ты сюда?

– Да; я здесь, я с тобой буду жить вместо сына, пока он вернется.

Они обнялись и поцаловались, и Наталья Николаевна пошла досиживать ночь в свою спаленку, а Ахилла, поставив под сарай своих коней, разостлал на крыльце войлок и лег на него навзничь и пролежал ночь, уставясь глазами в звездное небо.

Ахилла только не говорил протопопице, а он тоже чувствовал, что жизнь протопопы кончена и что если он возвратится когда-нибудь сюда в дом, то это уже не для жизни, а для чего-то иного. Ахилла знал тоже, что он должен оставаться здесь для того, чтобы хоть сколько-нибудь поддерживать жизнь опального дома.

А что думал в эту ночь о самом себе и о всем его ожидающем Туберозов?

Ретивые тройки, сменяя одна другую, быстро несли старика по полям и долам, залитым белым светом луны. Протопоп сидел между двух жандармов спокойно, сложив на груди руки, и бодро глядел вдаль. Он не придумывал ни ответов, ни оправданий, ибо верил, что дух истины не оставит его, и в минуту, когда от него потребуются ответ, с ним будет Тот, который сказал: “Не заботьтесь, что вам отвечать, ибо я дам вам ответ”.

Примечания

1

В курских и орловских садах, в Богом хранимой тени которых проспал свои детские годы автор этого рассказа, есть сорт очень вкусных и красивых яблок “Доброго Крестьянина”. Автор любил их и пять из них завязывает в платочек, с которым идет домой протопоп Савелий. – Лесков

2

Рассказ этот изъят автором из Демикотоновой книги протоиерея Туберозова и, в несравненно большем развитии, составит отдельный очерк, который будет помещен в одной из ближайших книг нашего журнала под заглавием “Боярыня Плодомасова”. –

Лесков

3
Коротко и сильно – Нем. kurz und stark

4
Горловая жаба, воспаление горла – Лат.

5
К отцам – Лат.

6
Пешком – Лат.

7
Причина причин, первопричина – Лат.

8
“Христианский союз” – Франц.

9
Для приличия – От франц. contenance – манера держаться.

10
Фактически, на деле – Лат.

11
От франц. boire, manger, sortir – пить, есть, выходить

12
Здесь публикаторами опущен весь эпизод с плодомасовскими карликами, незначительно отличающийся от окончательного текста: в рукописном варианте рассказ карлика Николая Афанасьевича не разбит на главы и не отражена стилистическая авторская правка, осуществленная, видимо, на последнем этапе работы над хроникой, при подготовке текста для “Русского вестника”

13
Мой дорогой Валерьян – Франц.

14
Дурной тон – Франц.

15
Никаких мечтаний – Франц.

16
До свидания – Франц.

17
Как каналью – Франц.

18

Божедомы. Николай Семенович Лесков leskovnikolai.ru
Черт меня побери – Франц.

19
Чистая доска – Лат.

20
Пришел, увидел, победил – Лат.

21
Дамы полусвета – Франц.

22
Буквально: беседа, болтовня – Франц.

23
У ног моей женщины – Франц.

24
Тем лучше и тем хуже – Франц.

25
Собеседников – Франц.

26
Друзья народа – Франц.

27
От франц. superbe, magnifique, excellent – великолепный, прекрасный, отличный

28
Как дела? – Нем.

29 Любовная записка – Франц.

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
<http://leskovnikolai.ru/> Приятного чтения!
<http://buckshee.petimer.ru/> Форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы,
недвижимость. Здоровый образ жизни.
<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет
магазин обуви Интернет магазин
<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных
сайтов. Интеграция, Хостинг.
<http://filosoff.org/> философия, философы мира, философские течения. Биография
<http://dostoevskiyfyodor.ru/>
сайт <http://petimer.com/> Приятного чтения!